

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000045500637

Фридрих Горенштейн Улица Красных Зорь

18+

ЩЕ

РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

К 90-ЛЕТИЮ КУЛЬТОВОГО ПИСАТЕЛЯ

Фридрих
Горенштейн
**Улица
Красных
Зорь**

Повести



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г68

Составитель Юрий Векслер

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко

“Редакция Елены Шубиной” благодарит авторов фотографий, использованных в оформлении переплета: Юрия Рыбчинского (передняя сторона) и Иосифа Малкиэля (задняя сторона)

Горенштейн, Фридрих Наумович.

Г68 Улица Красных Зорь : повести / Фридрих Горенштейн; сост. Ю. Векслера; предисл. Д. Быкова. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2022. — 445, [3] с.

ISBN 978-5-17-147724-0

Фридрих Горенштейн (1932–2002) — прозаик, драматург, киносценарист (“Солярис”, “Раба любви”). Прозу Горенштейна не печатали в Советской России совсем, рукописи он давал читать только “ближнему кругу”, в конце семидесятых появились зарубежные публикации. Ю. Трифонов, А. Кончаловский, А. Тарковский, Б. Сарнов называли его романы “Место”, “Псалом”, “Искушение” гениальными. Он не примыкал ни к одному движению и направлению, не находил себе места ни в одном стане, а статус классика обрел еще при жизни. В 1980 году писатель эмигрировал и умер в 2002 году в Берлине.

В этот сборник вошли повесть “Ступени”, впервые изданная в альманахе “МетрОполь”, и три произведения эмигрантского периода: “Чок-Чок”, “Муха у капли чая” и “Улица Красных Зорь”, давшая название всей книге. Дмитрий Быков назвал “Улицу...” “духовной автобиографией автора и самым слезным и мучительным текстом, написанным с истинно платоновской мощью”.

Издание выпущено к 90-летию Фридриха Горенштейна.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-147724-0

- © Фридрих Горенштейн, наследник
- © Дмитрий Быков, предисловие
- © Андрей Бондаренко, художественное оформление
- © Юрий Рыбчинский, фото
- © Иосиф Малкиэль, фото
- © ООО “Издательство АСТ”

Содержание

Дмитрий Быков Сирота

7

Улица Красных Зорь

21

Чок-Чок

87

Муха у капли чая

243

Ступени

311

Дмитрий Быков

Сирота

Уважаемые читатели! Обычно, когда появляются книжки с предисловиями, критик сосредотачивает все свое внимание именно на предисловии — полемизирует с ним, соглашается, негодует. Все это происходит потому, что ему лень читать остальное, а в предисловии он находит как бы краткий конспект книги. Так вот, убедительная просьба при рецензировании этого сборника (а если вы не критик, то просто при его чтении) обратить главное внимание на тексты, хотя читать их гораздо труднее. Вы почти наверняка ознакомитесь с ними впервые: тут собран Горенштейн малоизвестный.

Ведь штука в чем? Когда люди говорят о Прусте, они всегда вспоминают про бисквит в липовом чае, а об “Улиссе” — о том, что Блум любил почки. Это потому, что они дальше ничего не читали. Это предисловие написано только для тех, кто ничего о Горенштейне не слышал, или слышал, но думает, что это сценарист “Соляриса”, и только. Всем остальным читать это предисловие не нужно, а полемизировать с ним — тем более. К тексту, к тексту, ребята. Чтение мучительное, но целительное.

1 Однажды в гостях у Ирины Павловны Уваровой, вдовы Даниэля, во время очередного приезда Синявских (году, кажется, в 1994-м), разговор зашел о Горенштейне, и я признался, что никогда его не видел, а очень хочется.

“Сейчас увидите”, – сказала Уварова и принесла какую-то маску из папье-маше. Все захохотали и захопали: точно, точно!

У “бумажного Горенштейна” было выражение брюзгливое и даже, пожалуй, злое, но вместе с тем жалобное, почти умоляющее.

Я думаю, что читатель, у которого хватило бы терпения прорваться через поток горенштейновской ярости, скажем, в его поздней публицистике, – услышал бы за этой ветхозаветной яростью слезы бесконечного одиночества и неприкаянности.

Сам Горешнтейн об этой особенности своей души – потоке отчаяния подо льдом ненависти – писал в “Улице Красных Зорь”, самой слезной и мучительной своей повести, написанной с истинно платоновской мощью: “Глаза ее были измучены злобой и страданием, а губы дергались, извивались, точно жестокая насмешка и горький плач боролись меж собой и каждый пытался вылепить из этих дрожащих губ свое, но ни того, ни другого не получалось”.

“Улица Красных Зорь”, давшая название всему сборнику, нечасто переиздаваемая, одна из горенштейновских вершин, – вообще его духовная автобиография, групповой автопортрет (вроде, я думаю, лермонтовской “Тамани”, где автор отражен в трех зеркалах – он и Печорин, и девушка, сочиняющая песни, и слепой мальчик, всех любящий, всеми брошенный). Тоня, девочка-детдомовка, главная героиня, – это горенштейновский опыт жизни в любящей семье

и детдомовских мук после смерти родителей; Мендель — еврей, проживший всю жизнь среди русских, принятый вроде за своего, но глубинно никогда не свой; ссыльная аристократка Раиса — горенштейновская злоба и отчаяние, а Ульяна — чистая и певучая душа его, и голос этой души иногда слышится в его текстах. А почему эта проза так редко издается, так немногими любима — так ведь и это ясно. После нее и жить, и писать трудно: планка задана высокая, да и вещи сказаны жестокие.

Горенштейн умер в 2002 году за две недели до своего семидесятилетия. За пятнадцать прошедших лет его “место” почти не изменилось: статус классика он обрел при жизни, когда в начале девяностых вышел его русский трехтомник и была поставлена пьеса “Детубийца” (а в 2014 году и “Бердичев”), — любой, кто прочел “Место” и в особенности “Искупление”, в этом статусе не сомневался.

Горенштейн — человек ниоткуда, и биография его — при внешней стандартности — нетипична. Всю жизнь он существовал не только вне поколения, вне любых институций, но и вне русской литературной традиции, которую принято называть гуманистической — хотя, как мы убедились, с тем же правом можно назвать и имперской.

Рано осиротев (отца, экономиста, взяли в 1935 году, в 1937-м — расстреляли; мать, директор детдома, умерла в 1943-м по дороге из эвакуации), он всю жизнь прожил сиротой, и взгляд его на мир — сиротский. Не следует думать, что сироты обязательно бедные и добрые. Они хищные, иначе им не выжить; они памятливые и мстительные, и только на самом дне их души живет тоска по прежней жизни, по родителям, которых они еле помнят, по дому с башенкой, в котором их ждало спасение. (“Дом с башенкой” — единствен-

ный опубликованный в СССР до эмиграции рассказ Горенштейна, запомнившийся всем читателям тогдашней “Юности”). Сирота всю жизнь опасно оглядывается, никому не верит, каждого встречного рассматривает с единственной точки зрения — насколько он опасен и как его можно использовать. Ключевое слово в прозе и биографии Горенштейна — “Место”, не зря так называется главный его роман, книга жизни: выгрызанием этого места занят его несимпатичный протагонист Цвибышев — и сам автор тоже не находил себе места ни в одном стане.

Это сиротство Горенштейна сказалось и в том, что он не примыкал ни к одному движению и направлению, а участие в единственной за всю жизнь коллективной затее — альманахе “Метрополь” — считал ошибкой. Как говорит Ульяна в “Улице Красных Зорь”: “Я живу одна, а они живут всем скопом. Они и меня не шибко любят за то, что я не живу вместе с ними скопом”. И как учит нас опыт, из этой одинокой жизни можно сделать повод для гордости и даже творческий метод, — но слёзы-то никуда не денешь. И как писала Петрушевская — самый близкий ему автор, сошедшая с ним в первом букеровском шорт-листе и тоже обнесенная наградой: “А все-таки болит сердце, все ноет оно, все хочет отмщения. За что, спрашивается, ведь трава растет, и жизнь неистребима вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело”.

Он и в кругу писателей не очень-то прижился, выживал среди кинематографистов (Тарковский, Кончаловский), хотя первыми читателями были Трифонов, Нагибин, Б.Хазанов, критики Сарнов и Лазарев. Среди шестидесятников его представить невозможно, среди догматиков-антикоммунистов, упорных диссидентов, — тоже. Догма — вообще не про Горенштейна, и не сказать при этом, что он человек без мировоззре-

ния: мировоззрение наличествовало, но не вписывалось ни в какие рамки, даже в религиозные.

Горенштейн — человек ветхозаветного, жесткого, мстительного сознания, но это ветхозаветность без Родины, без корней; он — обреченный и одинокий представитель великого племени, законник и пророк, носимый ветром, иудей после Холокоста и после советского опыта, иудей-чернорабочий, постоялец общежитий, иудей-выживалец. Это не то чтобы корректирует изначальные установки, но заставляет задуматься об их участии в мире.

Горенштейн смотрел на мир глазами потерянного ребенка, пущенного из милости жилища, который одновременно благодарит и ненавидит своих благодетелей; глазами бездомного, озирающего бесконечные ряды освещенных городских окон — он страстно мечтает оказаться в одной из этих комнат и так же страстно ненавидит эти комнаты; это взгляд обманутого и обобранного, оскорбленного и зачумленного, и смотреть на мир таким взглядом нельзя — но нельзя и не признать, что многие вещи можно рассмотреть только под этим углом. Мне трудно представить читателя, который, прочитав “Попутчиков”, “Чок-Чок” или “Искушение”, не признает автора писателем исключительной, можно сказать — гениальной одаренности; но еще трудней представить читателя, который наряду с благодарностью и осознанием авторского величия не испытывает раздражения. Потому что, как сказал Горацио, “рассматривать так — значило бы рассматривать слишком пристально”.

2 Горенштейновская концепция человека поражает сочетанием сострадания, преклонения и брезгливости. В самом деле, моральные критерии, ко-

торами Горенштейн поверяет поступки и даже мысли своих героев, — исключительно серьезные, библейски грандиозны, но в то же время человек Горенштейна жалок, склонен к разного рода слабостям, а иногда и зверствам; кажется, на проект “Человек” Горенштейн смотрит еще скептически, чем большинство послевоенных мыслителей, навеки ушибленных ужасами XX века. Шаламов, например, был хотя бы атеистом, — а представьте себе такого Бога, который допустил или по крайней мере запустил все это? Но для Горенштейна XX век — органичное продолжение всей предыдущей истории человечества, в которой, собственно, ничего другого и не было: сплошное избиение младенцев под разными предлогами. И уж конечно, Горенштейн совсем не гуманист, по крайней мере в современном понимании. Как сказано в “Мухе у капли чая”: “Опять его подвел дух современного гуманизма, мало общего имеющий со своим родоначальником из Ренессанса. Дух, ведущий не к укреплению, а к разрушению личности через раздачу себя хитрым нищим, через коллективизацию мировых ценностей, дух, обрекающий на поражение сильных и обрекающий на победу слабых, дух вырождения”. Какое-то почти нищезанятие, причем в горьковской его интерпретации, что-то прямо из рассказа “О первой любви”: “Впервые я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях, мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергии сердца и ума для того, чтобы поддержать беспомощное существование осужденных на гибель”. Чистый Ницше, да? Но Горький-то в 1922 году еще не знал, чем кончается Ницше, а Горенштейн — знал. И вот поди ты выбери: гуманизм — вырождение, нищезанятие — фашизм... Нет,

человек по Горенштейну, — неудачный, положительно неудачный проект! “Нарушено соотношение огня и глины”, как писал Леонид Леонов — которого Горенштейн скорее всего никогда не открывал.

Можно, конечно, отделаться замечанием, что во всем виновата плоть, а дух-то у нас ого-го, и “Чок-Чок” как будто дает некоторые основания для такого взгляда. Вещь эта так отпугивала издателей, что из всех толстых журналов ее решили опубликовать только “Искусство кино”, опекавшее Горенштейна, так сказать, из профессиональной солидарности (его легальная профессия — кинодраматург, в СССР он был известен исключительно как соавтор сценариев “Солыриса”, “Рабы любви” и “Седьмой пули”, плюс не обозначенные в титрах монологи Рублева в фильме Тарковского; в эмиграции он этого дела не оставлял, написал отличные кинороманы об Унгерне и Шагале, но их до сих пор не поставили). Потом, правда, эта повесть вышла отдельной книжечкой в издательстве журнала “Звезда”, в серии “Художественно-Уникальные Издания”.

Можно подумать поначалу, что “Чок-Чок” — именно о бремени плоти, о том, как отвратительно то, что мы называем страстью; но и любовь в самом ее чистом виде ничуть не лучше. История чистой любви героя к юной чешской балерине ничуть не краше, да больше того — она еще смешней. Редкий читатель забудет фразы типа “Пусть у тебя будет красный живот” или “Ты лижешь, как гля краве” (иногда кажется, что такого и не выдумаешь). Человек у Горенштейна жалок почти всегда — когда любит, когда надеется, даже когда пишет (стоит вспомнить оголтелую графоманию героя “Попутчиков” и, для полноты чувств, первую фразу оттуда, цитировать не буду специально, в сети все доступно).

Неудачный проект — вторая по значимости тема Горенштейна (тесно связанная с первой, то есть с поисками места); и действительно, глядя с известной высоты — с той высоты, с которой смотрит, например, Дан, Аспид, Антихрист из романа “Псалом”, — нельзя увидеть ничего иного. Причина стойкого недоверия Горенштейна к христианству, дух которого ощущается у него очень редко, а может, и не ощущается вовсе, разве что в сентиментальном рассказе “С кошелочкой”, да и там он снижен иронией, — именно в этом: он против того, чтобы давать челоовечеству иллюзии насчет его значимости и тем более добродетелей. Сплошная органика, иногда мыслящая, но по большей части дрожащая. И даже герои “Бердичева” — самого нежного и ностальгического его произведения, написанного с бабелевской речевой чуткостью, — вызывают отнюдь не умиление — положим, Горенштейн способен любить их, и даже не отделять себя от них, но эта любовь приправлена изрядной долей скепсиса, уксуса, желчи.

Рискну предположить, что весь мир у Горенштейна делится на евреев и антисемитов — не по национальному, конечно, и даже не по религиозному признаку; антисемиты не вызывают ничего, кроме ненависти, а евреи на каждом шагу предают свою богоизбранность и описываются с насмешливым состраданием. И когда речь идет о русских или немцах — скажем, в двухтомном романе “На крестцах”, — деление примерно то же, только в функции евреев выступают одиночки, изгои, творцы, летописцы. И они по большому счету недалеко ушли от своих мучителей. (В кинодраматургии Горенштейна — скажем, “Под знаком тибетской свастики”, — этот взгляд на вещи тоже присутствует, но там Горенштейн честно решал профессиональную задачу; для себя он писал жестче.)

Особая тема — его отношение к русским, к русскому характеру и культуре; по нынешним временам его, пожалуй, еще и запишут в русофобы, забывая, что о сострадании, силе, сердечном веселье русских, о неискаемом милосердии русских женщин и великолепном бесстрашии мужчин он написал едва ли не лучше всех современников. Но о русских он пишет как равный, а не как чужак, пытающийся подольститься. Он имел право на горькие слова, вложенные им, правда, в уста несимпатичной героини, вдобавок припадочной, — Раисы из “Улицы Красных Зорь” (Леонов говорил Чуковскому: отдавайте заветные мысли отрицательным героям, тогда выживете): “Мой брат был православный, верил в русского Бога, а мне это азиатское христианство не по душе... Не люблю русских, ненавижу русских. Народ грубый, злой, а если доброта, то юродивая”. Под горячую руку и не такое скажешь, но не забудем, что проза Горенштейна — стихия русской речи, ее мощная река, и ритм, дыхание ее — не просто русские, а фольклорные, и основные мотивы — рок, предзнаменование, ожидание, — тоже фольклорные, и при всем своем знаменитом местечковом выговоре Горенштейн писал по-русски органичнее всех в своем поколении, потому ему так удавался сказ.

Трудно вообще ответить, кто на него повлиял, — он как бы писатель без корня, без предшественника, потому что никто не бывал на его месте и не прошел по его адским кругам; пожалуй, он наряду с Окуджавой — чьи предшественники тоже неочевидны, — мог бы назвать своим учителем фольклор. И символично, что оба эти создателя подлинно народных текстов — один сочинял народные песни, другой писал страшные и грустные народные сказки, — были настолько вне народа, так упорно и заслуженно слыли одиночками. Одиночками они и были, потому что народные

песни поются скопом, а пишутся изгоями. Горенштейн — народный писатель без народа; народу долго еще дорасти до него, но дорастет, куда денется. Об этой “народности без народа” сам он исчерпывающе сказал в “Мухе”: “Стоит русскому сойти с ума, как он становится испанцем, наподобие гоголевского Поприщина. Однако же испанцем без Испании, где крайности радости и страдания имеют свою национальную психологическую основу”. Горенштейн такой основы не имел — это отравило его жизнь, но сделало его гением. А сколько их остальных развелось с основой — не продохнуть.

ЗНесколько особняком в корпусе его сочинений стоят “Ступени” — та самая повесть, которую он отдал в “МетрОполь” и потом раскаивался. Получилось так, что “МетрОполь” составлялся по остаточному принципу: туда давали всё, что не печаталось здесь, но и то, что было слишком маргинальным, или безумным, или экзотичным, чтобы напечатать “там”. Получился интересный срез позднесоветского безумия — заведомо несценичная, издевательская пьеса Аксенова, черно-иронические рассказы Искандера, наиболее радикальные эксперименты Вознесенского.

“Ступени” — вещь гротескная, даже, пожалуй, абсурдистская, но она лучше всего передает страшную духоту поздних семидесятых, хотя и написана в 1966 году. Это время религиозных увлечений и паранормальных экспериментов советской интеллигенции — спиритизм, описанный у Трифонова, йога, описанная у Высоцкого, пророки и самозванные целители, зафиксированные в маканинском “Предтече”, — презрительно и насмешливо описано в замечательном романе Владимира Кормера “Наследство”, вещи столь ядовитой,

что и диссиденты его приняли настороженно. Об этом же пишет Мамлеев, сам — порождение той эпохи, создатель “Южинского кружка”; и вот “Ступени” — как раз про это. Это уродливая вещь об уродстве (и юродстве), о том, в какие больные формы воплощается подпольная вера, как выглядит подпольное народничество, во что вообще обратилась русская интеллигенция в условиях тотального запрета. Многое здесь предугадано, вплоть до “оскорбления чувств верующих”. Здесь много бреда, безумия, навязчивых идей, это по-настоящему больная книга, самая мамлеевская у Горенштейна, книга о том, как умирает русская душа — Зина; но эта душа такая юродливая, такая затравленная, что и сострадать ей трудно. Все герои производят впечатление либо безумных, либо слепых, либо глухонемых — да так оно и есть: безумен главный герой, в монастыре живет и работает артель глухонемых, а слепец доказывает всем, что слепота — идеальное состояние, а зрение только мешает восприятию красоты. Всё это на фоне всеобщей сексуальной озабоченности, ибо иных проявлений творческого начала не осталось. Герой “Ступеней”, врач, говорит, что кончилось время воздуха и наступило время желчи; желчь и дальше будет преобладать в воспоминаниях Горенштейна о Родине, и после “Ступеней” особенно ясно, что не покинуть ее он не мог.

Очень может быть, что “Муха у капли чая”, где человек, по определению Жоржа Нива, “восемь лет провел в рабстве у злой и истеричной женщины”, — тоже духовная автобиография, и сам автор, проведя в рабстве у России большую часть жизни, на свободе оказался в еще более безвыходном положении. И описывая свою российскую жизнь, Горенштейн, может стать, был прав: “Теперь, с многолетним опозданием, он понимает свою ошибку, неизбежную ошибку христиа-

нина-миссионера, пытающегося проповедовать там, где нужна лишь лопата могильщика”. Кто из русских, особенно в нынешние, уже пост-горенштейновские, но предсказанные Горенштейном времена, — не думал иногда так? (Весьма интересно, что действие этой повести происходит удушливым летом 1972 года — тогда же, когда и трифоновский “Старик”: многим запомнилась та жара, многим внушила апокалиптические мысли. “Горит земля под ногами”, как говорит в “Мухе” та самая истеричка.) Это же точно о нынешней России сказано: “В решающий момент ей легче снять с себя тысячелетние наслоения культуры, если того требует подлинный Хозяин, зовущий ее из Бездны”. По Горенштейну, подлинный хозяин — женщины и России — обитает в бездне, и надо ли уточнять, как его зовут? Проблема в том, что после избавления от женщины — или Родины, — герой Горенштейна попадает в еще более глубокие бездны, и хотя творческая жизнь его как бы налаживается (именно как бы, потому что его продолжают не понимать и вдобавок цензурировать), но покоя нет ему и там. “Зеленый стебель легенды”, который предлагает ему в финале Горенштейн, — утешение сомнительное.

Пожалуй, самый наглядный пример горенштейновского стиля и взгляда — не фрагменты из прозы, а вот такой пассаж из одного позднего памфлета: “Считается, что послевоенная Боннская республика — образец преодоления своего прошлого, и должна служить примером другим странам, в частности, России в ее преодолении сталинизма. Нет ничего более далекого от истины. Боннская республика как раз может служить примером того, как это свое прошлое можно умело, даже талантливо, скрыть. То есть, что значит “скрыть”? Это значит разоблачать его по-своему, менять точку зрения, переставлять акценты. (...) В роко-

те громкого разоблачительного гнева чуткое ухо может уловить сопутствующий шепоток: немецкий народ, массовый Michel в солдатской шинели к этим лагерям никакого отношения не имеет. Можно обратить внимание еще на один метод разоблачения своего прошлого, применяемый с аденауэровских времен: объединение своих жертв с чужими. Своеобразная игра в “ничью”. А при умелой расстановке акцентов тут можно получить даже перевес. (...) Для международного гитлеризма Германия по-прежнему остается “святой землей”, “коричневой Палестиной”. И немцы должны это понять. И немцы должны жить с этим, как человек живет со своими хроническими болезнями. Если Франция может переварить существование Национального Фронта, то Германия себе такой “роскоши” позволить не может, даже ради существования демократических свобод. Однако позволяла и позволяет”.

Правда ведь, как вчера написано? И завтра будет еще актуальней! А посетил бы Горенштейн (он всегда приезжал с неохотой, но не мог вовсе оторваться от России) нынешнюю Москву, или нынешний свой родной Киев, — что бы он увидел и что бы подумал?!

Надо только перестать наконец утешаться, что литературу можно делать из компромиссов; нельзя. Пусть даже литература, получившаяся без компромиссов, будет находить своего читателя годами; скажем, последний роман Горенштейна “Веревоочная книга” не только до сих пор не опубликован, но и элементарно не расшифрован (именно так, расшифровкой, называется процесс чтения его трудночитаемого почерка). Горенштейн — это первоклассный, не будет преувеличением сказать — великий писатель; но чтение его — ни минуты не скучное — остается тяжким трудом, мучительным преодолением собственных страхов; да,

ни в чем не уступая знаменитым современникам, а кое в чем их решительно превосходя, он остается по-прежнему далек от массового читателя. Да, в России его теперь уже печатают и цену ему знают, и эта книга, будьте уверены, тоже не будет пылиться на полках. Да, посмотреть на мир с точки зрения ничего не прощающего сироты, мальчика из разбомбленного эшелона 1941 года, — невыносимо; но очень может быть, что именно такой взгляд на мир по-настоящему правдив. Вы скажете, что с таким взглядом на вещи жить нельзя; это не совсем точно. Счастливо жить нельзя, легко — тоже; но кто вам сказал, что жить вообще надо легко?

...Иногда я думаю: что, если после смерти действительно есть рай или ад, — неужели Горенштейн не заслужил рая после всего, что здесь перенес? Неужели там его не встретят отец и мать, и не кончится его многолетнее невыносимое сиротство? Но с другой стороны, после такого опыта, — есть ли хоть какое-то иное “место”, где он мог бы утешиться, примириться и простить?

То-то и оно.

Улица Красных Зорь

1

Улица Красных Зорь была главная и единственная в поселке. От нее отходили неглубокие тупички в несколько домов каждый. В ширину поселку расти некуда было. С одной стороны – железная дорога, узкая колея от мочально-рогожной фабрики, рядом с ней – грунтовка, а за дорогами – лес, сосняк-брусничник на сухом песке. Другая сторона была речная, и крайние дома тупичков стояли на обрывистом берегу реки Пижмы. За Пижмой, на суглинистой влажной почве, – сосняк-черничник. Этот лес был пострашней, и ходить туда за черникой в одиночку, без поселкового народа, было опасно. Чем далее, тем угрюмей становилось, и деревья выше, сильнее: сибирская лиственница, кедр, пихта – деревья таежные. В самой чаще лес заболочен, почва торфяная, и из мхов, из лесных злаков росли ели, ольхи, березы, осины, хвощи, осоки. Но это совсем уж далеко от улицы Красных Зорь, и Тоня о тех страшных местах только слыхала, однако никогда там не была, хоть в поселке на улице Красных Зорь жила давно, лет шесть, с тех пор как родилась.

Тоне казалось, что в болотистых местах и прячется самое страшное слово для поселковых – амнистия.

Поселок был последним пунктом, ближе которого ссыльных к Москве не пускали, и, когда случалась амнистия, начинались грабежи и убийства. Другое страшное слово — война — было далеко, на краю света, и могилы военные были далеко. Вместо убитого человека присылали бумажку, и взрослые эту бумажку оплакивали. А амнистия жила хоть и далеко от улицы Красных Зорь, однако в этой местности, в болотистой чаще, и жертв ее хоронили в сосновых и еловых гробах на поселковом кладбище у сосняка-брусничника. К тому ж амнистия пришла тогда, когда война кончилась и стала неопасной. Сама Тоня, правда, амнистии не помнила, но слышала, как взрослые — Тонина мама Уля, и тетя Вера, и муж тети Веры дядя Никита — вспоминали про кассира с мочально-рогожной фабрики, которого нашли в Пижме без головы, и про семью Ануфриевых, которую зарезали и обокрали. Зарезали всех, кроме парализованной бабушки. С бабушки только сняли одеяло, вытащили из-под головы подушку, а из-под бабушкиного тела — простыню. Но когда амнистированных переловили, время стало спокойное, хоть и голодное.

С тех пор как Тонин отец уехал от них, мама Тони и трехлетнего Давидки работала на станции, мыла товарные вагоны. Уйдет — оставит на столе миску с пареной свеклой, а рядом — чугунок с соленой водой. Поедят дети свеклы, попьют соленой воды и лезут на печку. Как и во всех поселковых домах, в Тонином доме была большая русская печь с лежанкой. А меж окон висело зеркало, в которое Тоня любила смотреть, и на зеркале — много бус, нанизанных на нитку, красивых, разноцветных, которые Тоня любила перебирать. На подоконнике стоял цветок в горшке, который весной красиво расцветал, а в углу висела балалайка с красным бантом. Балалайка досталась Тониной маме от ее отца, дедушки Григория.

Тонина мама, Ульяна Зотова, была поселковая красавица и певунья. Тоня любила, когда мама в сорочке до пола расчесывала перед зеркалом свои светло-русые косы гребнем пепельного цвета с ручкой, а она, Тоня, сидела рядом, прижимаясь к теплому мягкому материнскому телу. К Ульяне Зотовой многие сватались в поселке, но вышла она замуж за Менделя, рыжего еврея из сосланных, и родила от него двоих детей. Мужа она любила и, когда была в хорошем настроении, то звала – Мендель. Но когда ссорилась с ним или была в плохом настроении, то звала Миша. Работал Мендель шофером на мочально-рогожной фабрике, начальство его уважало, поскольку был он умеренно пьющий, и после того, как кончился срок его ссылки, предоставило ему оплаченный отпуск. Мендель уехал к себе на родину, на Украину, потом вернулся, увидел здешнюю нищету, от которой он за месяц жизни у своих родственников отвык, увидел двух малых детей, жену, простую таежную бабу, взял расчет и опять уехал. Поступил так, как ему родственники советовали.

– И хорошо, – успокаивала Ульяну ее сестра Вера, – не нужен тебе еврей-жид.

Но Ульяна отвечала:

– Я Менделя люблю, все равно он ко мне вернется.

Когда говорила про Менделя, то всегда улыбалась чуть-чуть, уголками губ, таинственно, точно знала про него такое, чего другие не знали.

– Я знаю, – говорит, – что нам с Менделем вместе через реку по жердочке еловой идти. Вместе по досточке сосновой. Мне на станции ссыльная цыганка нагадала. А вместе по жердочке через реку – это любовь до гроба.

Про Менделя говорила только с улыбкой, но когда пела, то плакала. Поэтому петь старалась не при детях, а в одиночестве.

Подросла Тоня, и Ульяна начала пускать ее погулять с меньшим Давидкой, но наказывала далеко от дома не идти. К брусничнику не идти, потому что там поезда проезжают, а по грунтовке — телеги и грузовики-полуторки. К черничнику — тем более: мост подвесной через Пижму шаткий, малому, некрепкому свалиться можно. А не свалишься, перейдешь — и того хуже. Хоть амнистированных всех давным-давно переловили, но кто знает, может, какой засиделся в чаще, на болоте. Говорят, недели две назад краснопогонники в черничник нагрянули с собаками, кого-то искали. А дедушка Козлов, дом которого самый дальний с речной стороны, слышал ночью в черничнике выстрелы, да не двуствольные охотничьи — из нарезного оружия. Поселковый народ, особенно старый, в таком деле понимал и умел отличить гулкий охотничий хлопок от короткого, ясного голоса военного карабина. Потому Ульяна, отпуская детей, наказывала гулять только по улице Красных Зорь. Была, правда, и на улице Красных Зорь для детей опасность, о которой шептались поселковые женщины, — дядя Толя.

Дядя Толя жил в поселке давно, с незапамятных времен, но на поселковых похож не был; поселковые его старались избегать и детям своим наказывали с ним не говорить, а если заговорит, то не отвечать и ничего у него не брать. Дядя Толя был высокого роста, худой, в пенсне. Любил он с детьми на улице заговаривать и гостинцы им дарить, а бабушка Козлова, и тетя Вера, и другие поселковые женщины шептались, будто дядя Толя детей, которых гостинцами подманивал, колот иголкой и от этого они помирали. Будто шестилетняя дочка Митяевых от иголки померла. Куда-то писали, жаловались, но жалобу оставили без последствий и разъяснили: дочка Митяевых померла, мол, не от каких-то иголок, а от скарлатины. Однако женщины продолжали шептаться и хотели писать в Москву Ста-

лину жалобу на местное начальство, при котором дядя Толя работал садовником. Дядя Толя жил в единственном на весь поселок трехэтажном каменном доме у мучально-рогожной фабрики. В доме этом помещался также поселковый совет и фабричное управление, а вокруг дома был сад, огражденный высоким забором.

Ульяна не верила шепоту поселковых, по своей сестре судила и понимала, что верить поселковым нельзя, однако на всякий случай все ж наказывала детям, если увидят дядю Толю, идти прочь, ничего не брать у него, с ним не говорить и ему не отвечать.

Отправит детей, завесит окна черными шторками, возьмет отцовскую балалаечку и поет в одиночестве, сама себе, чтоб поплакать и облегчить сердце. Песни пела грустные, но сладкие. Начинала с “У муромской дороги”.

У муромской дороги стояли три сосны,
Прощался там мой милый до будущей весны.
Недавно мне приснился тяжелый страшный сон,
Мой миленький женился, нарушил клятву он.

И когда пела, так сладко плакалось. Понимает: скоро дети придут с прогулки, пора умыться да утереться, а все не может остановиться, плачется и поется, поется и плачется. Вдоволь наплачется, и веселей становится, вспоминаются песни, которые певал ее покойный отец, Григорий Зотов, под эту балалаечку. “Три ключи” сплет.

Три ключи золотые
На адовой на ленточке,
На фарфоровой тарелочке,
На дубовом столике,
На фабричной салфеточке.

И конечно же, любимую, свадебную плясовую “Жердочка еловая, досточка сосновая”. Поет и приплясывает. Уж повеселела, уж улыбается, а из веселых глаз слезы по-прежнему текут. Случилось, в таком виде ее дети застали, дверь забыла запереть. Детям всегда страшно видеть свою мать плачущей, особенно когда плачет она одна, сама по себе, по-детски, не делясь ни с кем своим горем. Испугались дети, заплакали, но мать успокоила:

— Это я лук резала, глупые, сегодня будем похлебку есть с картошкой и пшеном.

— А мне хлеба хочется, — говорит Тоня, — я по хлебу скучаю.

Взяла тогда Ульяна Тоню на руки и поднесла к календарю отрывному за 52-й год. Календарь этот к репродукции с картины был укреплен — Сталин в полный рост в военном мундире и военной фуражке.

— У Сталина хлеба проси, — говорит Ульяна.

Начала Тоня просить хлеба у Сталина, просила, просила, потом говорит:

— Мама, Сталин не отвечает.

— Ну вот видишь, — говорит Ульяна, — даже у Сталина хлеба нет, а ты у меня просишь.

Мытье вагонов — работа тяжелая, а платят мало, как за неквалифицированный труд. Приносила Ульяна домой деньги и говорила Тоне:

— Давай аванс делить.

Садись за стол и начинали делить. Ульяна раскладывала деньги и приговаривала:

— Это на то-сё... А это на еду.

Тоня брала деньги на еду, перебирала рублевки, червонцы и говорила:

— Я буду аванс кушать.

Седьмого апреля, в день рождения Ульяны, захватили тетя Вера и дядя Никита, гостинцев привезли,

а встретить гостей нечем. Постелила Ульяна на стол чистую скатерку, поставила миску жареных семечек. Все сидели лузгали семечки, а шелуху с пола Тоня подметала. Тетя Вера и дядя Никита были не поселковые, а совхозные. Не очень далеко, но все ж поездом ехать надо или по грунтовке на полуторке. Можно, конечно, и бесплатно, пешком по шпалам, но в летнюю погоду. Лето здесь теплое, хоть и короткое, а зима суровая и долгая. Только в мае начинает лед на Пижме ломать. Седьмого апреля пурга была, улица Красных Зорь вся в сугробах, а в доме тепло, уютно, взрослые все выпившие, дядя Никита в особенности. Конечно, тетя Вера дяде Никите много пить не позволяла из-за склонности к алкоголизму, но при закуске семечками и полстакана самогона хватало.

Выпил дядя Никита и начал опять про Молотова, как уже бывало.

— Молотов, — говорит, — Молотов... Ненавижу, — говорит. — Я мальцом у купца работал, отца Молотова. Порядочный человек, он сына своего проклял.

А Ульяна, мать Тони, русская добрая женщина, за Молотова заступается:

— Он не виноват. Зачем его ругать? Его назначили. Он же должен где-то работать.

— Ох, беда моя, — говорит тетя Вера, — как увидит Дом культуры имени Молотова или проезжали мы Молотовск, так прямо при людях ругается и проклиняет. Как еще цел, не знаю. Семью имеет, пятеро детей.

А Ульяна, мать Тони, чтоб семейный скандал унять, говорит:

— Хватит вам посторонним себя расстраивать. Вот Тоня сейчас вам кабардиночку спляшет, развеселит.

Все в ладоши хлопают: асса! — а Тоня танцует. Ульяна не налюбуется, на дочь глядя, и, тоже подвыпивши, говорит:

— Звездочки мои небесные, — говорит, — детки мои, Тоня и меньшей Давидка. Вот погодите, — говорит, — новые цеха открывают при мочально-рогожной фабрике — веревочный да войлочный. Устроится мать ваша на хорошую работу, купит подарков: сарафан праздничный, калоши новые. Тоня у меня девочка умненькая, добренькая, тороватенькая.

“Тороватенькая” на местном наречье значит — “щедрая”. Слышит Тоня такие похвалы себе и еще лучше танцует, старается. Кончила танцевать, тут мать ей вопрос задает, чтоб похвалиться гостям, какая у нее дочка уже взрослая и умная.

— Кто ты есть, — спрашивает, — какого возраста и где проживаешь?

— Тоня Пейсехман, — отвечает, — шесть лет. Улица Красных Зорь, дом десять.

Вдруг тетя Вера как разозлится:

— Какая ты Пейсехман! Ты Тоня Зотова.

А дядя Никита, чтоб только с тетей Верой поспорить, говорит:

— Правильно, одобряю. Она фамилию сменила, чтоб товарные вагоны не мыть, как мать ее, и чтоб на тракторе не надрываться, как дядька ее с рассвета допоздна в мазуте и тавоте. Отец ее, Миша, шоферюга, может, самый дурной из них. У него брат родной кто? Доцент всесоюзных знаний, вот кто.

Тут Ульяна как крикнет:

— Ты Менделя моего не тронь! Не позорь отца при ребятах.

— Какой же он отец им, — говорит тетя Вера, — если сбежал. Ты б лучше на алименты подавала, чем грязные вагоны скоблить. Погляди на руки свои. Тебе только двадцать семь, и статная, нашей породы. Тебя и с двумя детьми возьмут. Вот Лука Лукич, главбух наш совхозный, вдовец, герой войны, к тебе интерес имеет.

— Нет, — отвечает Ульяна, — я Менделя люблю. Вернется он ко мне.

— Когда вернется, — спрашивает Вера, — письмо от него, что ли, получила?

— Я и без письма знаю. Будущей весной вернется.

— Это она из песни своей придумала, — засмеялась Вера. — Пойдем, Никита, пойдем. Пора уж, а то детей на соседку оставили. Пора уж... А ты, Ульяна, сестрица, гляди, как бы при твоём упорстве слезами не облиться.

На такие слова тети Веры Тоня рассердилась, затопала ножками и крикнула:

— Ты Менделя нашего не тронь!

— Вот, значит, чему тебя твоя маманя учит-балует, — говорит покрасневшая тетя Вера. — Гляди, глупых детей дядя Толя иголкой колет.

И ушли, не попрощались. Вера даже на пороге плюнула. Однако потом помирились и в гости к себе пригласили, в совхоз. Это уж летом, правда. Но с детьми раньше лета все равно в совхоз не выберешься.

Дни стояли погожие, лето теплое, а у Ульяны как раз двухнедельный отпуск подоспел. Посоветовались Ульяна с Тоней и решили: пешком пойдем по шпалам. Пораньше встанем, с передышками пойдем, еду, какая есть, с собой возьмем. По дороге в брусничнике малинки нарвем, как раз подоспела, водицы из ключа попьем.

Утро было чистое, солнечное, облака легкие и высокие, как всегда в погожие дни. А меж облаков — такие же легкие и высокие птицы. Лесные или поселковые птицы шумят, а этих не слышно — истинно небесные птицы.

— Это жаворонки, — говорит Ульяна. — Вот мы сейчас у них здоровья попросим.

Стала, подняла голову и заговорила:

— Ой вы, жаворонки, жавороночки. Летите в поле, несите здоровье. Первое — коровье, второе — овечьё, третье — человечесьё.

— Они ведь высоко, — говорит Тоня.

— Ничего... Они добрые слова сердечком слышат.

Пошли дальше. За переездом началось ржаное поле. Ульяна поцеловала колоски и, взяв детей на руки, велела и им целовать колоски.

— Ржаной колосок — медовый пирог. Приехал на сохе, на бороне, на кобыле вороне.

Хорошо, весело, красиво вокруг, и по шпалам легко идти. Поезда редкие, раз только пропустили, и по грунтовке изредка полуторка пыль поднимет или телега прогрохочет. Люди совсем уж редко на встречу попадают. Шли мимо поля — ни одной живой души. Уж миновали поле, когда из брусничника по тропке бабушка Козлова с полным кузовом лесной малины. “Куды да раскуды?” Сели вместе передохнуть.

— День какой солнечный, — говорит Ульяна, — лето славное. Вот рожь как поднялась. С хлебом будем.

— Верно, — смеется бабушка Козлова костяным белогубым ртом, — был бы хлеб, а мыши будут. И мышь в свою норку тащит корку. Мышей развелось невидимо. Это к голоду, к беде. Я, еще солнца не было, иду, а мыши развозились и пищат, беду закликают. А ты да-лехонько?

— В совхоз, к сестре.

— К сестре — хорошо. Только в брусничник глубоко не ходи. У моей кумы тесть молодой, а уже в чинах. Кажись, главный лейтенант. Так говорит — поберечься надо.

— От чего поберечься, бабушка?

— От чего? — И опять костяным белым ртом щелкнула.

Дети дружно заревели.

— Ты, бабушка, детей мне не пугай, — говорит Ульяна, — иди своей тропкой, а мы своей дальше пойдем.

— Ты не торопись, — говорит бабушка Козлова, — ты молодая, тебе беречься — не мне. Хоть и старым беречься не грех. Вон Саввишна Котова, моя одногодка, в черничник ходила. Черницы захотела. И встретили ее у мохового болотца два огольца. Говорят, подымай, бабуся, сарафан. Зачала она их стыдить да ублажать: “Вы молоды, вам молодка потребна”. Так, думаешь, они Саввишну послушали?

— Пойдем, дети, — говорит Ульяна, — пора нам. Тетя Вера да дядя Никита ждут.

— Ребят пуще себя береги, — кричит вслед бабушка Козлова, — дядя Толя иголочкой колет, а сестра его Ракса, волосы длинные, на крови пельмени варит.

“Чтоб ты сдохла, шука старая”, — подумала про себя Ульяна и скорее прочь пошла. Тоне велела за юбку держаться, а меньшого Давидку на руки взяла. Но уж день не таким чистым казался и за малинкой в брусничник идти перехотелось, хоть дети клянчили.

— Лучше скорее в совхоз доберемся, там с народом совхозным за малинкой сходим.

Но дорога неблизкая, умаялась Ульяна меньшого Давидку на руках нести, умаялась Тоня ножками топать по шпалам. Было уж за полдень, утренние облачка улетели, и в бесконечном небе остались только солнце да жаворонки. Начинался зной, солнце пекло, а еще сильнее солнца пекло от шпал и гравия, покрытых черными мазутными пятнами. Душный запах мазута глушил лесные и полевые запахи. Хорошо, грунтовка свернула и унесла свою пыль к понтонному мосту через Пижму. Ульяна решила держаться железной дороги, которая выведет прямо к совхозу. Да и безопасней, чем к брусничнику спуститься. Дорога пошла на закругление, и уж солнце светило в спину, а сосняк-брусничник был с обеих сторон. Перекусить бы, попить, но боязно было среди леса с обеих сторон. Наконец вышли к Пи-

жме. Шли в другую сторону, а вышли все к той же реке, потому что Пижма — река длинная и извилистая. Здесь уж былолюдно, слышались людские голоса, у пристани причалена была баржа и плоты сплавщиков. На барже сушилось белье, а какие-то подростки ради баловства, видать, жгли на отмели смоляную бочку.

— Ну вот здесь мы и перекусим, — сказала Ульяна, — здесь и со шпал сойти можно. От дороги железной отойти. Здесь место людное. Расстели, Тоня, скатерку, я сейчас на пристань за водой схожу.

— Из ключа попить хочу, — заныла Тоня.

— Попьешь и водопроводной, — сердито сказала Ульяна, — ключ в сосняке остался, который мы миновали. Слышала, какие страхи бабушка Козлова рассказывает.

Пристань называлась “Поселок Светотехстрой”. Никакого поселка еще не было, но земля во многих местах была очищена от травы и лежало много срубленных деревьев.

Перекусили спеченными накануне Ульяной холодными блинами из пшена и ржаной муки, а для Тони и Давидки Ульяна припасла на закуску яблочко, каждому половинку. Попили водопроводной воды, пахнувшей речной тиной. После того как перекусили и попили, не сразу пошли, а еще посидели.

— Ты почему на бабушку Козлову “щука” сказала? — спросила Тоня.

— Вот те раз, разве я сказала? — удивилась Ульяна. — А сказала — тоже не беда. Щука — рыба умная, она своими острыми зубами все болезни и все беды загрызает. Если укусит невзначай — пенять нельзя, за дело укусила. — И, увидав, что ребята от усталости приуныли, от еды разомлели, а дорога еще не кончилась, пропела, чтоб подбодрить: — Щука шла из Новгорода. Она хвост волокла из Бела-озера. Как на щуке чешуйка серебряная, что серебряная, позолоченная...

2

В совхозный поселок пришли уж под вечер, усталые, запыленные, потные и продрогшие, поскольку, когда побагровевшее солнце пошло на закат, от леса и Пижмы потянуло холодом, а одеты-то все по-летнему: на Ульяне легкая кофтенка и юбка, на ребятах платица. Меньшой Давидка, хоть мальчик, тоже платице носил старое Тонино.

Совхозный поселок быстро разрастался, и дома здесь все были свежие, недавно сложенные, а улиц много, не то что одна — Красных Зорь — да тупички. Зато каждый тупичок на другой не похож, а здесь улицы как одна мать родила. Хоть была Ульяна у сестры не однажды, но с трудом нашла. Подходит Ульяна к дому, узнаёт по воротам да по резной фигурке над кровлей, которую дядя Никита вырезал и прибил, узнаёт и нажимает звонок. Не отпирают. Тогда стучит. Не отпирают. Что за страсть? Уж беспокоиться начала. Но в окнах свет — значит, дома. Опять звонит и стучит. Зинка, старшая, отпирает.

— Тетя Ульяна? Мама еще с работы не пришла.

— А отец?

— Папаня есть, только он спит. Вы проходите.

Проходит Ульяна с ребятами в дом и видит такую картину. Никита лежит на полу навзничь с открытым ртом и храпит пьяным храпом. Штаны, пиджак, рубашка — все мокрое и грязное, точно он долго в канаве плескался. Ноги босы и тоже грязны, а рядом ботинки, облепленные комьями грязи, в грязной лужице мокнули. Лицо разбито, в запекшейся крови и засохшей грязи. А вокруг него ребята возятся все пятеро, оравой: Зинка, Бориска, Сергейка, Матвейка и меньшей — Влас, Давидкин ровесник. Мочат ребята тряпицы в ночной горшок и тряпицами этими отцу лицо обтирают. Тут же кот Барсук трется, слушает с любопытством храп, подойдет, понюхает открытый Никитин рот, понюхает и лапками на полу у Никитиной головы закапывает, понюхает и закапывает. Всплеснула руками Ульяна.

— Ах ты чертова беда.

Попробовала перетащить Никиту на лавку — тяжелый. Набрала миску воды, обмыла лицо, нашла йод — смазала ссадины. Ребята всей оравой, теперь уж всемером, ей помогали. Смех, визг, толчея — весело. Пока так возились, Вера с поля пришла. Увидела — ничего не сказала, только рукой махнула. Перенесли сестры Никиту на лавку — пусть храпит. Вера одежду стащила грязную в стирку, все привычно, все как водится. Управилась и стала на стол накрывать; сели ужинать. Поужинали сытно: грибами вареными и хлебом, а на сладкое — лесной малиной. Поужинали и спать легли. Вера ребятам всем вместе на полу постелила. Ульяна с Верой в кровать легла, а Никита так до утра на лавке и прохрапел. Точнее, до рассвета. Когда проснулись — его уж не было, уж давно на тракторе своем. Потому и ценили в совхозе: пить пьет, а в работе не подведет. Утром уселись всей оравой за стол, поели холодца.

— Я кость от окорока варю, когда достану, — говорит Вера, — шкурки, кусочки хрящика. Ребята любят,

и мой поест тарелку, трехлитровую банку кваса выпьет и доволен. Его если хорошо кормить, он меньше пьянствует, только иногда срывается. А иной раз я кость с горохом варю.

Потом поехали в поле, на покос. Было очень красиво, много людей, и в большом котле варился вкусный обед. Ульяна пошла вместе с Верой трудиться. Серпом работать умела, хоть и отвыкла. Работа нелегкая, с непривычки особенно, но радостная. Не то что грязные вагоны мыть. От земляных запахов кружится голова и петь хочется.

— Петь здесь можно? — спрашивает Ульяна.

— А чего ж нельзя, — отвечает Вера. И запели в два голоса:

— А на шейке-то платок, точно аленький цветок, а в кармане-то другой — итальянский, голубой...

— Продавай дом, переезжай в совхоз, — говорит Вера, — я тебе уж давно советовала, да ты все думаешь, будто я свою половину денег тороплюсь получить.

— Жалко, — говорит Ульяна, — отцовский дом. Да и Мендель вернется — куда ему в совхоз? Он на мочально-рогожной фабрике опять работать захочет, его там начальство любит.

— Что тебе этот Мендель, — сердится Вера, — чем тебя этот Мендель к себе прилепил? Он уж и думать про тебя перестал, он уж, поди, давненько с Сарочкой живет. Ты лучше про Луку Лукича думай, если не ради себя, то ради детей, Тони и Давидки. Сегодня Лука Лукич у нас ужинать будет. Это знаешь, какой человек? Герой войны, весь пиджак в золоте и серебре. И справа висит, и слева висит. Семью свою в войну потерял и потому из тех мест уехал от тяжелых воспоминаний подальше, в наши места. А здесь туз тузом. Сам Куцепалов, директор совхоза, перед ним спину гнет, поскольку все финансы у него, а он лицо материально ответ-

ственное перед городским банком. И человек добрый, редко кто теперь согласится с двумя детьми взять.

Пока взрослые беседовали и трудились, дети веселились, бегали по траве, забирались в скирды. Потом появился дядя Никита и каждому дал по птичьему яичку в желтых крапинках. Тонино яичко разбилось, и она заплакала, но дядя Никита тут же дал ей другое. Пообедали в поле крестьянской похлебкой с говядиной и капустой. Каждому досталась полная алюминиевая миска похлебки.

Вечером перед ужином Вера говорит Ульяне:

— Я тебе свое платье дам, ты приоденься. У нас, кажись, один размер. Ты чуть худее, но можно где надо булавкой зашпилить. И туфли мои одень на каблучках. Ежели велики, в носки тряпок набей. Это лучше, чем когда давят. И духами побрызгайся “Красная Москва”. Я на особые случаи флакончик берегу. А это и есть особый случай в твоей судьбе, Уля.

Приделась Ульяна, посмотрела на себя в зеркало в полный рост, ахнула: точно по волшебству из жабылягушки стала царевной. А Тоня как увидела свою маму такой — засмеялась от радости, в ладошки захолопала. Тут же и тетя Вера радостная суетится, где лишнее, булавками подкалывает. Взмахнула Ульяна руками и пошла перед зеркалом каблучками притопывать.

Вниз по озеру гагарушка плывет,
Выше бережка головушку несет,
Выше леса крылья взмахивает,
На себя воду заплескивает.

— Хороша невеста, — смеется дядя Никита, — пора свадебную баньку топить. У нас в деревне Лобанове над рекой Истрой, откуда я родом, накануне свадьбы топили баню, и подружки мыли невесту. Косы пере-

плетали. Пока девушка — с одной толстой косой, а замужняя — уж две косы... Хороша наша деревня. Над кровлей каждого дома — резная фигурочка, на окнах — узорные наличники.

— Ладно, — оборвала его Вера, — и наши не хуже ваших. Гляди на Улю, какая рыбка плывет. Надо только шелковы невода, чтоб ее изловить.

Лука Лукич пришел в седьмом часу вечера, как и условились. Принес бутылку водки “Московская”, полфунта масла и банку красной кетовой икры. Торговля с Западом тогда велась незначительная, и икру черную и красную пускали на внутренний рынок. Стояла она на прилавках свободно, даже и в захудалой провинции, и была гораздо меньшим дефицитом, чем обычная чайная колбаса. Стоила икра по сравнению с нынешними ценами недорого, но народ зарабатывал еще меньше, и была икра, как и ныне, мало кому доступна. Однако Лука Лукич, главбух совхоза, мог себе позволить.

— Вчера в горбанке был, — сказал Лука Лукич, усаживаясь за стол и расправляя свою хорошо выращенную, по грудь бороду, черную с седой искрой, — в горбанк ездил, а там напротив гастроном большой... Был в горбанке, купил икру в банке, — пошутил Лука Лукич.

Лука Лукич был человек тяжелого веса и уважение к себе имел увесистое. Вера устроила так, что за столом Ульяна оказалась рядом с Лукой Лукичом.

— Вы, Лука Лукич, уж поухаживайте за моей сестрой, — сказала Вера, сахарно улыбаясь, — а то она у нас несмелая.

— Рад стараться, — шутливо ответил Лука Лукич, и когда он потянулся вилкой к блюду с холодцом, то ордена и медали на его груди зазвенели, как колокольчики, которые вешают в здешней местности на шею козам и коровам, чтоб легче было отыскать их в тайге.

Положив кусок холодца Ульяне, он положил кусок и себе на тарелку.

— Хренка бы, — обратился он к Ульяне, — и вам советую.

— Я острого не люблю, — сказала Ульяна.

— Напрасно, — сказал Лука Лукич, принимая от услужливой Веры посудину с тертым хреном и накладывая себе побольше. — Способствует, — добавил он, но чему способствует, не объяснил. — А стюдень хорош, — сказал, положив кусок в рот и прожевав. — Это говяжий стюдень со свиными губами?

— Точно, — умилилась Вера, — вы, Лука Лукич, знаток. Вам холодец из хрящей жена не подсунет. Да и было б за что, мы, женщины, все раздобудем.

Действительно, побегала Вера многовато: и в станционном буфете переплатила, и мясника в совхозном магазине отблагодарила, пока достала три говяжьи ноги и пол свиной головы. Ребятам, всей ораве, накрыли стол отдельно, на кухне, и потому разговор у взрослых после второй рюмки пошел серьезный и нестеснительный.

— Вчера в городе кино смотрел, — сказал Лука Лукич, — “Иван Грозный”. Хорошая картина, только с названием я не согласен. Для кого он, понимаешь, Грозный был? Для боярства и купечества, а не для народа. Я считаю, самое ему подходящее название не Иван Грозный, а Иван Серьезный.

— Это верно, — сказала Вера, сворачивая на свое, — серьезному мужчине жена всегда рада. А у сестры моей муж попался никудышный. Мендель, еврей. Бросил ее с двумя детьми.

— Не в том дело, что еврей, — медленно, рассудительно шевелил губами Лука Лукич, — это я не согласен, как у нас некоторые к евреям относятся. Маркс был еврей и Яков Свердлов. Какой человек, важно, а не нация.

Такие слова Луки Лукича Ульяне понравились, она подняла глаза и посмотрела на него уже мягче. Луке Лукичу было лет сорок пять, и если б сбрил бороду да нос был бы не так толст, то имел бы лицо даже приятное.

— Двое детей, говорите, — боролся со словами выпивший Лука Лукич, — я люблю малых... Семью мою немцы-фашисты сожгли в сарае вместе с другими односельчанами за то, что в деревне немца убили... Жену и троих маленьких. — Он вынул платок и приложил его к глазам.

За столом притихли. Никита дожевывал кусок хлеба, но Вера его дернула, и он остался сидеть с полным ртом, пока Лука Лукич не отнял платок от глаз.

— Воспоминания, — сказал Лука Лукич, утер слезы и громко в этот платок высморкался.

Только после этого Никита дожевал кусок.

— “Не в шумной беседе друзья узнаются, — сказал Лука Лукич, — друзья узнаются с бедой. Коль горе настанет и слезы польются, тот друг, кто заплачет с тобой”.

— А мы, Лука Лукич, все плакали, — сказала Вера. — Верно, Никита? Когда вы начали про деток... — И она приложила платок к глазам, громко вскрикнула.

— А где же детки? — спросил Лука Лукич.

— Нету деток, — сказал Никита, — деток немцы в сарае сожгли.

— Тю на тебя, — сказала Вера, — он когда выпьет, Лука Лукич, не помнит, что говорит. Лука Лукич про Ульяниных деток спрашивает. — И через стол быстро шепнула Ульяне: — Позови Тоню и Давидку.

Когда позвали детей Ульяны, из кухни пришла вся орава.

— Ай, хорошо, — умилился и повеселел Лука Лукич, — люблю, когда полный дом детей.

— Это дело наживное, — сказала Вера и рассмеялась.

— Которые из них? — спросил Лука Лукич, тоже смеясь. — Которые Ульяны? Этот, что ли?

— Нет, — сказал Никита, — это наш. Это Макарка.

— Макарка, — умилился Лука Лукич, — ты чей будешь, Макарка?

— Я? Матерный сын.

— Матерный? — захохотал Лука Лукич, снова прижимая платок к глазам и утирая слезы, но уже от смеха. — Именно что матерный... Так нехорошо, так не надо... Матерный...

Если пьяного и сытого человека что-то рассмешит, то уже остановить невозможно, пока не высмеется.

— Матерный... Ах ты, ах ты... Ах ты, цыцкин сын... Цыцкин сын — это приличней. Кто из нас не цыцкин сын, тот цыцкина дочь... Все мы цыцкины дети...

Было уже поздно, в окна светила яркая луна. Лука Лукич глянул на свои карманные часы — “луковицу” в хромированном стальном корпусе.

— Пора... Завтра мне на работу пораньше... дебит-кредит...

— Проводи Луку Лукича, — сказала Вера Ульяне, — а то, может, его кто обидит... Я детей сама уложу.

— Сделайте любезность, — сказал Лука Лукич Ульяне, — сперва вы меня проводите, потом я вас провожу.

— Ты куда, мама? — спросила Тоня, увидав, что мать ее направляется к дверям с Лукой Лукичом.

— Иди, иди спать, — вмешалась тетя Вера и повернулась к Ульяне: — Гуляй, не беспокойся, я с детьми сама управлюсь.

Ульяна вышла на улицу. После душного, спиртного застолья сырой холодный воздух был вкусен, хотелось стоять и дышать, не думая ни о чем. Черную мглу вокруг освещали лишь слабые отсветы из окон. Во тьме лаяли собаки, что-то скрипело и гудело.

— Это на Пижме паром скрипит, — сказал Лука Лукич, — никак мостом не разживемся. Я, как депутат, уже несколько раз ставил вопрос в исполкоме. И фонари необходимы, улицы осветить. Здесь местность таежная, людишек хватает, которым во тьме удобней... Был у меня случай в прошлом месяце. Подходит ко мне: часы давай. Я ему говорю: сволочь, не успеешь опомниться, как я тебя ударю по голове. Причем дважды. Он меня ударил по верх головы. В том смысле, что я пригнулся... Я же после партизанщины и фронта все приемы знаю... Главное в драке — бухгалтерский расчет... Шаг назад, и яйца сохранны...

Про яйца с перепоею сказал, поскольку еще не выветрилось, но тут же опомнился и извинился.

— Я, знаете, никогда не ругаюсь, хоть работа у меня нервная, ответственная. Если уж припечет, скажу: ах ты хрен перловый — и все.

Ульяна ничего не ответила. Шли молча. Подошли к Пижме у скрипящего во тьме парома.

— Похолодало, — сказал Лука Лукич. — Вот пиджак мой позвольте, а то платье на вас легкое.

И повесил на худые плечи Ульяны свой тяжелый пиджак с позвякивающей металлической грудью.

Меж тем Тоня все не могла заснуть, хотела дождаться матери. Вера с ней замучилась и даже на нее прикрикнула. Остальные дети уже спали, а Тоня все воровчалась, поднимала голову и глядела в окно.

— Спи, — прикрикнула тетя Вера, — мать твоя тоже человек, погулять хочет. Она не скоро придет.

Однако вернулась Ульяна, к радости Тони, через какие-нибудь полчаса.

— Ты чего? — тревожно спросила Вера.

— Ничего, — ответила Ульяна и добавила тихо: — Не люблю, когда у мужика борода водкой воняет.

— Э-эх, — сказала Вера, — только мое платье студнем забрызгала. Вон пятно, теперь не отстираешь.

— Это Лука Лукич забрызгал, когда за мной ухаживал, — ответила Ульяна.

И больше о Луке Лукиче разговора не было. Утром Вера ушла на покос сердитая, не попрощавшись, а Никита, у которого был отгул, отвел Ульяну с детьми на полустанок и купил им билет на поезд. Так, на поезде, уже без всякой усталости, быстро и удобно приехали они назад, на свою улицу Красных Зорь.

3

Улица Красных Зорь осенью непроходима. Ноги не вытащишь. А вытащишь — калошу в грязи оставишь. Осень для Тони — худшая пора. Этой же осенью совсем худо: старые калоши порвались, а на новые мама Ульяна деньги не заработала. Получила Ульяна аванс, сели они с Тоней за стол деньги раскладывать: на то, на сё, на то, на сё и на еду отдельно. А на новые калоши не получается.

— Ты, может, потерпишь, дочка? — говорит Ульяна. — В слякоть все равно далеко не пойдешь, а вот замерзнет скоро, снега наметет, валенки наденешь. Они у тебя новые и теплые.

Согласилась Тоня, что поделаешь. Согласиться-то согласилась, но все равно обидно. Сидит Тоня на заборе и плачет. Калош нет — гулять не может. Вдруг видит Тоня, дядя Толя идет. Испугалась, еще сильнее плачет. Подходит к ней дядя Толя и спрашивает:

— Чего ты плачешь, голубушка?

А лицо у него бледное, пенсне блестит, и всё покашливает. Спрашивает и покашливает сипло. Хочет Тоня с забора соскочить, хоть бы и в грязь, да от страха как будто к доскам приросла. Полез тогда дядя Толя рукой в карман свой.

“Ой, сейчас иголочку вытащит, — думает Тоня, — ой, сейчас уколет”.

А дядя Толя вынул из кармана бордовую ленту и подарил. Взяла Тоня, побоялась не взять, да и лента шибко красивая. Пошел дядя Толя своей дорогой, вреда Тоне не причинив, даже наоборот, несколько раз останавливался и рукой ей махал. И Тоня тоже раз в ответ рукой махнула — не удержалась. Потом, когда дядя Толя скрылся, слезла Тоня с забора, пошла в дом, матери все рассказала и ленту показала. Узнали про ленту бордовую соседи, и тетя Вера, которая проведать сестру захала, и бабушка Козлова, и прочие поселковые женщины. Все говорят: выкинь ленту, выкинь. А бабушка Козлова даже посоветовала: спали ее. Послушала Ульяна эти советы, послушала — и бант завязала. Красив бордовый бант в Тониных темно-русых волосах. Ахнул народ поселковый, как узнал, что Ульяна совершила.

— Ульяна сама порченная, — говорят, — она с жидом жила, от жиды детей прижила. У ней кровь тифозная.

А дедушка Козлов сказал:

— Раньше с жидом, а теперь с контрой. Дядя Толя ведь непокорный враг революции. Он дворянского звания.

Меж тем дядя Толя еще подходил и заговаривал с Тоней, поскольку Тоня не гуляла, а сидела на заборе и ее встретить было нетрудно. Тоня уже не пугалась, не плакала и брала у него гостинцы, какие раньше и не чудились: то шоколадку, то печенье мятное, то две мандаринки. А раз принес новенькие калоши. Подкладка ярко-красная, мягкая, резина тугая, пахучая. Натянула Тоня калоши — в самый раз. С забора соскочила, по грязи пошла: ноги сухие, и калоши прочно сидят — высшее качество. Не областной фабрики, а Мосрезинотреста. Клеймо имеется. Ульяна вместе

с Тоней со всех сторон новые калоши осмотрели — хороши. Тоня их перед сном рядом с кроватью аккуратно ставила, а не в передней, где иная, старая обувь. Вымоет, высушит и поставит. Пусть стоят, блестят, резиной вкусно пахнут. Радуется не нарадуется вся семья, даже меньшей Давидка подойдет к Тониным калошам да погладит. Однако у Ульяны имелись и сомнения: отчего дядя Толя такой тороватый к Тоне, что у него за умысел и откуда он про калоши догадался? Говорит Ульяна Тоне:

— Если еще дядя Толя появится, кликни меня, я подойду.

Тоня и сама уж ждала дядю Толю: что подарит? Уж привыкла к подаркам. Ждала, когда на улице Красных Зорь послышится сиплое покашливание, и потому она не обращала внимания на крики соседских ребят, которые ее дразнили.

— Дядя Толя, дядя Толя, — кричали они ей, — Тоню иголочкой колет!

— На-кось выкуси, — кричала им в ответ Тоня, — больше не дам никому ни кусочка пряника, ни кусочка шоколадки.

Дразнить дразнили, а уйдет дядя Толя, подбегали и лакомства выпрашивали. Вот приходит дядя Толя и приносит два пирожка. Вкусные, медовые, с орешками. Берет Тоня пирожки, пробует и наслаждается, а соседским ребятам незаметно кукиш показывает. Ест Тоня пирожки и спрашивает, пережевывая сладкие, липкие кусочки.

— Можно, — спрашивает, — я свою маму, Ульяну, позову, поскольку она просила ее позвать, когда вы придете?

— Буду весьма рад, — отвечает дядя Толя, — я твою матушку издали наблюдал, и для меня большая радость с ней познакомиться.

Позвала Тоня Ульяну, и дядя Толя действительно весьма обрадовался, улыбается и смущенно покашливает.

— Разрешите представиться, — говорит, — Мамонтов Анатолий Федорович. — И Ульяне руку поцеловал.

Ульяна сначала от такой необычности растерялась, а потом освоилась, себя назвала.

— Ульяна Григорьевна, в девичестве Зотова, по мужу Пейсехман.

— Весьма приятно.

— И мне приятно. Только вас спросить хочу: почему вы нам подарки делаете? Ведь мы же чужие.

— Я верующий, — отвечает, — и по моей вере полагается чужих любить как своих. Слышал я, как соседские ребята Тоню дразнят, что у нее калош нет, вот и подарил калоши.

Подивилась Ульяна таким речам, они ей непривычны были. И человек дядя Толя непривычный. Издали опасным казался, а вблизи улыбку имел тихую, беззащитную. Нищую улыбку, которая словно что-то выпрашивала, будто в состоявшемся знакомстве не дядя Толя одаривал, а его одаривали.

— Буду весьма признателен, — говорит, — если вы с мужем согласитесь принять приглашение мое на обед.

— Хорошо, — отвечала Ульяна, — только муж мой Мендель Пейсехман в настоящее время в длительном отъезде, и жду я его возвращения не раньше весны. Но с Тоней приду.

И начали они с Тоней с того времени к дяде Толе в гости ходить. Первый раз пришли — обомлели. Дядя Толя с его сестрой Раисой жили в большой пятикомнатной квартире на нижнем этаже трехэтажного дома из серого кирпича, словно перенесенного сюда из Москвы, Ленинграда или, в крайнем случае, из области.

Впрочем, к внешнему виду дома поселковые привыкли и не дивились, поскольку стоял этот дом еще с давних, дореволюционных времен. И, конечно, подобно иным поселковым, Ульяна видала высокие внутренние комнаты, когда приходила на верхние этажи дома в поселковый совет или фабричное управление. Однако те комнаты были уж переоборудованы в присутственное место с канцелярскими столами и побеленными стенами. Каждое жилье имеет свою душу, свой дух, который исчезает вместе с прежними обитателями. Потому так быстро обращались в пропахшие керосином хижины-коммуналки бывшие квартиры-дворцы аристократии, буржуазии и купечества. А из всех народных наибольшим классовым сознанием, как известно, обладают вошь да клоп, которые сразу сообразили, куда им из полуподвалов переселяться.

Однако в пятикомнатной квартире Мамонтовых прежний дух был сохранен полностью и обитателями, и обстановкой. Все пять комнат были тесно уставлены мебелью такого вида, которая не то что Ульяну — столичного советского гражданина удивила бы. Ульяна, как и прочие поселковые, привыкла к рундукам, сундукам да ларям, дощатым, крепко сколоченным из сосны и ели, прямым, угловатым. Здесь же мебель словно текла, изгибались не только ножки, но и ручки, и спинки кресел и стульев. И обивка сидений и спинок кожаная, бархатная, шелковая, атласная. Прибито все гвоздиками с блестящими головками, отделано бахромой и тесьмой. Множество резных шкафов и шкафчиков шоколадного цвета, посудные буфеты, и на них изображены разные плоды, цветы, листья, фигурки детей, животных. Уж на что Никита в свободное время искусно резал по дереву и даже над кровлей дома фигурку прибил, да разве сравнить тонкую столярную работу с работой плотника.

Но как же не разбили все это во время революционной бури, как не конфисковали во время классовой борьбы? Заступники нашлись. Сначала из революционной интеллигенции, а потом из совещанства, поскольку красивая мебель отечественного производства для революции безопасна, а для новых любителей роскоши даже полезна. Конечно, много побили, много пропало, и в итоге мебельную фабрику Мамоновых переоборудовали в мочально-рогожную фабрику, но эти пять комнат сохранили как музей, и при музее жил бывший владелец, который ныне работал садовником. В начале двадцатых годов, еще при покойном Федоре Евгеньевиче Мамонтове, был на мочально-рогожной фабрике мебельный цех, снабжал губкомы, райкомы, исполкомы, посылал и в центр. Федор Евгеньевич работал в этом цехе спецом. Однако давно уж и этот цех закрыт, а Федор Евгеньевич давно уж покоится на сельском кладбище села Абрамцева близ подмосковного городка Хотькова, покоится рядом с женой своей, которая, как выразилась Раиса Федоровна, «имела счастье умереть в 1916 году».

— В селе Абрамцеве у нас имение было, — рассказывала Раиса Федоровна, после того как пообедали и сели за полированный столик чай пить с домашним пирогом.

Обед был куриный, пахучий, поскольку Анатолий Федорович садовником при начальстве зарабатывал неплохо и ценился особенно за земляные вазы из цветов, которые он по заказу делал. Даже в область ездил и перед обкомом такую вазу соорудил. Обед был непривычен и вкусен, однако ведь и Ульяна умеет вкусно приготовить, если есть за что. Не курицу, тушенную с вином, но зато пельменей налепит — сами в рот просятся. Пельменей-то налепит, а вот подать их, кроме как в алюминиевых мисках или в глиняных тарелках,

не в чем. Поразил Ульяну и Тоню не так обед, как поразила посуда. Большие тарелки с золотым ободком, с лазурью, с розовыми цветами. Ноготком по краюшку постучишь — они так тихо звенят, так музыкально отзываются. Что еще понравилось Ульяне у Мамонтовых, так это гитара, тоже шоколадного, густого цвета, с краснотой. На гитаре — не то что на балалайке, пальцы с непривычки путаются, но попробовала, наиграла мелодию “У муромской дороги”. А Раиса легко струны перебирала, мягко, полузакрыв глаза, и пела в своем шелковом красном капотике, сидя на шелковом зеленом диванчике, потряхивая длинными, до плеч, распушенными темными волосами. Пела романсы:

Тихо, так тихо
На землю спускаются грезы.
В темную летнюю ночь
Росой наполняются розы.

Попела, помолчала и неожиданно начала рассказывать, как их старшего брата Костю в семнадцатом году убили.

— Мы с Толей тогда еще в гимназии учились, а он студент. Ехали из Петербурга в Москву, домой. Как сейчас помню, ведь столько лет, а помню, стояли в тамбуре и вдруг видим, в тамбуре соседнего вагона по стеклу кровь потоком, будто на стекло ведро крови выплеснули. В соседнем вагоне солдаты ехали пьяные и меж собой драку затеяли. Костя наш был романтик, народолюбец, у него на груди красный бант висел. Да и у меня тоже. Простой народ мы любили, на этом воспитаны были. У нас в Абрамцеве отец организовал учебно-показательную столярную мастерскую. Набирали деревенскую молодежь, были подростки, были и столяры поопытней. Народ талантливый, милый,

славный. Если и выпьет кто, так попляшет, попойет, проспится и опять работать. Работали с любовью. Отец и здесь, когда перед революцией фабрику построил среди местных лесов, собирался кустарно-художественную мастерскую открыть и столярному делу народных умельцев обучать. Земство нас активно поддерживало. Дело шло хорошо. Помню, отец говорил: перед мебельным делом стоит задача создать обстановку русского жилого дома, русской церкви и русской школы. Помимо фабрик, и артели организовать хотел с использованием старой русской резьбы по дереву. Мебель наша призы брала на Нижегородской ярмарке и за границей, в Лейпциге. Вот Костя и решил, что дерущиеся солдаты — это те же столяры, только перепившиеся не в меру и кем-то обманутые, стравленные. Пошел к ним: товарищи, не лейте свою революционную кровь на радость врагам России, — и хотел разнять. А они сразу: наших бьют! — объединились, и на Костю. Опомниться никто не успел, как на куски разорвали и начали эти куски по ходу поезда из вагона выбрасывать. Поезд остановили, но левую Костину руку так и не нашли. Хоронили без левой руки.

Раиса Федоровна вдруг сжалась в комочек в углу дивана, подобрала под себя ноги и заплакала, задрожала, а вслед за ней испуганно заплакала Тоня. Анатолий Федорович сел привычно рядом с сестрой — видно, эти припадки были не впервой — и начал гладить по плечам и голове.

— Перестань, Раиса, что старое вспоминать. Как давно было. Вот ты гостей напугала, девочку...

— Старое, — крикнула Раиса, — а сейчас нас здесь по-старому и ненавидят, точно революция не кончилась! Только что на части не рвут, поскольку это запрещено властью. Мы как будто и не высланы, сами сюда приехали, а уехать отсюда не разрешают, особенно

брату. Сначала отказывали, будто мы родственники белого генерала Мамонтова. Не знаю, может, и родственники — все дворянство меж собой в родстве. Но теперь уж генерала не упоминают, отказывают просто так. У Толи легкие больные, а климат здесь болотистый, сырой. Но народ здесь еще хуже климата. Выдумали, что Толя детей иголочками колет... Ох, ненавижу... Хамы! Волки!

Анатолий Федорович взял сестру за плечи и увел ее в соседнюю комнату. Ульяна уж жалела, что пришла. Ей Тоню успокаивать; да хоть бы кто ее самое успокоил после рассказа Раисы и ее припадка. Ульяна была местная, поселковая и по себе знала, что такое поселковое мнение, которое передается от соседа к соседу, от родителей к детям и в котором жертва может утонуть не хуже, чем в моховом болоте. Но все ж это было привычно, с этим можно было сжиться, если ступать не в глубину, а идти по кромке, как вдоль болота. А в ненависти Раисы было чужое, она слепила, как пришедшая с небес молния, и сжиться с этим было нельзя, обойти невозможно. Попадет — испепелит.

Успокоила Ульяна Тоню и решила: больше сюда ни ногой. Хоть поселковые и темны, и злобны, но в чем-то правы: гусь свинье не товарищ. Так решила, однако решения своего не исполнила. Слишком уж ее после поселкового однообразия, после домашней бедности и тяжелой работы по мытью вагонов привлекли эти, может, как раз всеобщей поселковой нелюбовью сохраненные в первичном своем виде люди, эти тарелки и эта мебель. К тому ж больше подобных разговоров не было. Первый раз прошумело от новизны встречи, от накопившегося с обеих сторон однообразия. Тем более минут через десять после припадка вышла Раиса Федоровна умытая, одетая по-иному, хоть и богато, но как одеваются барышни в советских кон-

торах: юбка, жакет, белая блузка с манжетами. Волосы не распущенные, а собраны, заколоты клубком, губы слегка подкрашены. Красивая, хоть и в летах. Видать, и сама чувствует эту свою красоту — женщина всегда свою красоту чувствует. Рассказала, что главный инженер мочально-рогожной фабрики ее сватал, но она отказала, невзирая на то что мужчина он заметный и на десять лет ее моложе.

— Зачем? За областного начальника или московского тем более, может, и вышла бы ради брата. Однако мы ведь ссыльные. Областной даже и захочет — побойтся. А просто так быть наложницей, терпеть возле себя хамский запах, который никакими дорогими духами не заглушишь, — уж извините. Особенно после моего жениха-поляка. У меня в начале двадцатых была в Москве любовь с одним польским художником. Точнее, дипломатом, но и художником. Другом Анатолия. Прочти, Анатолий, стишок, который ты про Збышека сочинил.

Анатолий Федорович, который более молчал, слушая свою властную, обожаемую сестру, подчинился и прочел:

Он был не в меру польский,
Он был не в меру псих.
Он был Збышек Раздольский,
Моей сестры жених.

— Замечательно, — сказала Раиса Федоровна, — и после всего этого — с хамом? Мы ведь сюда приехали не совсем добровольно. Точнее, бежали в глушь, опасаясь ареста, после того как Збышека выслали в Варшаву... И после всего — поменять Збышека на хама? — снова повторила она. — Вы знаете, какой слух они про меня пустили? Теперь уж забылось, а когда я была помоложе,

то многие из них меня хотели... Тут был начальник поселковой милиции Восрухов... Фамилия замечательная, княжеская. Так этот Восрухов меня изнасиловать хотел... Вызвал как будто для проверки паспорта.

— Оставь, Раиса, — умоляюще сказал Анатолий Федорович, — здесь же девочка.

— Ребенок все равно не понимает, о чем речь... Дай ей конфет... Вон ту коробку. Это московские конфеты фабрики Бабаева, бывшей фабрики Абрикосова. Купцы больше любили от Абрикосова, а аристократия — от Эйнема, ныне фабрика “Красный Октябрь”... Теперь ведь все красное... Зори покрасили, осенний месяц переокрасили... Но чего я все о конфетах? Чтоб подсластить нашу горечь, что ли? Знаете, какие слухи обо мне этот Восрухов пустил? Будто я живу со своим братом не только как сестра, но и как женщина...

— Умоляю тебя, Раиса, — сказал Анатолий Федорович, — не понимаю, отчего ты сегодня так разговорилась при гостях.

— Потому и разговорилась, что при гостях. У нас ведь гостей не бывает.

— Верно, мы уж засиделись, — заторопилась Ульяна, — меньшого из садика время забирать.

Вышла с Тоней и решила: сама сюда больше не пойду и Тоню не пущу. Однако и сама ходила, и Тоню пускала, поскольку более опасных разговоров не было и время проводилось приятно и полезно. Тоня любила книжки с картинками разглядывать, которые ей Анатолий Федорович показывал. И Ульяна этому радовалась: ведь уже большая, через год в школу. А сама Ульяна любила слушать, как Раиса Федоровна поет, поскольку тоже была певунья. Петь, правда, при Раисе Федоровне и Анатолии Федоровиче стеснялась, но слушала пение с удовольствием. Пела Раиса Федоровна всегда с надрывом.

Фридрих Горенштейн

Астры осенние, грусти цветы,
Тихо-задумчивы ваши кусты.
Тихо качаетесь, грустно склоняетесь
Осенью поздней к земле.

Когда Раиса Федоровна так пела, то у Ульяны камене-
ло в груди и было жаль чего-то непонятного, о чем
раньше не думала никогда.

Сад весь осыпался, все отцвело.
Листья опавшие вдаль разнесло,
Лишь одинокие астры осенние
Ждут не дождутся весны...

4

Выпал и растаял первый снег — это значит, зима уже рядом, хоть валенки надевать еще рано и Тоня по-прежнему ходила в подаренных дядей Толей калошах. “Осенний снежок — не лежок. Выпал да тает. От первого снега до санного пути — шесть недель срока”. Когда минули эти шесть недель, когда запуржило, замело в поселке, когда Пижму льдом сковало, совсем уж Ульяна и Тоня привыкли к Мамонтовым и, случилось, даже с меньшим Давидкой приходили, которого Мамонтовы угощали молоком и медом. И, случилось, уж сама Ульяна приходила без детей, поскольку нравилось ей с Анатолием Федоровичем говорить, точнее, слушать его. Говорили о разном, о таком, о котором ранее Ульяна и представления не имела. Но слушала с интересом и удивлялась, как много меж собой связанного в мире, что ни возьми. Растения ли, которыми Анатолий Федорович увлекался, поскольку работал садовником, мебель ли, которая как будто стоит и молчит, — всё тревожит и радует, если взглядеться и вдуматься.

— Меня давно уж волнуют чувства растений, — говорил Анатолий Федорович, — их смерть от холода и жары, их страдания от ранений. Вот бухарник, или

медуница, медовая трава. — И он показал стоящие на застекленной теплой террасе среди прочих цветов маленькие бледно-лиловые колоски. — Они меня узнают, когда я подхожу. Меня они любят, а мою сестру — не очень, потому что она слишком уж грубо ломает их стебельки. Я же стараюсь это делать осторожно и всегда с молитвой прошу прощения. Стебельки мне необходимы для настоя, поскольку это хорошее старое средство при нездоровье легких. У меня легкие давно уж нездоровы, и, может, потому больше иных поэтов я люблю Надсона. Я понимаю, Александр Сергеевич Пушкин лучше, а люблю все равно Семена Яковлевича Надсона. Сейчас он забыт, а в наше время его все мое чахоточное поколение любило. Как он о себе писал: “Болезнь груди да пламень личного желания”...

И Анатолий Федорович осторожно прикоснулся к руке Ульяны своими холодными пальцами. Прикосновение больных пальцев было неприятно, но Ульяна вытерпела, чтоб не обидеть этого милого человека. Они сидели в странном кресле, двойном, спиной друг к другу. Слышно было, как в соседней комнате Раиса Федоровна брэнчала на гитаре и тихо пела:

Целый день спят ночные цветы.
Но лишь солнце за рошу зайдет...

— Это кресло так и было обозначено в рекламе: “Для более укромного и тайного поцелуя”, — сказал Анатолий Федорович. Он блеснул глазами и улыбнулся таинственно. Пенсне по-чеховски висело у него на ухе, на шелковом черном шнурке. — “Я тебе ничего не скажу...” — игриво пропел Анатолий Федорович, повторяя куплет, который из соседней комнаты пела его сестра. — “Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть...” Теперь Надсон забыт, а во времена моей

юности он был любимцем. Он искал успокоения от надвигающихся потрясений на лоне чистого счастья, в мире грез, в мире чистой красоты... “У меня не песни, а намеки” — очень образно сказано... Он сейчас забыт, а тогда его любил Чехов, Бунин считал его своим учителем... Знаете, человек, прежде чем сделать решительный выбор, желает не только мыслью, но и сердцем осознать предстоящий ему путь... Вам скучно меня слушать, Ульяна Григорьевна?

— Нет, очень, очень интересно... Я и не думала, что возможно так говорить... Но только извините, кресло слишком неудобное... Отчего это спиной надо сидеть один к другому?

— Для большей интимности, — тихо сказал Анатолий Федорович. — Впрочем, если вам неудобно, мы можем пересесть в то кресло, тоже сдвоенное, но друг против друга. Оно в рекламе называлось “Для чинной беседы и покойного обмена рассудительными разговорами”.

— Давайте пересядем, — сказала Ульяна, чувствуя беспокойство от прикосновения к ее спине худых лопаток Анатолия Федоровича, — то кресло удобней.

— “Не говорите мне, он умер, он живет, — продекларировал Анатолий Федорович Надсона, когда они пересели, — пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает, пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть лира сломана, аккорд еще рыдает”. — Он снова блеснул глазами, потом надел пенсне и тихо пропел вслед за сестрой:

И в больную усталую грудь
Веет влагой ночной, я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу...

Приехали мы сюда давно, а вот впервые я так с местным человеком говорю... Помню, поселок был ма-

ленький и улица называлась Брусничная. Потом, к десятилетию Октября, ее в Красных Зорь переименовали... Сколько лет прошло, а вражда вокруг меня и сестры так и осталась. Поэтому я вам благодарен, Ульяна Григорьевна. И Тоне... Хорошая у вас дочка, берегите ее. Она должна учиться.

— Отчего ж меня благодарить, — сказала Ульяна, — это я вас благодарить должна. Но мне пора, Тоня одна дома управляется.

— Погодите, — умоляюще сказал Анатолий Федорович, — я вам собирался нечто сказать, но вот запятовал.

— В следующий раз вспомните.

— Нет, Ульяна Григорьевна, в следующий раз я, может, и не решусь... Скажите, Ульяна Григорьевна, — он опять снял пенсне и посмотрел ей в лицо, близоруко щуря голубые, влажные глаза, — Ульяна Григорьевна... Отчего... нас ненавидят?

Чувствовалось, что он спросил вовсе не то, что хотел, и в последнее мгновение вопрос свой подменил. Ульяна знала, какой это вопрос, она слышала его уже произнесенным: согласитесь ли вы выйти за меня? “Конечно, нет, потому что я люблю Менделя”. Но, по счастью, Анатолий Федорович не спросил и она не ответила; по счастью, он вопрос о любви подменил вопросом о ненависти.

— Сестра моя — человек с большими нервами, но ведь она права. Выросли новые поколения, а ненависть к нам осталась прежняя. Отчего так?

— Оттого, Анатолий Федорович, что они Надсона не читали.

— Но ведь и вы Надсона не читали?

— Я живу одна, а они живут все скопом. Они и меня не шибко любят за то, что я не живу вместе с ними скопом.

Пришла Ульяна после этого разговора домой, покормила детей, управилась по прочим бытовым нуждам, а когда дети заснули, окончательно решила: больше к Мамонтовым не пойду. Тоня пусть ходит, а я не пойду. Анатолий Федорович умный, душевный человек, он поймет отчего и не обидится. Жаль, конечно, да что поделаешь.

И действительно, больше не ходила. Тоню посылала, а сама не ходила. Раз увидела на улице Красных Зорь Анатолия Федоровича со спины, так в тупичок торопливо свернула, переждала.

— Раиса Федоровна про тебя спрашивала, — говорит как-то Тоня, — отчего ты не приходишь?

— Скажи — захворала, — отвечает Ульяна. — Я туда, дочка, больше не пойду, а отчего, тебе еще не понять, поскольку мала слишком. Ты же ходи, люди они хорошие и хорошему тебя научат. А я папу нашего, Менделя, ждать буду, тем более до весны уже недалеко.

Такой срок сама себе внушила и в него поверила. Однако гораздо ранее весны, под новый, пятьдесят третий год, прибывает поздравительная открытка. Глянула Ульяна и затряслась: от Менделя. Что написано, прочесть из-за слез не может, да и буквы от волнения не складываются, а просто прижимает открытку то к губам, то к сердцу и целует. Как взяла открытку у почтальона, села с ней на лавку, так и не поднялась, пока Тоня с прогулки не пришла.

— Случилось что? — спрашивает Тоня, глянув на мать.

— Папа приезжает, папа Мендель приезжает! — как закричит Ульяна.

А ведь открытку-то так и не прочла. Начали они с Тоней открытку разглядывать. С одной стороны — елка в золоте и серебре и Дед Мороз с подарками среди зайцев. А с другой стороны корявым почерком

Менделя написано поздравление жене и детям, а про то, что придет, — ни слова. Однако Ульяна не унывает: раз вспомнил, написал, значит, придет. Ульяна ответить не могла, поскольку обратный адрес указан не был, однако ждала, и действительно, в феврале — новая открытка: крейсер “Аврора”, по углам — красные знамена, а с обратной стороны корявым почерком Менделя: “еду” и прочее, разное — “люблю”, “соскучился”. Но главное — “еду”, а то, что “люблю, соскучился”, и без того понятно.

В начале февраля прибыла открытка с крейсером “Аврора”, а двадцать шестого февраля, в метельный, морозный день приехал Мендель.

Встречать на станцию на санях поехали Ульяна и Тоня; меньшого Давидку дома закрыли. Сани с лошадью выделил профком мочально-рогожной фабрики, поскольку Ульяна известила о приезде мужа и фабричные тоже были рады: хороший шофер и первоклассный слесарь возвращается, а людей не хватает. Увидели Ульяна и Тоня Менделя, повисли на нем. Он еще с вагонных ступенек на снег не спустился, а они уже повисли, другим пассажирам мешают выходить.

— Подождите, — смеется Мендель, — давайте дома доцелуемся, а то на морозе друг к другу примерзнем. — Потом вдохнул воздух. — Ах, — говорит, — ну и вкусный же здесь воздух, как брусника промороженная, со снежком.

Дорога от станции и улица Красных Зорь были в сугробах, лошадь вязла, сани боком шли, и Мендель выскакивал из саней, вместе с возницей лошади помогал. Пуржит, ветер в лицо снегом хлещет, но весело, радостно, и, что б Мендель ни сказал, Ульяна и Тоня хохочут. Мендель, кстати, себя шутником считал. Был он мужчина сильный, с большими руками, упитанным квадратным лицом, нос имел широкий и курносый,

уши оттопыренные, и если взглядеться, то чем-то Луку Лукича напоминал. Был тяжелодум и каждое слово произносил значительно, так что брат его, Ося, даже дал ему кличку Философ. Однако, в отличие от Луки Лукича, был Мендель добрый и обаятельный, а в сочетании с некоторой туповатостью это создавало характер спокойный, веселый, ласковый. Недаром Ульяна так по мужу тосковала. И Мендель соскучился по жене и детям.

— Как Давидка, — спрашивает, когда к дому подъезжали, — узнает ли меня, признает ли?

— Признает, — отвечает Ульяна, — он тебя тоже ждет не дождется. Ему уже четыре года, все понимает.

Когда Мендель вошел в дом, Давидка стоял у окна.

— Давидка, — сказал Мендель и протянул к нему руки. Давидка повернулся лицом к окну, спиной к отцу. Глаза мальчика наполнились слезами.

— Давидка, — снова, уже с некоторой тревогой, позвал Мендель.

Давидка по-прежнему стоял отвернувшись и молчал. Мендель сам подбежал, схватил сына на руки, поцеловал, и тогда лишь Давидка заплакал громко и сказал:

— Папа, чего ж ты так долго не ехал?

Однако и Давидка вскоре уж смеялся, веселился и вместе с Тоней помогал матери мыть отца. Ульяна крепко натопила печь, постелила у печи солому, поставила на солому деревянную, склепанную обручами бадью, наполнила бадью горячей мыльной водой и поливала сидящего в бадье Менделя из деревянной шайки. Мендель был человек рыжий, и белое тело его все покрывали веснушки.

Так вернулся Мендель к своей жене и детям, и поселок, как бы ни злословил ранее в его адрес, как бы ранее ни обзывал, но возвращение встретил одобрительно.

— Какой ни есть, а муж законный.

Может, из двух зол выбирали меньшее. Слишком уж разозлила и напугала поселок связь Ульяны с Мамонтовыми. Об этой связи быстро Менделю донесли, и он решительно стал на сторону поселка против Мамонтовых. Наверно, и ревность свою роль сыграла, потому что уж наговорили с полный короб. Пошел Мендель в фабком, на работу устраиваться, идет по улице Красных Зорь, ему с разных сторон:

— Здравствуй, Миша.

— С приездом, Мендель Моисеевич.

Бабушка Саввишна Котова встретила.

— Ты, Миша, то... это... Ты молоду жену более без присмотра не оставляй. Тут кобельков хватает... то... это... В черничник не зайдешь, старух лапают, а уж молоду и подавно... то... это... — И рассказала, как Ульяна к Мамонтовым ходила.

— Как, Уля, такое понимать? — спрашивает Мендель.

— Понимай, Миша, как понимается.

— А понимается так, что напрасно я приехал. Прав был мой старший брат Ося, недаром он доцент-историк. Прав был мой брат Ося, который сказал мне: Мендель, ты делаешь роковую ошибку. Права была моя мама, которая сказала мне: на мои похороны не приезжай и за моим гробом не иди, потому что буду проклинать из гроба.

— Ты, Миша, хотя бы при детях такие слова не говори, — отвечает Ульяна. — Ты поселковых не слушай, они и на тебя знаешь, что плели? Мамонтовы — люди хорошие, деликатные, ученые, они многому научить могут.

— И чему ж тебя это Мамонтов учил? Приставал к тебе?

— Это здесь, в поселке, да в черничнике пристают, и, может, там, на родине твоей, такие же уличные

пристают. Анатолий Федорович имел серьезные намерения насчет меня. Но я ж тебя люблю, Менделечек мой. Я туда давно уж ходить перестала.

И обняла Менделя, размякла, и размяк Мендель. Однако против Мамонтовых не остыл.

— Пусть Тоня тоже туда не ходит. В поселке говорят, они детям вред могут причинить. Уколы какие-то детям делают.

— Какие еще уколы? Лают это поселковые, а ветер носит. Он Тоне книжки давал с картинками. Ей же скоро в школу.

— Пусть книжки в библиотеке берет. У нас на мочально-рогожной фабрике в клубе библиотека большая. Не ходи туда больше, Тоня.

— Не пойдет она, — соглашается Ульяна, — раз отец запрещает — не пойдет.

Уж очень ей хотелось с мужем поладить. Соскучилась по нему и все не могла привыкнуть, что муж у нее, как и у всех, и ничего в том особенного нет: живет в доме, ест да пьет, ходит на работу, когда дети заснут, то побалуует с полчаса — и спать до утра. Все ей чего-то особенное в муже своем виделось. А раз виделось, значит, и было это особенное. И жить хотелось по-особенному, тем более деньги в доме завелись, как Мендель на мочально-рогожную фабрику вернулся. За время отсутствия Менделя дом пообносился, пообнищал, надо было сызнава достаток добывать. Мендель работал смену шофером и еще полсмены слесарем. Однако Ульяне велел со своей работы уволиться и более вагоны не мыть.

— Хватит тебе надрыватьсья. Ты лучше дома по хозяйству хлопочи и за ребятами следи.

Трех-четырёх месяцев не минуло — окреп дом, приоделся, отъелся. Ульяна была хозяйка хорошая, стряпуха неплохая. И времена чуть лучше стали, кое-что

в продуктовом появилось, кое-что в промтоварном. Хлеб всегда уж купить можно было, колбасу чайную, с яичками куриными стало полегче и даже с маслом сливочным.

— Давай, — говорит Ульяна Менделю, — вторую свадьбу устроим, поскольку у нас с тобой вторая жизнь началась, и должна она быть лучше первой. Тем более общий достаток увеличился и народ повеселел.

А это были первые месяцы после смерти Сталина, и кое-что еще к лучшему менялось. Дедушка Козлов, к примеру, на Маленкова сильно надеялся, который “в Бога верует православного и для народа православного истинно коммунистическую жизнь собирается устроить”.

— Попляшем, — говорит Ульяна, — да и попоем, раз такое дело. И выпить можно по такому случаю.

— Согласен, — отвечает Мендель.

И сыграли Ульяна с Менделем вторую свадьбу, собрался народ поселковый, все разодетые, все веселые да певучие. И тетя Вера с дядей Никитой на свадьбу приехали. Ульяна напекла, наварила, насолила, выпивки накупила. Лица у всех красные, как праздничные флаги. Все веселы, один лишь дедушка Козлов от выпивки помрачнел и громко начал какую-то историю рассказывать.

— Он мне кричит: разойдись отсюда! Я ему: ах ты, смердячий рот! За такие вещи, говорю, не в морду бьют, а в висок.

— Ладно тебе, дед, — говорит дядя Никита, — ладно настроение портить... Жизнь пошла веселая. — И запел: — Я другой такой страны не знаю, где так долго дышит человек...

Дядя Никита если запоет, то обязательно хоть слово, да вставит не то. В спортивном марше пел не “закаляйся, как сталь”, а “напрягайся, как сталь”. Мен-

дель же умышленно слова коверкал, шутки ради: “Две гитары за стеной жалобно заныли, кто-то свистнул патефон, милый мой, не ты ли?..”

Тут тетя Вера, в свою очередь тоже выпившая, заявляет:

— Подсладить бы...

И сразу несколько догадливых голосов с разных сторон:

— Горько!

Припала Ульяна губами к губам Менделя — не оторвешь.

— Будя, — кричат, — задавишь!

А дедушка Козлов ладони у рта сложил лодочкой.

— Брысь! — кричит.

Отпустила Ульяна Менделя, сняла с гвоздика отцовскую балалаечку, и начался общий свадебный перепляс с припевками. Уж кто как мог, так и плясал, а уж пел — кто в каком голосе. Даже бабушка Саввишна Котова запела, а дедушка Козлов говорит:

— Голосина как волосина. Так тонка.

Жердочка еловая, досточка сосновая.

По той жердочке никто не хаживал.

Перешел наш Мендель-свет.

Перевел Ульянушку...

Напоминаем, в народных песнях переход по жердочке-досточке через реку всегда означал любовь. Хоть и без песни всем было понятно, что Ульяна да Мендель — это любовь. Поздней ночью, когда уж всё утомилось, все разошлись и легли Ульяна с Менделем в лунном полусвете, спросила Ульяна:

— Менделечек, не боязно тебе, что у меня родинка слева?

— Что ж мне боязно должно быть?

— Старые люди говорят, родинка слева у женщины приносит несчастье мужчине.

— Бабские сказки, — говорит Мендель и целует родинку у левого плеча Ульяны.

Тогда припала Ульяна к Менделю и забылась на долго. Очнулась от детского плача. Давидка плакал — видно, приснилось ему что-то. Плакал уж несколько минут, да Ульяна не слыхала. Вот как любила мужа, даже о детях забывала, точно, кроме ее и Менделя, на свете пустота.

Однако люби не люби, а каждый день жить надо. Пошли дни один за другим. На Пижме лед раньше времени сломало — значит, лето будет теплее обычного. И действительно, расцвело раньше. Брусничные кусты вечно зеленые, как хвойные деревья, а черничные меняют листву. Но и они к концу мая зеленью покрылись, и уж ягоды начали наливаться. В июле можно было чернику потреблять.

Как-то утром собралась Ульяна печь черничный пирог. Растопила печь, замесила тесто, помяла чернику, когда вдруг в дверь стучат. Мендель был на работе, Давидка — в детском садике, Тоня к соседским детям пошла, кто б это? Отпирает дверь — Раиса Федоровна. Сразу в глаза бросилось: на улице жарко, а она вся в черном — туфли черные, платье черное, длинное, шляпка черная. Поздоровалась.

— Извините, — говорит, — я попрощаться пришла и кое-что передать. Меня Анатолий Федорович просил. Вот вазочку Тоне завещал и вот записку написал. Больше ничего не осталось, всю мебель в область забрали. Говорят, в музей.

— А что с Анатолием Федоровичем? — спрашивает Ульяна.

— Умер.

— Умер? — Ульяна от неожиданности и печали рот ладонью прикрыла, помолчала. — Когда умер? Я и не слыхала.

— Неудивительно. Вы ведь счастливая, а счастливые часов не наблюдают, газет не читают, ничего вокруг не видят. Я знаю, к вам муж вернулся.

— Да, вернулся, — растерянно говорит Ульяна, точно она виновата в своем счастье перед этой женщиной. — Вы проходите... Извините, у меня руки в тесте, пирог черничный печь собралась.

Села Раиса Федоровна у стола, вынула из темной сумочки вазочку фарфоровую и на стол поставила, а рядом записку положила.

— Это Тоне, — говорит.

В записке были две строчки нетвердым почерком: “Я тебя люблю. Ты должна учиться”.

— Когда это случилось?

— Неделю назад.

— Я и про похороны не слыхала.

— Хоронить буду в Абрамцеве, там, где мама, и папа, и Костя похоронены. Добилась. Мертвому выезд разрешили. Так что Анатолий Федорович теперь в дороге на родину. И я уезжаю. Слава богу, никогда больше не увижу эти места, этих людей.

— А вот Мендель мой соскучился по этим местам, — сказала Ульяна, — я ему предлагала: если хочешь, продадим дом, поедem жить к тебе на Украину. Нет, говорит, мне здесь больше нравится.

Раиса Федоровна сидела у стола сгорбившись, подперев голову тонкими своими, аристократически пальцами.

— В Абрамцеве я жить не собираюсь, — сказала она после паузы, — что мне там делать? Старого народа давно уж нет, отцовских столяров. Всюду одна и та же рвань, а руководят разжиревшие комбедовцы. Всюду

светят красные зори, всюду красная астрология, от которой зависят наши судьбы.

— Где ж вы жить будете? — спросила Ульяна.

— Поеду в Литву, все-таки ближе к Польше, к Европе. Может быть, приму католичество. Мой брат был православный, верил в русского Бога, а мне это азиатское христианство не по душе... У вас муж еврей, я вам завидую. Я б и сама вышла замуж за еврея, за поляка, за литовца, только не за русского. Не люблю русских, ненавижу русских. Народ грубый, злой, а если доброта, то юродивая. — Она вдруг закашлялась, может быть, от подступившего к горлу кома ненависти, и кашляла долго, все не могла остановиться. Ульяна налила ей в стакан брусничной настойки. Раиса Федоровна сделала несколько глотков, вытерла губы кружевным платочком. — Я, конечно, на личное счастье больше не надеюсь. Как поется: только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою вьется нить...

Глаза ее были измучены злобой и страданием, а губы дергались, извивались, точно жестокая насмешка и горький плач боролись меж собой и каждый пытался вылепить из этих дрожащих губ свое, но ни того, ни другого не получалось.

Когда Раиса Федоровна ушла, Ульяна долго не могла успокоиться. От этого беспокойства пирог с черникой не получился, подгорел, лопнул, черника вытекла, что еще более Ульяну расстроило. Пришел Мендель с работы — сразу увидал: жена не в духе.

— Что с тобой? — спрашивает.

— Пирог подгорел, — отвечает.

— Не беда, новый спечешь.

Сходила Ульяна за Давидкой в садик, кликнула Тоню; сели обедать. Поели щей, Тоня спрашивает:

— Где же пирог?

— Пирог сгорел, — говорит Мендель, — но ты не расстраивайся, Тоня, я вам с Давидкой в поселковом магазине конфет-тянучек купил. — И дал тянучек.

Дети успокоились, а Ульяна все не может.

— Тебе тоже тянучек дать? — шутит Мендель.

— Возьми, Тоня, Давидку, — говорит Ульяна, — и пройдишь после обеда. Погода, гляди, хорошая.

Ушли дети, и говорит Ульяна:

— Пирог жалко, но не в пироге дело. Тут Раиса Федоровна приходила, сестра Анатолия Федоровича.

Потемнел сразу лицом Мендель.

— Ей что надо здесь?

— Пришла проститься, она уезжает, Анатолий Федорович ведь умер.

— Ну и что, — говорит Мендель, — знаю я, что умер. В поселке слышал.

— Знал и мне не сказал, — говорит Ульяна.

— А что в этом интересного? В поселке говорят: скатертью дорога. Воздух станет чище.

— Нельзя так, Миша, против мертвого. Это был добрый человек. Он вот Тоне вазочку передал и записку.

— Какую еще вазочку и записку? — совсем обозлился Мендель, взял у Ульяны записку и прочел вслух: — “Я тебя люблю. Ты должна учиться”. Чего это он чужих детей любит и им советы дает? Своих надо было завести, контрик недорезанный. Эту вазочку вместе с запиской я в Пижму выброшу. Незачем Тоню расстраивать.

— А греха не боишься, Миша? Все-таки воля покойного.

— Ты, я вижу, у меня верующая. Это он тебя религии обучил, бабским сказкам. Ты, я знаю, к нему бежала. — И выразился грязно.

Может, впервые за их жизнь так выразился, и впервые в их жизни был день несчастливый. Даже

когда Мендель оставил ее, Ульяна его продолжала любить, а в этот день любить перестала и не любила его до следующего утра. Спать легла отдельно на лавку и всю ночь проворочалась. Понимала, что ревнует, понимала, что насплетничал поселок, понимала, что расстроен письмом от матери, прибывшим накануне, а все не могла простить.

“Мендель, — писала мать, — что ты наделал, куда ты уехал, с кем ты живешь? Ты укорачиваешь мне жизнь, я не сплю ночами, и, если б собака сейчас лизнула мое сердце, она бы сдохла”.

Первую половину ночи Ульяна злилась на Менделя, а когда начало рассветать, подумала, как бы хорошо поехать на родину к Менделю, познакомиться с матерью Менделя и братом Менделя, Иосифом. Да так удачно съездить, чтоб им понравиться.

Мендель тоже всю ночь ворочался, лежа один в постели, соскучился по Ульяне, еле дождался рассвета, пришел к ней босой, стал на колени и попросил прощения. Ульяна тут же его простила, и опять зажило хорошо. А вазочку с вложенной в нее запиской покойника Мендель все-таки в Пижму выбросил. Так никогда Тоня и не узнала про то, что ей Анатолий Федорович завещал. Зато вместо сгоревшего черничного пирога решила Ульяна настряпать пельменей с мясом и луком. Мясо в совхозном поселке раздобыла у знакомого Вере мясника. Специально в совхоз за мясом ездила.

— Можно, конечно, и пельменей с редькой налепить, — говорит Ульяна Вере, — я, случается, и с редькой делаю. Натру редьку, с маслом смешаю и леплю. Но мои более с мясом любят. Еще бы сметанки достать.

— Балуешь ты своего, — говорит Вера, — смотри, мужчин баловать нельзя.

— Мой Мендель — мужчина особенный. А покушать кто не любит? Помнишь, как семечки вместо хлеба грызли? Теперь, слава богу, не то, Мендель у матери жил, хорошо питался, и я его питать не хуже буду. За чем же мне уступать?

Так побывала у сестры, поговорила, мяса достала — и назад. По дороге на станцию Лука Лукич встретился.

— Доброго здоровья, — говорит, словно ничего не случилось, словно не рванула она его за бороду, когда он этой бородой ей в лицо полез целоваться.

— Здравствуйте, Лука Лукич, — отвечает, а потом, дорогой, как вспомнит, так смеяться начинает. Однако одновременно думает: о Луке Лукиче надо б Веру предупредить, пусть при Менделе его не упоминает. Мало ли что Мендель себе в голову возьмет.

На следующий день, прямо с утра, взялась за пельмени, поскольку работа эта серьезная, если ее с толком делать. Мясо от сухожилий и пленок очистить, фарш приготовить, не пересолить, лук измельчить, потом тесто приготовить на яйцах, раскатать и прочее. Полдня провозилась, спины не разгибая. Вдруг вспомнила: надо бы к Козловым за посудой сходить. В кастрюле варить долго, и слипнуться могут, а у Козловых специальная низкая широкая посуда для пельменей имелась. Глянула в окно — льет не переставая. Хорошо, хоть Тоня калоши надела. И тут же подумалось: как бы Мендель не узнал, кто Тоне калоши подарил. Может, предупредить Козловых, чтоб не говорили, а может, не надо — зачем напоминать, авось забудется. Так в мыслях и заботах накинула Ульяна плащ и, скользя по грязи, побежала в тупичок к Козловым.

— Пельмешки задумала? — говорит дедушка Козлов.

— Задумала, — отвечает Ульяна, — у меня недавно черничный пирог сгорел, не угодела, жалко. Дай, думаю, взамен пельмешек налеплю.

— Черничный пирог — это жалко, — говорит бабушка Козлов, — вкусна черница... Вкусна, да дорога. Слышала, в черничнике скелет обнаружили.

— Какой еще скелет? — испугалась Ульяна.

— Человеческий.

— Все б тебе, старому, пугать, — ворчит бабушка Козлова, — может, этот скелет еще с царя Гороха лежит...

— Может, с Гороха и лежит, — говорит бабушка Козлов, — да череп проломлен и истлевшая одежда рядом. Обувь валяется.

Ульяна уж и не рада, что за посудинкой пришла. Взяла да быстро домой. А там Мендель дожидается с детьми. Он с работы зашел в детский сад и Давидку взял. Тоня у соседских ребят была, увидала в окно — отец с Давидкой возвращается, — выбежала.

— Хорошо, что вся семья в сборе, — говорит Ульяна, — сейчас пельмени будут готовы.

Но начала лепить — и видит, уж не к обеду поспевает, а к ужину.

— Давайте, — говорит, — я к обеду картошки сварю со шкварками, а пельмени — к ужину. Я их налеплю, они постоят, соку наберутся, еще вкуснее будут.

И действительно, удались пельмени. Съел Мендель алюминиевую миску — еще просит. Съел Давидка блюдце — еще просит.

— Сейчас, мои милые Пейсехманы, — говорит Ульяна, довольная, что пельмени удались, — сейчас вон папе еще полмиски наложу, поскольку он по делу торопится, а потом и вам, как сварятся.

Мендель действительно куда-то после ужина собрался и Ульяну попросил калитку не запирать, поскольку он ненадолго. Поел Мендель добавку, полмиски, губы от сметаны отер салфеткой, рыгнул культурно, прикрыв рот ладонью, встал, кепку надев.

— Плащ надень, — кричит вслед Ульяна, — моросит ведь.

Хлестать к тому времени дождь перестал, но моросило.

— Я мигом, — говорит Мендель, — скоро вернусь и еще пельменей поем, если останутся. Вкусны пельмени. — И вышел.

Ульяна отварила пельменей для детей. Те поели. Дала им на сладкое по конфете, а сама принялась варить новые пельмени для Менделя. Пельмени варятся быстро — семь минут, и всплывают в подсоленном кипятке, но ведь и Мендель обещал быстро вернуться. Пельмени всплыли — Мендель не вернулся. Ульяна выловила пельмени и сложила их в миску, а чтоб не остыли, накрыла другой миской. Поставила чайник, чтоб чайку попить. Чайник вскипел — Мендель не вернулся.

Уже потемнело, точнее, более тускло стало, поскольку на Севере летние вечера светлые. Далеко на станции прогудел паровоз — пришел вечерний поезд из совхозного поселка. Дождь стал опять хлестать, но уж с ветром. От ветра сильно хлопнула форточка, и Давидка испугался, заплакал. Ульяна успокоила Давидку, дала ему еще конфету и, чтоб не сидеть без дела, начала мыть посуду, все поглядывая в тусклое окно, но уже с беспокойством. Надо бы детей уложить спать, однако хотелось дождаться Менделя, чтоб уложить их со спокойной душой.

— Что-то мне кажется, папы нашего долго нет, — сказала Ульяна.

— Он, может, опять уехал от нас? — спросила Тоня.

— Ты пустое не говори... Куда уехал? Встретил, наверно, кого. Я пойду посмотрю и плащ ему захвачу. Ты, Тоня, гляди, чтоб Давидка чего не натворил. К печи пусть не подходит, и чайник вон горячий. Лучше у стола посидите, пока я с папой не вернусь. И не отпирай

никому, пока не спросишь, кто и зачем. — Сказав так, надела Ульяна плащ, взяла в руки плащ Менделя и ушла.

Сколько просидели дети — не знают. Чайник остыл, пельмени остыли, печь уж холодная, а за окном темнота сгустилась. Начал Давидка на стуле ерзать.

— Ты чего? — сердито говорит Тоня. — Не балуй, сиди тихо, пока мама с папой не вернутся.

— Я пипи хочу, — говорит Давидка.

Повела Тоня брата в угол, где горшок стоял, пописал Давидка, и обратно его к столу привела, как мать наказывала. Давидка уж спит на ходу. Сел на стул, ноги поджал, голову свесил и посапывает. Тоня крепилась, крепилась — зажмурится и уплывает. Поплывает так в темноте, в покое, глаза откроет и опять возвращается к столу, за которым они с Давидкой сидят. Последний раз открыла — рассвет уже, солнце за окном, а мамы и папы нет. Давидка на стуле спит калачиком, на столе — те же остывшие пельмени да остывший чайник. Только разволновалась от этого Тоня, загрузила, как в дверь стучат.

“Вернулись”, — обрадовалась, но спрашивает, как мать наказывала: кто это и зачем?

— Тетя Вера, — отвечают.

Отперла Тоня дверь тете Вере и говорит:

— наших папы и мамы нет дома. Они еще с вечера ушли, и мы с Давидкой одни.

— Знаю, — отвечает тетя Вера, — бери Давидку, веди его в детский садик и сама там оставайся, так как ваших отца и мать убили.

Тут только заметила Тоня, что лицо у тети Веры красное, распухшее и мокрое. Напугалась Тоня таких слов тети Веры и такого ее лица, под кровать полезла, и Давидка вслед за сестрой туда же. Тогда тетя Вера села к столу и стала с громким плачем жадно холодные

пельмени есть прямо руками. Съела тетя Вера пельмени, холодным чаем запила, выгатила детей из-под кровати и повела их в детский сад. А по поселку, по улице Красных Зорь, по тупичкам уже несло страшное слово: амнистия. И в разных направлениях, до Свердловска ли, до Муромы ли, по поездкам, по станциям, по городам и поселкам: амнистия, амнистия. Это была ворошиловская амнистия, выпустившая на свободу тысячи матерых “ворошиловских стрелков”, действующих, впрочем, в основном холодным оружием.

Горе маленького ребенка или животного не сердечно, не душевно, как у взрослого, — оно в глазах. Заплачет, заскулит по мертвому, как по отнятому лакомому кусочку или разбитой игрушке, однако глаза живут самостоятельно, и они непередаваемы и непереносимы.

Пока шла Тоня по поселку и вела за руку Давидку, то более ныла, чем плакала, но когда пришли в детский садик, посадили Тоню на стул и подошел к ней седой дядя в очках с иголкой, то Тоня закричала со всем громко.

— Дурочка, — сказал очкастый, — тебе прививку сделать надобно, поскольку ты теперь будешь жить не в семье, а в коллективе.

Он велел воспитательнице крепко держать Тоню и больно уколол Тонину руку. Впервые в жизни осталась Тоня одна в чужом месте и среди чужих людей. Хорошо хоть Давидка с ней был и спали они вместе на одной койке, обнявшись. Давидке Тоня сначала говорила, что мама уехала вслед за папой, чтоб его вернуть. Но когда через два дня пришли тетя Вера с дядей Никитой и взяли их на похороны, то уж вынуждена была сказать правду. Да и что говорить, даже четырехлетнему ребенку все стало ясно, когда вынесли из их дома, где теперь хозяйничала тетя Вера, два гроба, один по-

больше — Менделя, второй поменьше — Ульяны. Вынесли и понесли их рядом. Впереди шел и играл оркестр мочально-рогожной фабрики, а позади за гробом среди родственников семилетняя Тоня вела за руку четырехлетнего Давидку.

Два момента наиболее страшны в похоронах: когда выносят гроб из дома и когда опускают гроб в могилу. Пока же несут гроб, пока он в пути, то есть в этом какое-то последнее праздничное торжество. Похоронная процессия растянулась далеко по улице Красных Зорь, передние уж были на кладбище, а задние все шли. Почти весь поселок провожал Ульяну с Менделем, поскольку давно уж не было такого зверского убийства, чтоб сразу отца и мать. Весь поселок провожал, но Менделя родных не было, поскольку не знали их адрес и нельзя было известить. В кармане Менделя, правда, обнаружили неотправленное письмо, но оно было так сильно запачкано кровью, что могли разобрать только отдельные фразы и слова, которые, как всякая предсмертная речь, звучали страшно, особенно повторенное три раза: “Чтоб я так жил”. Видно, кому-то в чем-то клялся Мендель, а кому клялся и в чем клялся — не разобрали. Ясно было только, что клятву эту Мендель нарушил, не выполнил, выскочив из дома на минутку в тот дождливый вечер. Может, Мендель как раз и выскочил опустить в почтовый ящик это письмо, которое забыл отправить днем. Точно напомнил кто-то: письмо матери забыл отправить. Кто в таких случаях напоминает, тоже ясно: костлявая. Напоминает и дорогу указывает.

В поселке было три почтовых ящика. Один — у почты, возле мочально-рогожной фабрики, второй — с противоположного конца улицы Красных Зорь, там, где она уже переходит в грунтовку, и третий — посредине, у пятого тупичка, по которому, если пойти, вый-

Улица Красных Зорь

дешь к подвесному мосту через Пижму и далее по этому мосту прямо в черничник. Недалеко от этого среднего почтового ящика Менделя и нашли. Кололи Менделя либо неумело, либо со слишком большим остервенением, в два, а то и в три саксона, три мессера, одежда его была залита кровью, и потому ее не взяли. Забрали кепку, забрали ботинки, забрали швейцарские ручные часы, подаренные братом Осей. Забрали и новый Менделя плащ, который несла ему Ульяна. Ульяна лежала тут же в кустарнике, изнасилованная и убитая. С нее тоже сняли плащ, забрали туфли и шерстяную кофту.

5

Круглосуточная группа в поселковом детсади́ке была дошкольной, потому Давидку оставили, а Тоню отправили в область. Перед отъездом пришли с ней проститься дядя Никита и тетя Вера, обнимали, обещали навещать Давидку и писать Тоне письма. Тетя Вера сильно плакала, но, когда вышли после прощания и муж ее, Никита, начал в который раз говорить “Надо бы детей к нам взять, родные ведь”, Вера покраснела, нос ее заострился и глаза сами по себе высохли.

— Куда взять? Ты мне пятерых смастерил и Менделя еще двух на меня повесить хочешь. А жить как?

— Ведь дом Ульяны нам достался, продадим.

— Не дом, а полдома. Полдома и так мне принадлежит по праву наследства.

Уже после отъезда Тони в поселке появился Иосиф, брат Менделя, лысый, с толстым, как у Менделя, носом, но с совершенно иным лицом. У Менделя лицо было глуповатое и доброе, а у Иосифа — задумчивое и хитрое. Иосиф привез подарки: Давидке — барабан, Тоне — куклу в розовом платье, которая закрывала глаза и говорила “мама”. Но поскольку Тони не было, куклу Иосиф подарил Зине, дочери Веры. Иосиф приехал, чтоб забрать Менделя и перевезти его в родной город,

на Украину, на еврейское кладбище. Он обратился в поселковый совет, и там ему объяснили: требуется согласие ближайших родственников, родной сестры жены. Сначала Вера согласия не давала, а потом дала. В поселке говорили: Иосиф ей хорошо заплатил.

Так после смерти разлучили все-таки Менделя с Ульяной, и осталась Ульяна лежать одна на поселковом кладбище. Тоня, как и отец ее Мендель, тоже из этих мест уехала далеко, и тоже не по своей воле. В области пробыла недолго, и вместе с ребятами-сиротами из других районов отправили ее в город Владивосток поездом, а из Владивостока автобусом – в детский дом села Барабаш Приморского края. Прошла Тоня дезинфекцию, надели на нее кремовое с цветочками, сшитое из кашемировых платков платьице, какое носили в детдоме все девочки, и стала Тоня здесь жить.

Здесьние места были совершенно не похожи на родные: климат морской, весной теплый ветер, летом ветер освежающий, но зимой бешеный, порывистый, штормовой. Снега зимой мало, только кое-где тонким слоем. А деревья росли и знакомые, и незнакомые. Например, весной красиво цвела маньчжурская черешня. Пожила Тоня год, и пока еще не прижилась, пока все новым было, то думалось меньше, а больше гляделось. Но как осмотрелась, как привыкла и пошла учиться в школу села Барабаш, вдруг овладела ею сильная тоска по родным местам, а особенно по родителям своим. Придет из школы, сядет у дороги на камень и провожает глазами каждого прохожего или прохожую. Хотела увидеть женщину, хотя бы похожую на ее мать, или мужчину, хотя бы похожего на ее отца. А оттого, что изо дня в день прохожие мимо нее шли все чужие и даже отдаленно ни мать, ни отца не напоминавшие, появилась у Тони какая-то апатия, безразли-

чие ко всему, особенно по утрам, начало у нее болеть под ложечкой, сосать что-то, давить. Была она уж в школе и в детдоме на плохом счету, учителей и воспитателей слушала невнимательно, с детьми общалась плохо и имела кличку Матерь Божья Курская. Заведующая Нина Пантелеевна ей как-то сказала:

— Чего ты сидишь у дороги, как Матерь Божья Курская? Как икона святая. Прохожие думают, что ты нищенка-попрошайка, и этим ты позоришь звание советской детдомовки.

С тех пор Тоню дети дразнили: Матерь Божья Курская. Ругала Тоню Нина Пантелеевна также и за то, что она ногтями себе на лице прыщички расковыривала — сидит и ковыряет, — а также выщипывала нитки из белья, простыню порвала. Нина Пантелеевна считалась воспитательницей строгой, но справедливой, детей своих детдомовских любила, говорила им:

— Я мать ваша. Не та мать, что родила, а та, что вырастила, выкормила и на коня посадила.

Часто так повторяла, и ребята соглашались — все, кроме Тони, которая однажды застонала, задрожала и крикнула Нине Пантелеевне:

— Вы мне не мать!

За это лишена была Тоня права на Праздник весны, который устраивался каждый год в детдоме к первому прилету птиц. На детдомовской кухне повариха пекла из теста “жаворонков”. Каждому доставался такой “жаворонок”. Дети привязывали сладких “жаворонков” к шестам, бегали с ними по улицам и кричали, как им велела Нина Пантелеевна:

— Жаворонки прилетели! Весна, весна пришла!

Потом они этих “жаворонков” съедали. А наказанная Тоня сидела запертой в тесной кладовой среди грязного белья и, слушая веселые крики с улицы, вспоминала, как шли они с мамой и Давидкой по шпалам

в совхоз к тете Вере и вокруг по обе стороны был лес, а в небе тихо высоко летали жаворонки.

“Ой вы, жаворонки-жавороночки, — вспомнилось Тоне, — летите в поле, несите здоровье, первое — коровье, второе — овечье, третье — человечье”.

— Нина Пантелеевна, — крикнула Лида Неизвестных, круглолицая, розовощекая отличница, наушница и любимица заведующей, — а Матьер Божья Курская в кладовке молится.

Нина Пантелеевна отперла кладовку и сказала окружавшей ее веселой, разгоряченной игрой в “Жаворонки” детворе, указывая на сидящую в уголке Тоню:

— Смотрите, дети, она ждет не прилета птиц, а прилета ангелов.

Ребята смеялись, кричали:

— Матьер Божья Курская, вот ангелочек полетел!

— Пойдемте, ребята, песни петь, — сказала Нина Пантелеевна, — а ей пусть ангелы песни поют. — И опять закрыла Тоню в кладовке.

С тех пор начала Тоня думать не только про свою мать Ульяну и отца Менделя, но и про ангелов. Ангелы казались ей похожими на серых певчих дроздов. Много дроздов летает на улице Красных Зорь в конце теплого лета, когда поспеет черная рябина, отчего их прозывают “рябиновики”. Подлетит, усядется на дерево повыше и осматривается, нет ли кого в огороде, потом вниз пикирует через частокол, начинает сладкую рябину клевать. Бабушка Козлова, или бабушка Саввишна Котова, или иная бабушка выскочит, в ладоши хлопает, пугает дрозда, ругает его, стыдит, а он уже поел свое, уже насладился. Хорошо в родных местах. Жаль, писем Тоня не получала: тетя Вера написала одно письмо, а Давидка писать не умел. Но приснилось Тоне, что она опять на улице Красных Зорь. Хоть

мать ее и отец по-прежнему мертвые, даже и во сне, зато вокруг — множество знакомых с детства людей и летают ангелы, которых Тоня кормит из рук черной сладкой рябиной. Приснился такой сон Тоне, и затосковала пуще прежнего.

Однажды пришел в детдом некто Машков. Он хотел взять на воспитание мальчика, но Тоня подбежала к нему с криком:

— Папочка, папочка, ты пришел за мной!

Машков совсем не был похож на Менделя, однако слишком уж было Тоне в детдоме плохо и одиноко. Машков разволновался, взял Тоню на руки, поцеловал ее и оформил у Нины Пантелеевны, забрал с собой. Повез он Тоню во Владивосток.

Владивосток — город с гористыми крутыми улицами, а если смотреть из окна вечером, то огней масса, словно звезд на небе. Одни неподвижны, другие ползут на гору либо с горы, дрожат, третьи плывут в разных направлениях, искрятся.

— Это бухта Золотой Рог, — объяснил Тоне Машков, — это катера и буксиры. А вон, гляди, — теплоход.

Во тьме плыла гора разноцветных искристых огней, которая словно таяла, как льдина, растекаясь в разные стороны по темным волнам. Как жаль, что папа Мендель и мама Ульяна этого не видят, а брат Давидка далеко, на улице Красных Зорь. Тоня любила стоять у окна, упершись в стекло лбом, и смотреть. Но новая мама Тони, Светлана Машкова, стоять долго не разрешала и отправляла спать. Спала Тоня в мягкой хорошей постели, в отдельной комнате. Квартира у Машковых была большая, с белым роялем, на котором Светлана Машкова играла скучную музыку. Новая Тонина мама еще меньше, чем Машков на Менделя, похожа была на маму Ульяну. Это была черноволосая, гладко причесанная женщина маленького роста, с зе-

леньими камушками в ушах. Мама Светлана учила Тоню правильно держать нож и вилку во время еды и учила, что с чем когда едят.

— К рыбе какая подливочка? — спрашивала мама Светлана.

— Беленькая, — отвечала Тоня.

— А к мясу?

— Красненькая, — отвечала Тоня.

Хоть Тоня по-прежнему тосковала, но было ей здесь лучше, чем в детдоме. Однако через месяц Машков вновь отвез Тоню в село Барабаш и сдал в детдом. Видно, не понравилась. Уехал, не попрощавшись, и Тоня его быстро забыла. Из всей жизни у Машковых запомнилось: к мясу подливочка красненькая, к рыбе подливочка беленькая. Нина Пантелеевна встретила Тоню с досадой — думала, избавилась от дурной овцы. А дети кричали:

— Матерь Божья Курская вернулась, — и весело пели ей вслед:

Уродилась я на свет горькая сиротка.

Родила меня не мать, а чужая тетка.

Зато к дороге, у которой сидеть любила, пошла Тоня как к знакомому месту, и камень, на котором сидеть любила, тоже родным показался. Когда сидела теперь Тоня у дороги, то смотрела не только на прохожих, но и в небо — не летят ли ангелы.

Холодало, задули с моря ледяные ветры, собрались птицы в большие стаи и улетели к другой далекой весне и другому далекому лету. Стало пусто в белом небе, да и на земле озябшие прохожие старались быстрее промелькнуть мимо Тони по сначала мокрой, а затем скользкой дороге. И все-таки приходила Тоня, смотрела и ждала: может, просто из упрямства, а мо-

Фридрих Горенштейн

жет, уже догадывалась, что стаи ангелов всегда летят навстречу птицам, от весны и лета — к осени, от осени — к зиме. Не туда, где радость и пение, а туда, где вера и терпение.

Минут необъятные российские годы, пройдут бесконечные российские дни, и опять наступит тот дождливый вечер с пельменями, который переломил Тонину жизнь у самого корня. Но на сей раз вечер перейдет не в ночь, а сразу в рассвет, станут блекнуть земные зори, как блекнут горящие свечи, освещенные сильным заревом, и услышит Тоня чистый, заоблачный голос, как бы единый голос Ульяны и Менделя:

— Приди, ближняя моя, приди, голубица моя.

Тогда ответит Антонина радостно:

— Готово сердце мое, Боже, готово.

*Апрель—май 1985
Западный Берлин*

Чок-Чок

* * *

Играй, прелестное дитя,
Летай за бабочкой летучей,
Поймай, поймай ее шутя
Над розой колючей,
Потом на волю отпусти.
Но не советую тебе
Играть с уснувшим змием —
Завидую его судьбе,
Готовы
Искусным пойманный перстом.

* * *

Как широко,
Как глубоко!
Нет, Бога ради,
.....

А. С. Пушкин. "Отрывки"

* * *

Увы! напрасно деве гордой
Я предлагал свою любовь!
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Ее души не тронет твердой.
Слезами только буду сыт.
Хоть сердце мне печаль расколет.

.....

.....

А.С.Пушкин. "Анне Н. Вульф"

По свидетельству А.П.Керн, эти стихи были написаны для альбома А.Вульф, причем Пушкин "два последних стиха означил точками". Однако в устной передаче Керн сохранились и последние нескромные стихи.

Примечание издательства "Наука". Ленинград, 1977

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

*А.С.Пушкин. "К***" (А.П.Керн)*

1

Девятилетний Сережа Суковатых, сын известного в городе гинеколога Ивана Владимировича Суковатых, был приглашен на день рождения к восьмилетней Бэлочке Любарт.

Бэлочкин день рождения почти совпадал с новогодним праздником, она родилась тридцатого декабря, и, когда Мери Яковлевна, Бэлочкина мама, включила электричество, то радостно, сказочно засверкали игрушки на елке и большое хрустальное блюдо с горячим яблочным пирогом. Мери Яковлевна, со сверкающими камушками в ушах, уселась за фортепиано, положила на клавиши белые полные пальцы и, сверкая зеленым камнем на одном из пальцев, заиграла и запела приятно и душевно песенку собственного сочинения:

В семье родилась Бэлочка,
В семье она росла,
Зимой и летом стройная,
Красивая была.
Тра-ля-ля. Тра-ля-ля.
Тра-ля-ля-ля-ля.

В этот момент в комнату из коридора снежной королевой вошла Бэлочка в сверкающем, усыпанном блестками, как снежинками, коротеньком белом платье и в таких же сверкающих белых башмачках. На голове у Бэлочки была белая сверкающая корона, а в руках — плетеная корзинка, обтянутая куском усыпанного блестками белого шелка. Мери Яковлевна запела:

Теперь она нарядная
На праздник к нам пришла
И много, много сладостей
Детишкам принесла.
Тра-ля-ля. Тра-ля-ля.
Тра-ля-ля-ля-ля.

Бэлочка тотчас принялась вынимать из корзинки пакетики с подарками — конфетами, коржиками, изюмом и орешками. Каждый, кто получал подарок, должен был платить: танцевать, петь или читать стихи. Пока очередь не дошла до Сережи, он напряженно, мучительно перебирал, обдумывал, что бы такое сделать, чтоб выделиться, отличиться и привлечь внимание Бэлочки, которую полюбил, едва увидав и пожав ее мягкую влажную липкую ладошку.

Бэлочка была полненькая, с толстенькими ляжечками, и даже маленький двойной подбородочек у нее уже намечался, подбородочек сладкоежки. Она была похожа на мать: имела такие же густые темные волосы и ярко-голубые глаза, большие и выпуклые. Только темные волосы Бэлочки, по-детски свободно спадающие, повязаны были красной шелковой ленточкой, а Мери Яковлевна поднимала тяжелую волну своих волос кверху и укрепляла их серебряной заколкой, украшенной красными гранатовыми камнями.

Мери Яковлевна, доцент кафедры дошкольного воспитания местного пединститута, была женщина еще молодая, красивая, белолицая, белошеяя, веснушчатая. Впрочем, веснушки свои она не любила. Весной и осенью веснушки густо покрывали ее лицо и тыльные поверхности кистей. Теплой же весной и летом, когда надо было носить открытые платья, они появлялись также и на груди, и на плечах. Мери Яковлевна вела со своими веснушками бесконечную борьбу, употребляя и ртуть, и сулему, и перекись водорода.

— У тебя, Мери, кожа замечательная, а ты своими мазями разрушаешь ее верхний слой, — говорил отец Сережи Иван Владимирович.

Сережин отец был вдов, жена его, Сережина мать, умерла в ранней молодости от опухоли мозга, и Сережа ее не помнил. А отец Бэлочки, Григорий Ионыч Любарт, погиб под Будапештом, и Бэлочка его помнила смутно, как какой-то силуэт. Мери Яковлевна посещала Ивана Владимировича как гинеколога на дому, поскольку он имел частную практику, но некоторое время они были также близки как мужчина и женщина.

— Эти твои желтоватые и коричневые пятнышки, — говорил Иван Владимирович о веснушках Мери Яковлевны, — эти *ephelidis*, — говорил он, разглядывая ее голое полноватое тело, утомленно лежащее, белеющее на белой, смятой недавней страстью простыне, — эти твои веснушки для меня как вторичные половые признаки.

— Ты, Ваня, теряешь чувство меры, — говорила Мери Яковлевна.

— Потеряно чувство меры, потеряно чувство Мери, — шутил Иван Владимирович.

Связь свою они скрывали, особенно от детей, Сережи и Бэлочки, которые учились в разных школах и вообще имели разные интересы.

Сереза был не по летам рослый, физически развитый, спортивный мальчик, и, хоть учился он хорошо, Иван Владимирович опасался, что улица может на него дурно повлиять. Недавно Ивана Владимировича вызывали в школу, показали какую-то свинчатку, у Серези отнятую, сказали, что от него, случается, пахнет табаком и что его видели несколько раз среди тех уличных подростков, что собираются у лодочной станции общества “Торпедо”, которой заведует известный в городе спортсмен и хулиган Кашонок. У Серези уже есть уличная кличка — Сука.

— Это как же, дружище? — позвав Серезу в кабинет, говорил Иван Владимирович. — Ведь это к чему приведет, если так продолжится? Кем ты станешь, скажи мне?

— Гинекологом, — ответил Сереза и посмотрел на отца темными черешнями покойной матери.

“Вот так же и она глядела, когда я узнал о ее измене с этим... волейболистом. Милая, интеллигентная, любила меня и вдруг изменила с этим скотом, — он глянул на Серезу. — Сейчас очень похож. Чувство вины вообще подходит подобным лицам... Однако я не о том думаю...”

— Я специально молчал в надежде, что ты сам поймешь, кем станешь, если будешь идти этим путем, — сказал Иван Владимирович. — Ты станешь пьяницей, у тебя будут дрожать руки и ноги. Более того, ты станешь преступником, тупым и бессердечным!

“Не то, не то я говорю. Матери ему не хватает... Как к его сердцу добратся? К ее сердцу я так и не добрался... Страдал, кричал, грозил, но к сердцу не добрался и не простил. Простил, только когда умирала”.

Иван Владимирович потянулся к стоящей на столе металлической банке из-под монпансье с трубочным табаком, но, глянув на Серезу, отдернул руку и взял из пакетика мятную лепешку.

— Я, папа, курить больше не буду, — сказал Сережа. — Я хотел попробовать, но мне не понравилось. Горько, противно...

— Дело не в том, понравилось тебе это или не понравилось, а дело в том, что это дурная привычка. Есть дурные привычки, которые нравятся. Никто не застрахован от слабостей, от непоправимых ошибок... — “Опять не то говорю”, — подумал Иван Владимирович. — Я имею в виду, что исправить их нельзя, раз они совершенны, но можно раскаяться от души, искренне... Я, дружище, не вижу твоего искреннего раскаяния, одни лишь слова. А все от того, что ты себя не уважаешь. Например, каждый человек должен уважать свою фамилию, какова бы она ни была. Наша фамилия — Суковатых, происходит от слова “сук”. Сибирская, таежная, честная фамилия. Ты же позволяешь своим уличным приятелям звать себя Сука, словом грязным, хулиганским. Это что ж, у всех ребят, с которыми ты встречаешься, есть клички?

— У всех.

— И у этого, как его, у твоего друга, с которым тебя часто видят?

— У Афоньки?

— Да, у Афоньки... У Афанасия. У него тоже кличка?

— Тоже.

— Какая, любопытно?

— Жид.

Лицо у Ивана Владимировича исказилось, точно он съел нечто кислое или горькое.

— Какое скотство, — сказал он, поморщившись. — Это, дружище, подло. Это не принято среди порядочных людей. Это какая-нибудь грубая, суеверная старуха, какая-нибудь Дуня, которая водила тебя в церковь, заставляла тебя целовать крест, может быть, целован-

ный до тебя каким-нибудь сифилисным, и заставляла пить воду, ложно именуемую святой, из кружки, которой, возможно, пользовался какой-нибудь туберкулезный... Мерзко! Твой дед, Владимир Сергеевич, земский врач, всегда защищал нацменьшинства; ты же берешь пример не с него, не с меня, отца твоего, не с иных порядочных людей, а с Дуни...

Дуня была домработница и Сережина няня. Была она худа, морщиниста, кожа словно присохла к ее костям, но, когда рассказывала Сереже всякие истории да небылицы, глаза у нее светились молодо.

“А в лесу-то, Сережа, — окала Дуня, — в лесу-то жил злодей, покоритель людей. И взял он в лес-то к себе девицу распрокрасавицу, Фелицию Ярославну. У-у-у... О-о-о, — слезы льет Ярославна, — у-у-у... О-о-о...”

Бабушку Дуню Сережа любил и помнил. Он очень огорчился, когда после случая с церковью отец ее уволил, тем более что о церкви Сережа сам же и проговорился. Теперь вместо Дуни домработницей была Настасья, крепкая девка с румянцем на щеках, происшедшая откуда-то из болотистых лесов. Вместо “лапша” она говорила “лапшина”, вместо “жаркое” — “жаренка”, на “капусту с мясом” — “качанья с мясом”. Готовила эти и иные кушанья она действительно хорошо, дом, в отличие от бабушки Дуни, содержала опрятно, но была груба, тупа и слушала только отца, который был ею доволен и доверял ей. Сказок она никаких не знала, но отец и этим был доволен, поскольку считал, что сказки бабушки Дуни вызывали у Сережи ночные детские страхи. Сережа в раннем детстве часто вскрикивал и плакал во сне. У Ивана Владимировича были свои, как он говорил, медицинские принципы воспитания сына. Так, он запрещал покойной жене его убаюкивать, считая, что убаюкивание мальчиков даже двухлетнего, трехлетнего возраста женскими руками

может со временем вызвать дурную привычку к онанизму. Что же касается отношения к сказкам бабушки Дуни, то подтверждение своей правоте он нашел позднее у Мери Яковлевны, в ее книжке, выпущенной областным издательством. Эта книжка была расширенным рефератом диссертации “Влияние детских сказок на формирование личности ребенка дошкольного возраста”.

“Сказки, сообщаемые детям младшего возраста, — писала Мери Яковлевна, — должны быть совершенно лишены поэтического элемента. С одной стороны, детям этого возраста недоступна поэтическая прелесть этого элемента, в котором чудесное поражает не более истинного, а с другой, элемент этот сильно действует на аффективную сторону и вызывает внезапные перемены в детских настроениях, он может оказать вредное влияние, преждевременно потрясая детскую нервную систему сильными эмоциями”.

В подтверждение подобных взглядов Мери Яковлевна с раннего детства сама следила за книжками для Бэлочки и сама их читала перед сном. Книжки, подобранные ею, были разнообразны и поучительны: “Про мышь зубатую и воробья богатого”, “Как дети мыли пол”, “Егоза Иванович”, наконец, Лев Толстой, “Мужик и огурцы”. Но любимая книжка Бэлочки была “Жизнь и приключения лесной белочки Чок-Чок”, ныне забытого, а некогда популярного дореволюционного писателя Венцеля. Поэтому Бэлочкина кличка Чок-Чок, заимствованная из приятной поучительной сказки, была самой же Мери Яковлевной и придумана. А Сереже, из-за пробелов в воспитании, кличку придумала улица — Сука.

— Ты понял, что это мерзко, дружище? У тебя есть имя Сергей и фамилия Суковатых. Точно так же и у этого мальчика, которого вы именуете нехорошим

фашистским словом, есть фамилия... Как его фамилия?

— Обрезанцев, — сказал Сережа.

Иван Владимирович вдруг покраснел и закашлялся.

— Посиди здесь, — сказал он глухо и быстро вышел, точно по срочной нужде, закрыв за собой дверь кабинета. Но даже сквозь закрытую дверь, сквозь шум воды из туалета доносились звуки раскатистого, неудержимого отцовского хохота.

“Не то я делаю, не то, — думал Иван Владимирович, — не умею воспитывать! Надо бы посоветоваться с Мери... Однако придумают! Обрезанцев... Смешно!.. Однако нехорошо, что я смеюсь, Сережа услышит. И вообще нехорошо... Двое мужчин, мужское общество, а Сереже скоро десять лет. Надо бы познакомить его, найти подружку, пока он сам не встретился в этой компании с дурными девицами”.

Так возник план познакомить сына с Бэлочкой, дочерью Мери Яковлевны. Мери Яковлевна согласилась.

— Скоро у Бэлочки день рождения — вот и повод.

Так Сережа оказался на предновогоднем дне рождения, в комнате, пропитанной запахом горячего яблочного пирога, полной блеска, веселья и музыки. Сережа был влюбчив, несмотря на свою физически крепкую комплекцию, — потому что обычно в подобном возрасте часто мечтательно влюбляются натуры физически слабые и нежные. Но, видно, эти слабость и нежность были у него в материнских глазах-черешнях. Он уже несколько раз влюблялся и всегда с мечтами, с печальями, однако разнообразные объекты его любви, очевидно, о ней не догадывались. И Сережа страшился того, чтоб они догадались. Влюблялся Сережа не только в девочек, но и во взрослых женщин,

чему способствовала профессия отца. Когда однажды пациентка отца, тетя Мери, поцеловав большим, красивым, ярко-красным ртом Сережу в щеку, а потом еще раз, в шею, подарила два карандаша и шоколадку, он долго не мог опомниться, вспоминал волнующий, головокружительный запах этих женских прикосновений, раздражавший и манивший. Запомнил он также скуластую теплую щеку тети Мери, ее пухлый широкий носик с большими ноздрями, ее голубой, веселый, манящий глаз под густой темной бровью. Поэтому Сережа с радостью согласился пойти на день рождения дочери тети Мери и, едва увидел эту дочь, как обнаружил в ней многое уже знакомое, но более понятное, более доступное и потому гораздо более привлекательное. Печаль и мечты прошлых влюбленностей сразу испарились, и Сережа понял: настоящая любовь — это веселье. Хотелось танцевать, петь, дурачиться. Однако, распираемый изнутри этим азартным детским вихрем, Сережа, поскольку он чувствовал на сей раз влюбленность свою серьезно, истинно по-взрослому, стал обдумывать, как тут более правильно поступить, и, когда Бэлочка подошла к нему, как подходила она к другим детям, и так же безразлично протянула ему пакет с подарком, он, вместо того чтоб закричать какую-нибудь глупую песенку или запрыгать козлом, вдруг принял позу, как на школьном утреннике, и с пафосом прочел без запинки стишок Пушкина из хрестоматии, за который недавно получил пятерку.

— “Утро”. Стих Александра Сергеевича Пушкина, — многозначительно и высокопарно произнес Сережа.

Румяной зарею
 Покрылся восток,
 В селе за рекою
 Потух огонек.

Росой окропились
Цветы на полях,
Стада пробудились
На мягких лугах.

Мери Яковлевна, которая была специалисткой по детскому чтению и писала о том диссертацию, растроганно, горячо зааплодировала, и вслед за ней зааплодировала Бэлочка. Аплодировали и другие дети, но для Сережи главным было то, что аплодировала Бэлочка. Впрочем, ему нравились и другие аплодисменты, он чувствовал себя героем, на него обратили внимание, и то сперва, когда отец привел его, он, будучи со всеми незнаком, сидел чужаком в углу на стуле, тогда как иные свободно подходили к Бэлочке, обнимались с ней и вообще веселились. Теперь же в детском хороводе, который вела Мери Яковлевна, он был рядом с Бэлочкой, держал ее за теплую влажную ладошку и, подпрыгивая на легких, воздушных ногах, едва не взлетал.

— Баба сеяла горох, — начинала Мери Яковлевна.

— Прыг-скок, прыг-скок, — нестройно-весело отвечал хор детских голосов, и Сережа, опьяненный этим весельем, Бэлочкиной влажной ладошкой, красной ленточкой в ее густых волосах, радостно забывался в крике.

— Обвалился потолок, прыг-скок, прыг-скок!

Потом все собрались полукругом у фортепиано, причем Сережа опять оказался рядом с Бэлочкой. Мери Яковлевна взяла несколько шумных аккордов и запела:

Солнце в золоте лучом мне подмигивает,
Через улицу ручей перепрыгивает...

Сережа этой песни не знал, но он умело подхватывал концы слов:

Ах, ручей, чей ты, чей?
Я от снега и лучей,
Я бегу, я смеюсь.
Я сейчас с другим сольюсь.

Потом Бэлочка спела песенку воробья, наклоня то в одну, то в другую сторону черноволосую головку, перетянутую красной ленточкой, и держа на уровне головки свои ладошки с растопыренными пальчиками:

Чив-чирик-чик-чива-чик.
Чив-чирик-чив-чива-чик.
Чив-чирик-чик-чива-чик.
Чи-и-ик...

Утомленные и возбужденные пением, дети собрались у стола, и Мери Яковлевна начала резать, раздавать каждому по куску яблочного пирога, все еще горячего, липкого и сладкого. Сережа и тут не отходил от Бэлочки, и Бэлочка тоже не отходила от Сережи. Чтоб передохнуть после возбуждающих игр и песен, Мери Яковлевна предложила детям рассматривать книжки. Каждый получил по три книжки, должен был выбрать наиболее понравившуюся, успеть ее прочитать и своими словами передать содержание. За наиболее удачный пересказ давался приз, но какой, Мери Яковлевна не сказала, чтоб возбудить интерес. Три книжки, доставшиеся Сереже, были “Джек – пожарная собака”, “Былины о Василии Буслаевиче и Соловье Будимировиче”, а также “В мире брызг и пены” – о водопадах. Все три книжки понравились Сереже, он никак не мог выбрать. Наконец выбрал “Джек – пожарная собака”, начал читать, но вдруг передумал и взялся за “В мире брызг и пены”. Он прочел более половины книжки и рассчитывал вновь стать первым,

стать героем, вызвать аплодисменты, но неожиданно заметил, что Бэлочки в комнате нет и ее книжки лежат нераскрытыми. Все вокруг сосредоточенно листали, читали свои книжки, рассчитывая выиграть приз, но Сережа уже не читал. Без Бэлочки стало скучно, печально, он оглядел комнату с привычно, на своем месте стоявшей и привычно, уже надоедливо блиставшей елкой; глянул в окно, за которым смеркалось и летел большими хлопьями новогодний снег...

Снова оглядывая комнату, заметил, что нет и Алика Саркисова, мальчика Сережиного возраста. И его книги лежали на столе нераскрытыми. Какие-то искры, полосы, пятна вдруг замелькали перед Сережиними глазами. Отойдя от стола, он начал кружить по комнате, подошел к елке, опять заглянул в окно, точно Бэлочка могла оказаться там, могла падать с неба, плавно и тихо, и он хотел разглядеть ее среди хлопьев.

— Чего ты, Сережа, не читаешь? — услышал он и, обернувшись, увидел тетю Мери, которая смотрела на него, растянув губы в улыбке.

— Я... — начал Сережа, но пересохшее горло мешало говорить.

— Что-нибудь случилось?

— Нет... Я...

— Ты хочешь в туалет? — спросила тетя Мери, понизив голос. — Это в конце коридора. — И большой своей белой рукою со сверкающим зеленым камнем на пальце ободряюще провела по Сережиной щеке.

В коридоре было темно, и когда Сережа шел, то ему показалось, что за пухлой от одежды вешалкой кто-то прятался, шептал и чем-то шелестел, но от Сережиних шагов все это притихло.

Сережа нащупал дверь туалета, вошел и заперся, стоял просто так, потому что в туалет ему не хотелось.

Выйдя из туалета, он пошел назад и едва не упал, наткнувшись на связки старых газет, сложенных в углу у вешалки. Опять послышались за вешалкой шелест и шум, словно смех, заглушенный ладошкой. Сережа вернулся в комнату, как и вышел, тоскуя.

Конкурс меж тем кончился, первый приз выиграла школьная подруга Бэлочки Лина Думанская, прочитавшая и изложившая своими словами содержание книжки “Жизнь и приключения белочки Чок-Чок”. На этот раз Мери Яковлевна и Бэлочка, наконец появившаяся откуда-то, и все остальные аплодировали Дине, как они аплодировали раньше Сереже за его пушкинский стишок “Утро”. Сережа стоял в стороне, недовольный, тоскующий, внутренне протестующий, и не аплодировал. Впрочем, он заметил, что и Алик Саркисов тоже недоволен и тосклив. Однако Бэлочка была весела и, как показалось Сереже, несколько раз на него весело поглядывала, но он, замкнувшись, с тяжелой каменной грудью отворачивался. Наконец Бэлочка, когда Сережа стоял у окна, глядя на снег, сама подошла и спросила:

— Отчего ты сердишься?

— Я не сержусь, — опять пересохшим горлом и потому прокашливаясь, ответил Сережа.

— Нет, сердишься! Ты на меня сердишься.

— Не сержусь!

— Врешь, сердишься, — и своими смеющимися голубыми глазами поймала, приклеила Сережины темные, сердито-печальные.

Так боролись они взглядами, и Бэлочкин, игриво-веселый, победил, покорив Сережин, сердито-тоскливый. Сережино лицо потеряло твердость, ослабело, расплзлось в улыбке.

— Ты проиграл, проиграл, — засмеялась Бэлочка и, зачем-то оглянувшись, сказала тихо: — Пойдем, я тебе

что-то покажу... Пойдем, — и поманила пальчиком Сережу вслед за собой в коридор.

В знакомом уже Сереже темном коридоре, у знакомой, пухлой от одежды вешалки Бэлочка остановилась и, взяв Сережу за руку, потащила в узкую щель между вешалкой и стеной. Сережа шел, пригнувшись, спотыкаясь о связки старых газет, о какой-то старый ящик, еще какую-то старую рухлядь.

— Можешь выпрямиться, — шепотом сказала Бэлочка.

За вешалкой в стене было углубление, очень узкое, но высокое, до потолка, и они стояли, тесно прижавшись, хоть и выпрямившись. Сердце Сережи сильно стучало, уши горели. Он очень волновался, как перед тяжелым экзаменом. Бэлочка была совсем рядом, тепло дышала ему в лицо.

— Чего ты молчишь? — спросила наконец Бэлочка, подышав так минуту-другую.

— Я... Ты... — Сережа начал прокашливаться.

— Я да ты, — засмеялась Бэлочка. — Ты доктора сын?

— Да.

— Гинеколога?

— Да, гинеколога.

Бэлочка опять засмеялась.

— Чего ты смеешься? — спросил Сережа, чувствуя все большую неловкость и не зная, что говорить и что делать дальше.

— Ты Пушкина хорошо читал, — вовремя пришла на помощь Бэлочка, — моей маме понравилось.

— Я твою маму и раньше видел, — сказал Сережа, — она к нам приходила... У тебя мама красивая, — добавил он, неожиданно для себя смело.

— Влюбился? — ответила Бэлочка на его смелость еще большей.

Сереза растерялся и не знал, что сказать: соврать, засмеяться небрежно или признаться, что действительно был влюблен.

— В мою маму все мужчины влюбляются, — сказала Бэлочка.

Серезе стало приятно, что Бэлочка и его тоже причислила к мужчинам, и он сам, не понимая, что делает, как бы наблюдая за собой со стороны, положил ей руку на левый бок у полного бедра, прощупав под белой, шуршащей материей какие-то косточки, какие-то завязочки, какие-то узелки. Тогда Бэлочка подалась вперед, прижала свой мягкий животик к Серезиному животу, уперлась обеими ладонками в его грудь и из этого не совсем ловкого положения несколько раз поцеловала Серезу в губы своими липкими, сладкими от яблочного пирога губками. В это время по коридору кто-то прошел и, видно, услышал за вешалкой шуршание и, может, даже звуки поцелуев, потому что остановился и повернул голову к вешалке, как это делал недавно Сереза. Бэлочка, распираемая смехом, прижала одну свою ладонку к своему роту, а второй, мягкой, теплой ладонкой закрыла Серезин рот. Силуэт постоял в коридоре и пошел дальше к туалету. Но тут Бэлочка не удержалась и выпустила из-под своей ладонки короткий, визгливый, похожий на поросычье хрюканье смешок. Это так развеселило Серезу, что он тоже хрюкнул под теплой Бэлочкиной ладонкой, тем более что узнал в силуэте Алика Саркисова. Когда посрамленный Саркисов скрылся в туалете, Сереза и Бэлочка выбрались из-за вешалки и побежали в комнату, присоединились к поющему под аккомпанемент Мери Яковлевны хору.

Солнышко, солнышко, погляди в оконышко.

Выйдут детки погулять, будут прыгать и играть...

А на прощание, перед тем как веселые возбужденные дети стали расходиться по домам, Мери Яковлевна с чувством спела “Колыбельную”, пластично выпевая каждое слово красными губами.

Спи, мой дружок, вырастай на просторе,
Скоро промчатся года.
Смелой орлицей под ясные зори
Ты улетишь навсегда.
Даст тебе силу, дорогу укажет
Сталин своею рукой.
Спи, мой воробушек, спи, мой дружок,
Спи, мой звоночек родной.
Ля-ля-ля-а-а-а...

И все разгоралось, все разгоралось, все светлело в Сережиной душе от этих убаюкивающе-торжественных звуков.

Позднее, возвращаясь с отцом домой по заваленным снегом белым, праздничным, новогодним улицам, Сережа жмурил глаза, отчего городские огни длинными лучами брызгали в разные стороны, глубоко дышал вкусным снежным воздухом, и временами радость, распиравшая его грудь, была так невыносима, что хотелось громко, бессмысленно закричать, как кричат от боли, которую невозможно терпеть.

— Папа! — необычно громко произнес, почти закричал Сережа.

— Что, Сережа? — спросил Иван Владимирович.

— Какой хороший сегодня вечер, — сказал Сережа, шумно, беспокойно дыша и лихорадочно блестя глазами.

“Мой сын впервые в жизни по-настоящему влюблен и счастлив”, — подумал Иван Владимирович.

Ему вдруг стало грустно и вспомнилась покойная Сережина мать, когда он впервые встретился с ней,

молоденькой, семнадцатилетней девочкой, почти ребенком, беспокойным, чистым и восторженным, таким же как Сережа. «Можно ли было тогда предугадать, что случится потом? — думал Иван Владимирович. — Что мы вообще можем увидеть своим близоруким, рассеянным оком? Тут важно людям моего опыта и моего возраста сдерживать эгоистическую гордыню познавшей, неудовлетворенной души и не отравить чужой свежести своими разочарованиями, своим мрачным полетом фантазии».

««Дождя отшумевшего капли», — вспомнил Иван Владимирович романс, который часто пела Мери Яковлевна. — Да, отшумевшего... В звуках отшумевшего — утешение. «Утешься, не сетуй напрасно, то время вернется опять». Вот оно и вернулось — для Сережи».

И теплое, нежное чувство к сыну, к своему впервые по-настоящему влюбленному, счастливому мальчику заглушило пробудившуюся было жгучую печаль, гордыню личного горя и личных разочарований.

2

Зимним днем — в иную уж зиму, пятнадцатую для Сережи и четырнадцатую для Бэлочки, — в первый день школьных каникул Бэлочка и Сережа решили пойти на каток.

Всё было белым в тот день, и от того, что не блистало солнце и не было ветра, тихая эта белизна тускло, однообразно, без отсветов, покойно лежала на всем: на березах, на протоптанной в снегу тропке меж ними, которая вела к речному берегу, терявшемуся под ровной снежной пеленой. Заречная даль размывалась белым маревом, и низко нависало такое же однообразное, как снежная целина, несолнечное, тусклое небо. Единственным поблескивающим пятном был каток — участок, очищенный от снега, недалеко от лодочной станции “Торпедо”, от дощатого барака с белым спортивным флажком на крыше, от вмерзших в лед лодок. Заведующий лодочной станцией и катком Костя Кашонок, кумир местных подростков с железным профилем сверхчеловека, возился у дощатого барака вместе со своим подручным Афонькой Обрезанцевым — что-то прогревали, стучали железом о железо, наполняли морозный воздух металлическим грохотом, смехом и матом. Из-за морозной погоды каток

был пуст, только какой-то пожилой человек в сером свитере, обтягивающем костлявые плечи, и такой же серой шапочке, заложив руки за спину, вычерчивал по льду круг за кругом.

— Это кто? — кивнул Афонька в сторону Бэлочки, когда Сережа подошел, чтоб взять напрокат коньки. — Твоя маруха?

— Моя.

— Хороша, — кивнул Афонька Кашонку на стоящую в отдалении Бэлочку, действительно очень красивую в своей рыжей беличьей шубке и белой пуховой шапочке на темных волосах.

Хоть Сережа давно уже не общался с Афонькой, но закон улицы помнил: о девочках надо было говорить залихватски легко и по-хулигански весело — и потому заставил себя улыбнуться. Но когда, взяв коньки, он подошел к Бэлочке, она вдруг с интересом, весело улыбаясь, спросила:

— Что Ванька про меня говорил?

— Не Ванька, а Афонька.

— Ну, пусть Афонька... Что он про меня говорил?

— Шутил паскудно... Пойдем кататься.

То, что Бэлочка так улыбалась, неприятно взволновало, ибо казалось, что своей улыбкой она как бы кокетничала с Афонькой.

Те физические и психологические перемены, которые произошли в Сереже и Бэлочке, были естественны, но у Бэлочки, росшей в семье невропатической и при изнеженном воспитании, все началось ранее срока — и менструальный цикл, и вопросы о деторождении...

О деторождении она начала расспрашивать лет этак после восьми и так настойчиво, что даже напугала Мери Яковлевну. Поразмыслив и посоветовавшись, Мери Яковлевна решила, что от этих вопросов надо

отделяваться отговорками или начинать ответ длинными, скучными фразами, которые должны надоесть ребенку прежде, чем речь дойдет до сути. Так она и поступила, но ответы ее лишь создали в психике дочери манящую, таинственную область. И это Бэлочкино напряжение, это Бэлочкино воспаление передалось также Сереже.

К тому же отец Сережи был еще не стар, вдов и его как гинеколога часто посещали женщины, проходили в кабинет, за запертую дверь которого Сереже давно мечталось поглядеть. Вход в отцовский кабинет самостоятельно, без присмотра был ему запрещен даже и в неприемные часы. Во-первых, потому что там хранился табак, а во-вторых, из-за определенных книг, стоящих на полках. Уходя на работу или в иное место, Иван Владимирович всегда запирает дверь кабинета на ключ. Второй ключ хранился у Настасьи, аккуратно исполняющей свои обязанности преданной отцу надзирательницы. Так уж, однако, случилось, так уж должно было случиться, что Настасья, убрав однажды кабинет, забыла запереть дверь, поскольку ее позвала соседка по какому-то делу. Длилось это недолго; минут пять Настасья поговорила на лестничной площадке с соседкой, но и пяти минут оказалось достаточно для Сережи, вбежавшего на цыпочках в кабинет и начавшего шарить на столе, а затем и на полках в поисках табака. Шаря и прислушиваясь, не идет ли Настасья, он случайно зацепил и сбросил на пол толстую в зеленом переплете книгу. Книга при падении на пол раскрылась, и Сережа прочел название, написанное старинной вязью: "Строение половых органов". Так и не найдя табака, но зато схватив книгу, Сережа выскочил из кабинета.

Если б речь шла о современной медицинской книге, о каком-нибудь медицинском, гинекологическом

справочнике, которым отец постоянно пользовался, то пропажа бы обнаружилась быстро. Толстый зеленый том, сам, как созревший плод, упавший к Сережиным ногам, был, однако, старым антикварным изданием, книгой французского анатома семнадцатого века Рене де Граафа, впервые давшего подробное анатомическое описание мужских и женских половых органов.

“Мужской половой член, — читали совместно, голова к голове Сережа и Бэлочка, — состоит из пещеристой ткани, содержащей множество широких кровеносных сосудов, сильно наполняющихся кровью во время эрекции”. Здесь же изображался этот мужской половой член в разных видах — проекциях, сбоку, сверху, снизу, аккуратно вычерченный, как в геометрии.

Дело происходило в Бэлочкиной комнате, где Сережа и Бэлочка часто готовили вместе уроки. Бэлочка училась посредственно, и Сережа, который учился хорошо, помогал ей, особенно в решении задачек. Они и сейчас разложили учебники, раскрыли тетради, которыми приготовились в случае опасности прикрыть запретную книгу. Опасности, однако, не предвиделось. “Дождя отшумевшего капли, — доносился из столовой голос Мери Яковлевны, которая пела свой любимый романс, — тихонько по листьям текли, тихонько шептали деревья, кукушка кричала вдали”.

— У мамы меланхолия, — шепотом сказала Бэлочка. — Я слышала, как она ночью вставала и пила капли. У тебя, Сережа, бывает меланхолия?

— Не знаю.

— Бывает, бывает... И у меня бывает. У всех бывает. Знаешь от чего?

— От чего?

— Не скажу, — кокетливо улыбнулась Бэлочка.

— Нет, скажи, скажи. Ну скажи, Чок-Чок.

— Сам знаешь, — Бэлочка засмеялась своим возбуждающим, болезненно-лихорадочным смехом и ткнула пальчиком в схемы половых органов.

“Не знаю, была ли в те годы душа непорочна моя, но многому б я не поверил, не сделал бы многого я...” — пела Мери Яковлевна.

— У мамы неудача в личной жизни, — сказала Бэлочка, — она, бедная, страдает.

И действительно, меж Мери Яковлевной и Иваном Владимировичем какое-то время уже не ладилось, наступило охлаждение, и теперь речь шла вообще об окончательном разрыве, подтверждением чему служил тот факт, что Мери Яковлевна обратилась по женским своим делам к другому гинекологу. Тем не менее Сережа продолжал приходить к ним в дом, и Мери Яковлевна это терпела, хотя, будучи женщиной эгоистичной и пристрастной, она подумывала, как покончить с подобной слишком затянувшейся дружбой. Дети выросли, стали подростками, и как бы от такого постоянного, тесного контакта чего-либо не случилось непоправимого. Тем более учитывая Бэлочкины пристрастия, Бэлочкину нервную систему... Еще в раннем детстве невропатолог, осматривавший Бэлочку, узнав о ее ночном недержании мочи и прочем, посоветовал мероприятия, способствующие закаливанию организма, а также содействующие ограждению половых органов ребенка от раздражений. При последующих осмотрах озабоченный невропатолог советовал также беречь девочку от дурных примеров и влияния и, между прочим, “от чтения известных романов и вообще подобных книг”. Посоветовал невропатолог показать девочку также опытному гинекологу, учитывая ранний приход менструального цикла. Мери Яковлевна собиралась уже показать Бэлочку Ивану Владими-

ровичу, но отношения их все более ухудшались. Прежде, пока отношения эти еще были сносными, она пробовала все же поговорить с Иваном Владимировичем о слишком затянувшейся дружбе Бэлочки и Сережи, которая, судя по некоторым признакам, может дурно кончиться. Но Иван Владимирович, конечно же, не понял ее.

— Ты, Мери, хочешь, чтоб вместо нормального, естественного развития полового инстинкта дети перешли к ущемленным болезненным фантазиям?

— От фантазий, даже болезненных, нельзя забеременеть, а от естественного полового инстинкта — можно...

Мери Яковлевна намекала на взволновавшую город беременность пятнадцатилетней девочки Ларисы Бизевой, цыганки, учившейся в Бэлочкиной школе.

Лариса закопала портфель с учебниками на пустыре и сбежала со взрослым тридцатилетним цыганом. Вернулась она спустя три месяца, беременная, причем беременность была тяжелая и потребовалось кесарево сечение для спасения жизни роженицы. Ребенка также удалось спасти, но он родился уродом. Иван Владимирович был хорошо знаком с подробностями этого дела. Конечно, меж этим происшествием и дружбой Сережи с Бэлочкой было мало общего. Однако определенное беспокойство от тесного общения Сережи, мальчика эксцентричного, как и его покойная мать, с девочкой чувственно-нервной, способной к бурным реакциям даже на незначительные раздражения и с, безусловно, неустойчивой, ненормальной половой возбудимостью, испытывал и он. Он сам хотел предложить Мери Яковлевне осмотреть Бэлочку, но потом передумал. «Лучше пусть это сделает кто-либо посторонний, а не я, отец Сережи. И в конце концов, — любовь это или что иное —

кончиться оно должно само, изнутри, как кончаются многие отношения меж подростками. Вмешиваться извне жестоко и опасно”.

Так думал Иван Владимирович, но Мери Яковлевна думала иначе, думала противоположно и давно б уже вмешалась извне, если б не знала свою Бэлочку, не знала ее упрямства, не знала ее привязанности к Сереже. Она чувствовала, что простой запрет, без всякого повода, ни к чему не приведет, поэтому искала повод. И вот повод нашелся. Мери Яковлевна заметила, что, готовя вместе с Сережей уроки в своей комнате, Бэлочка с некоторых пор стала запираеть дверь. И в присутствии Сережи Мери Яковлевна сделала Бэлочке выговор, предупредила, что если еще раз заметит запертую дверь, то их совместные уроки прекратятся.

Поэтому, читая сейчас книгу Рене де Граафа “Строение половых органов”, Бэлочка двери не заперла, но приготовила множество бумаг, чтоб прикрыть книгу. “Влагалище, — читали Сережа и Бэлочка, — часть женских половых органов, принимающая при совокуплении мужской член. У входа во влагалище полулунная складка — девственная плева. Большие срамные губы и малые срамные губы окружают срамную щель, в переднем углу которой находится клитор...”

“Теперь же мне стали понятны обман, и коварство, и зло, и многие светлые мысли одну за другой унесло...” — пела Мери Яковлевна в столовой.

Бэлочка, однако, не знала, что Надя, приходящая домработница, послана Мери Яковлевной босиком, чтоб тихо ступала, под дверь Бэлочкиной комнаты.

— Что? — шепотом спросила музицирующая Мери Яковлевна Надю, когда та явилась для доклада.

— Зеленую книгу читают, — тоже шепотом ответила Надя.

— Какую зеленую?

— Толстую.

Этого было достаточно. Не готовят уроки, а читают какую-то толстую зеленую книгу! Однако то, что оказалось у Мери Яковлевны в руках, когда она, надев вместо туфель мягкие домашние тапочки, внезапно вошла, превзошло самые худшие ожидания. Вначале Мери Яковлевна просто оцепенела, но, обретя дар речи, обратилась прежде всего не к Бэлочке, а к Сереже.

— Это вашего отца книга? — спросила она сдержанно, вежливо, на “вы” и оттого особенно зловеще.

— Не отвечай ей! — нервно выкрикнула Бэлочка.

— Да, моего отца, — ответил Сережа, потупившись.

— И он разрешает вам читать подобные книги?

— Разрешает, разрешает, — нервно вмешалась Бэлочка.

— Нет, — глядя на ковер, тихо ответил Сережа.

— Книгу я найду способ передать вашему отцу сама, — сказала Мери Яковлевна. — А вы, Сережа, больше не должны приходиться к нам в дом и вообще общаться с Бэлочкой!

Затем, повернувшись к Бэлочке, другим уже, домашним тоном, хоть и при Сереже еще, наверняка умышленно при Сереже еще, выкрикнула:

— Я запрещаю тебе встречаться с ним! С этим уличным подростком... Слышишь, мерзавка?!

Сережа ушел подавленный и униженный, плачущую Бэлочку заперли в ее комнате, а Мери Яковлевна приняла таблетку от головной боли, приняла успокаивающие капли и, бледная, отчего ярко накрашенные губы ее казались совсем уж кроваво-пунцовыми, легла на диван, тем более что чувствовала себя она последнее время вообще дурно из-за женской болезни. Ей точно воздуха не доставало, и она дышала шумно, жадно, а по щекам ее текли тихие слезы. “Вот так, — дума-

ла Мери Яковлевна, — вот так!.. Вот и допет последний куплет... Везет лошадка дровеньки, а в дровнях мужичок, срубил он нашу Бэлочку под самый корешок... И я, я в этом виновата... Не она, а я, мерзавка...”

Опять сильно болел живот. Некоторое время тому у нее ночью уже случался приступ сильной боли в животе. Врач “скорой помощи” предположил аппендицит. В больнице диагноз первоначально подтвердили, но Иван Владимирович, который, к счастью, дежурил в тот день, определил не аппендицит, а эпидимит — воспаление придатков. Ее подлечили, стало легче, и вот опять, наверно, на нервной почве острая боль в том же месте! К вечеру началось и кровотечение. В прежние времена она всегда в таких случаях звонила Ивану Владимировичу, но теперь отношения между ними сошли на нет. Она слышала, что у Ивана Владимировича появилась какая-то восемнадцатилетняя любовница, медсестра роддома. Да и у Мери Яковлевны появились иные интересы. Вместе с новым заведующим кафедрой дошкольного воспитания Ефремом Петровичем Ляшенко, мужчиной уже немолодым, но крепкого сложения и высокого роста, она собиралась писать работу на тему “Опыт ребенка как вспомогательное средство педагогики”. Уж был готов договор в республиканском издательстве, где у Ефрема Петровича имелись связи, ибо прежде он как раз в этом учебно-педагогическом издательстве занимал должность главного редактора. Из республиканского города Ефрем Петрович, как слышала Мери Яковлевна, уехал по личным, семейным обстоятельствам, разведясь с женой после того, как они отпраздновали серебряную свадьбу, окруженные тремя взрослыми детьми и пятью внуками. Такое могло создаться впечатление, что Ефрем Петрович — человек эгоистичный и безответственный, а меж тем, по мнению Мери Яковлев-

ны, был он добр и деликатен, без всякого неприятного острословия, чем отличался Иван Владимирович. Вспомнилось, как в одном из последних разговоров, когда Мери Яковлевна поделилась своим беспокойством относительно опасных отношений его Серережи с ее Бэлочкой, он объявил, что у нее просто необоснованные предрассудки, чрезмерные требования и преувеличенный педантизм.

— Дело не во мне, не в моем характере, — пыталась сдержаться Мери Яковлевна. — Я хотела бы посоветоваться, что нам делать с нашими детьми.

— Давать им поменьше перца и уксуса, — сказал Иван Владимирович.

— Ты опять шутишь, и опять некстати.

— Отчего же? Половое созревание сопровождается слабостью пищеварительного аппарата. Надо исключить также чай, кофе, само собой, вино. — Он хотел обнять ее за плечи, но она отстранилась. Она уже тогда слышала о молоденькой медсестре из роддома.

— Если ты, Иван, отказываешься предпринять совместные действия, то я приму свои меры. Поступай со своим сыном как тебе заблагорассудится, я же думаю о своей дочери. Пусть тебе безразлична судьба Бэлочки, но чтоб отец был так безразличен к судьбе собственного сына!.. Или для тебя важнее всего собственные удовольствия, собственное половое разнообразие как с вдовами, так и с молодыми девицами?

Последние слова, особенно намеки на молодую медсестру, новую любовницу Ивана Владимировича, Мери Яковлевна пыталась удержать, еще за секунду до того была уверена, что не скажет, как бы ни была раздражена. Однако не удержалась, однако сказала.

— Ты, Мери, — медленно, торжественно, как говорят оскорбленные люди, пытающиеся сохранить свое достоинство перед оскорбителем, начал Иван

Владимирович, — ты, Мери, болезненно раздражена, и я имел бы право оскорбиться твоей бестактностью, если б не был твоим гинекологом и не знал причин. В твоем отношении к дочери есть элемент извращения полового чувства, достаточно подробно описанный немецким психологом Эбингом наряду с уранизмом, лесбосской любовью и прочим подобным...

Этот разговор окончательно predetermined их разрыв. И сейчас, лежа на диване, Мери Яковлевна, несмотря на болезненное состояние, с мстительным наслаждением думала, как воспримет Иван Владимирович историю с книгой “Строение половых органов”.

В тот же вечер книга была послана с Надей и передана лично в руки Ивану Владимировичу. К книге была приложена записка, сухо и коротко излагавшая суть дела и требовавшая, чтоб дурно воспитанный сын Ивана Владимировича более не посещал ее, Мери Яковлевны, дома и не встречался с Бэлочкой.

Вопреки надеждам Мери Яковлевны, Иван Владимирович, однако, быстро справился с порывом отцовского гнева, первоначально действительно им овладевшего.

“Тут не мудрость нужна, не святость, а терпение, — думал Иван Владимирович, глядя на своего сына, которого призвал в кабинет для разговора. — Он уже не мальчик, а молодой человек и с возрастом все более становится похож на меня; только глаза как у матери”.

— Здесь, в записке, Мери Яковлевна требует, чтоб ты больше не встречался с Бэлочкой.

— Мы будем встречаться, папа! — сказал Сережа.

— Я это понимаю... Вы можете даже встречаться здесь, если захотите.

— Спасибо, папа! — обрадованно воскликнул Сережа.

“В конце концов, мой либерализм — мера вынужденная, впрочем, как всякий либерализм, а потому — единственно возможная, — подумал Иван Владимирович. — Ремнем его уже не отхлестать. Может, надо было раньше, а теперь уже поздно. Угрозы только вызовут в нем злобность и раздражительность”.

— Ты, однако, понимаешь, дружище, — сказал Иван Владимирович, стараясь придать своему голосу побольше холода и строгости, — ты, однако, осознаешь свой проступок?

— Осознаю, — сказал Сережа, подыгрывая отцу в их общей попытке найти разумный выход из неприятной ситуации.

— Я уж оставляю в стороне сам факт заимствования тобой — не хочется употреблять слово “кража” — заимствования чужой книги. Но что, интересно, ты в ней нашел? Тебе было интересно?

— Интересно, — признался Сережа.

— Вот что, дружище! Поверь мне: если ты станешь развивать свой интерес в этом направлении, то вскоре потеряешь всякий другой интерес к девочке, с которой дружишь, и станешь стремиться к тому, что, в общем... И преждевременно, и глупо для вас! Я не буду объяснять, да это пока и сложно тебе понять. Те, кто занимается этим профессионально, например я, чувствуют это гораздо сильнее, чем кто-либо. Необходимо отделять одно от другого, пока это возможно, а ты стремишься объединять.

— Что отделять, папа? — в недоумении спросил Сережа.

“Не слишком ли я разоткровенничался перед сыном? — спохватился Иван Владимирович. — Хотел погасить соблазны, а вместо этого только разжег. Тяжело все-таки воспитывать без матери. Любящая мать нашла бы слова, как она находила их с первых дней,

заботясь о здоровье и несложном блаженстве младенца. Ведь капризы и страсти повзрослевших детей, даже подростков, представляют аналогию крикам новорожденного. Мать и младенец едины еще со времен утробной жизни ребенка; отец же отделен, увы! Оттого мать находит слова по инстинкту, нам же приходится искать их рационально. А какая же может быть логика в любви? То, что нам непонятно, то, что мы не способны понять, все это названо нами «тайны жизни». Но объяснять это Сереже невозможно и опасно. Подростки не терпят тайн, всякая тайна их враждебно раздражает, потому что именно в этом возрасте должны закладываться стойкие элементы бодрости и жизненности... Той ясности, которая царит в полдень, когда нет теней. Вот у Пушкина:

Любимец божества, природы старший сын,
Вещай, о человек! Почто ты в свет родился?
На то ль, чтоб царь земли и света властелин
К постыдной цели век стремился?

В этом четверостишье, как и часто у Пушкина, может быть найден и иной, непрямой смысл. Стремление к постыдной цели со времен Адама... У каждой человеческой жизни есть своя история и своя предыстория. В истории своей человек получил множество заповедей. Но в предыстории он получил только одну: плодиться и множиться. У Сережи как раз сейчас предыстория, трудный возраст. Какова предыстория, такова будет и история; во всяком случае, историю уж нелегко будет переписать, все заповеди придут слишком поздно..."

Сереже нравилось, что отец в разговорах с ним, когда случались такие разговоры, часто задумывался, как бы замолкал на полуслове. Это значило, что он бе-

седует с ним не как с мальчиком, а как с равным. Так Сереже казалось.

— Что от чего отделять, папа? — снова повторил свой вопрос Сережа. — Что с чем не соединять?

Иван Владимирович поднял глаза и посмотрел на сына. Он словно почувствовал себя обвиняемым, допрашиваемым сыном, которому был не в состоянии помочь, потому что не знал, как это сделать, будучи и сам беспомощен перед теми вопросами, что задавал ему Сережа, да к тому же еще будучи растравлен взглядом этих глаз, некогда принадлежавших женщине, принесшей ему столько горя и страданий... И вот теперь, через сына своего, через ребенка своего, эта женщина задает ему вопросы-обвинения! Иван Владимирович почувствовал себя виновным перед ними, но, чтоб эту вину публично не признавать, поступил так, как всегда поступают люди, не желающие признавать свою вину, но обладающие властью и силой.

— Вот что, дружище, — сказал Иван Владимирович уже другим, жестким и властным тоном, — видно, напрасно я пытался тебя убедить добром, напрасно пустился с тобой в рассуждения, которые ты не понимаешь или не хочешь понимать. Тут моя вина. Я думал, что мой сын уже взрослый человек; в действительности же я имею дело с дурно воспитанным мальчишкой! Ты ведешь себя как не помнящий родства бродяга, как уличный хулиган...

“Однако что я говорю? — с испугом думал Иван Владимирович. — Ведь все разрушил, что возвел! Разве можно воспитывать сына на таких перепадах”, — но при этом говорил совсем иное, не в силах остановиться, и тот гнев, который он преодолел вначале, теперь им полностью овладел, так что в конечном итоге сбылось задуманное Мери Яковлевной.

— Вместо того чтоб понять мои слова, ты только задаешь мне нелепые вопросы!..

“Как он, однако, похож на свою мать, — мелькнула мысль. — Вот так же и она смотрела сухими глазами, когда я был несправедлив”.

— Учитывая все это, я беру свои слова назад. Из разговора я окончательно понял, что твои отношения с дочерью Мери Яковлевны стали принимать нехороший оттенок. И я тебе советую, точнее, я тебе приказываю их прекратить. Иначе я тебя выгоню вон из дома... Вон выгоню, негодяй! Не смей трогать мои медицинские книги, которые предназначены не для того, чтоб их читали глупые недоросли. Теперь я займусь твоим воспитанием, я займусь твоим чтением! Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты!.. Будешь читать Пушкина! — он встал, взял с полки один из пушкинских томиков и протянул Сереже. — Каждый день будешь читать у меня Пушкина, учить наизусть! И я буду выставлять тебе оценки не так, как в школе! Если ты плохо выучишь, я велю Настасье не кормить тебя... А теперь уходи, — и Иван Владимирович, чувствуя все свое тело словно избитым, упал в кресло, закрыв глаза и обессиленно запрокинув голову.

— Но что учить, папа? — тихо, нерешительно, подавленный этой внезапно произошедшей с отцом переменной, спросил Сережа.

Еще минуту-другую назад он чувствовал в отце близкого человека, к которому можно прийти, повиниться в своих поступках, вместе о них подумать, поразмыслить... Теперь же все внезапно переменялось: в кресле перед ним сидел чужой, злой человек, с которым к тому же надо было хитрить, потому что Сережа полностью от него зависел.

— Читай, что сам выберешь! — уж не так агрессивно сказал Иван Владимирович, продолжая сидеть неподвижно с закрытыми глазами.

Сереза с томиком Пушкина в руках вышел.

В Серезиных отношениях с Бэлочкой стихи и песенки тех лет были весьма важны, они волновали, они проникали в самое Серезино затаенное, не произносимое наяву, а разве что во сне. “Бритвою ты прикоснулся к губе, девушки снятся все чаще тебе...” – выучил он наизусть, а точнее, сам собой выучился понравившийся ему стишок Щипачева, популярного лирика. Только слово “девушки” Сереза заменял словом “Бэлочка”: “Бэлочка снится все чаще тебе”.

Бэлочка часто снилась Серезе. Сны были беспокойные, как бред во время сухого плеврита, которым Сереза болел в раннем детстве. Во сне Бэлочке часто грозила опасность, Сереза слышал крики, брань, угрозы. Проносились кошки, собаки, какие-то фантастические фигуры, преимущественно темные и мелкие. Однако в ночь после скандала с отцом он увидел Бэлочку, очень ярко окрашенную в разные цвета, как бы цветными стеклами, сквозь которые он, Сереза, смотрел. Потом он увидел Бэлочку в зеркале, как бы удваивающуюся, потому что Сереза смотрел на нее через призму. И все это сопровождалось песенкой “Бэлочка”. В те годы было множество лирико-сентиментальных песенок, которые волновали молодежь, песенок полуофициальных, неофициальных, которые можно было услышать на танцплощадке или из открытого окна городского ресторана. “Дымок от папиросы, дымок голубоватый...” “Мы с вами в парке встретились случайно...” Но для Серези, конечно же, лучшая была “Бэлочка”. “Бэлочка, пойми же ты меня, Бэлочка, не мучь меня. Бэлочка, мне грустно без тебя, ведь ты весна моя, радость моя”. В цветном, волшебном сне Сереза несся под эту сладостную волнующую песенку, несся и не мог остановиться, пока не начал осязать видимую в зеркале Бэлочку. И сразу горячая жи-

вая сила принялась в блаженстве истекать из Сережи. Хотелось, чтоб блаженство длилось вечно, но оно вдруг сменилось омерзением: нечто липкое, мокрое, подобно забравшимся под одеяло мокрицам, ползло по животу. От этого отвращения, внезапно сменившего блаженство, Сережа проснулся.

Был ранний рассвет, розовый отблеск ласково, успокаивающе мерцал из окна, и лежавший вниз лицом Сережа, повернувшись на спину, понял, что с ним произошло. Сердце его билось быстро, но вскоре начало успокаиваться, и радостные, утренние мысли о Бэлочке, казалось, полились из окна вместе с розовой зарей. “Румяной зарею покрылся восток”, — вспомнилось пушкинское из школьной хрестоматии. Пушкинский томик, который вручил отец, лежал рядом на стуле. Сережа перед сном пробовал его листать, но глаза слипались, он так и не выбрал, что выучить наизусть, как того требовал отец. Зная, каков отец в гневе, Сережа понимал, что тот сдержит слово и, если не выучит наизусть какой-либо пушкинский стих, велит Настасье не кормить его обедом. Поэтому Сережа обрадовался, когда розовое окно напомнило ему стишок Пушкина, который он учил еще в третьем классе и который читал на дне рождения в первый день его знакомства с Бэлочкой.

Румяной зарею
Покрылся восток,
В селе за рекою
Потух огонек.

Росой окропились
Цветы на полях,
Стада пробудились
На мягких лугах.

Сереза начал листать томик Пушкина, чтоб найти этот стишок, “Утро”, и проверить, правильно ли он его помнит, однако такого названия он найти не смог, сколько ни искал. Сереза нашел “Осеннее утро” — “Поднялся шум; свирелью полевой оглашено мое уединенье...” Нет, это было непонятно, скучно и учить это наизусть было никак невозможно. Сереза листал страницу за страницей, и вдруг мелькнуло знакомое: “Румяной зарею покрылся восток...” Но называлось у Пушкина это не “Утро”, как в детской хрестоматии, а “Вишня”, и было не в два четверостишья, а длинное, на три страницы. Дальше-то и начиналось то главное, что не вошло в детскую хрестоматию.

Туманы седые
Плывут к облакам,
Пастушки младые
Спешат к пастухам.

Молодая пастушка спешила на рынок, но по дороге залезла на дерево поесть вишен. Увидав спешащего к ней пастушка, не удержалась, упала, платьем зацепившись за сучок.

Сучок преломленный
За платье задел;
Пастух удивленный
Всю прелесть узрел.

Среди двух прелестных,
Белей снегу ног
На сгибах чудесных
Пастух то зреть мог,

Что скрыто до время
У всех милых дам,

Фридрих Горенштейн

За что из Эдема
Был изгнан Адам.

Стишок прочитался легко и выучился быстро. Когда Иван Владимирович вернулся к обеду из больницы, Сережа тотчас вошел к нему в кабинет, объявил, что готов читать выученное, и прочел с неподвижным лицом, старательно, но глазами при этом поблескивал.

Прельщенный красою,
Младой пастушок
Горячей рукою
Коснулся до ног.

И вмиг зарезвился
Амур в их ногах;
Пастух очутился
На полных грудях.

И вишню румяну
В соку раздавил,
И соком багряным
Траву окропил.

“Как они, однако, хитры в этом переходном возрасте полового созревания!.. Этот мальчишка сумел и Пушкина взять к себе в заговорщики против меня и против тех, кто из лучших побуждений превратил эротические стихи Пушкина в невинный хрестоматийный детский стишок-пейзажик. И глаза, глаза... Так же и она смотрела во время наших примирений. Смотрела и лгала. Нет, мне еще предстоит с Сережей много хлопот и, может быть, много бед... Как его убедить? Может, заплакать, опуститься перед ним на колени, как уже случилось раз у меня с его матерью, опустить-

ся на колени и умоляюще повторяют: «Ну пойми меня, ну пойми...» Нет, все бесполезно».

— Иди, дружище, к себе, — сказал Иван Владимирович Сереже мягко и ласково. — Сейчас я приду, и мы сядем обедать.

“Я остался при своем, а он остался при своем, — глядя вслед уходящему Сереже, подумал Иван Владимирович. — Все-таки трудно без женщины, без жены воспитывать сына. Сколько еще будет неприятностей!”

Грядущими бедами были переполнены и мысли Мери Яковлевны, пребывавшей к тому же в нервном состоянии из-за женских своих заболеваний, впрочем, приходящих в норму благодаря лечению у нового гинеколога Сатановского. Но если последствия прежнего, как она считала, неудачного лечения у Ивана Владимировича преодолевались, то последствия многолетней, необдуманно допущенной дружбы Бэлочки с Сережей преодолеть не удалось.

Она знала, что Бэлочка продолжает встречаться с Сережей вне дома, она в этом не сомневалась, потому что помнила, как сама встречалась с Бэлочкиным отцом вопреки запрету родителей, считавших Григория комсомольским голодранцем. Правда, ей тогда было не четырнадцать с половиной, как Бэлочке, а шестнадцать с половиной. В семнадцать она забеременела и даже помнит, при каких обстоятельствах: в лесу на коврике.

Так свободно, несколько даже потеряв контроль над своими мыслями, думала Мери Яковлевна, сидя у трехстворчатого зеркала, накладывая крем от веснушек “Луч”, а затем припудривая лицо пудрой “Южная”. “Трудно, трудно воспитывать дочь без мужчины, без отца... Просто руки опускаются! Ни угрозы, ни подарки — ничего не действует. Кажется, она думает лишь

об одном и повсюду, во всем находит эротическую окраску. Наглые глаза, резкие движения... Безусловно, я виновата, что у нее столь болезненное отношение к половому вопросу. Я еще молода, и у меня нет сил отказаться от личной интимной жизни. И это, в конце концов, так же естественно, как есть, пить и дышать. Я еще молода, а Бэлочка уже подросток, и нет в доме отца, постоянного мужчины, поэтому Бэлочка последнее время относится ко мне не как к матери, а как к надоевшей подружке... Да, многое в ее поведении естественно и, к сожалению, неизбежно. Надо быть с ней поласковой, она требует теперь особого внимания, чтоб преодолеть все эти недифференцированные эмоции, все эти болезненные комплексы. Надо попытаться отнять у нее нездоровый интерес к половому вопросу, придать ему естественное значение природного закона..."

Мери Яковлевна прислушалась. Бэлочка, недавно и сильно запоздав, вернувшись из школы и объяснившая свое опоздание сбивчиво и явно неправдиво, сидела теперь у себя в комнате, и через приоткрытую дверь, поскольку Мери Яковлевна запирается ей запретила, было слышно, как она шелестит бумагами.

Бэлочка знала, что мать следит за ней, может, даже обыскивает комнату в ее отсутствие, и потому брошюрку, найденную накануне, прятала под матрас. Брошюрку эту Бэлочка нашла в ящике, стоящем в темном коридоре, в углублении за вешалкой, там, где когда-то, давным-давно, в детстве, Бэлочка и Сережа впервые поцеловались.

Связки старых газет и журналов, которые по-прежнему накапливались у вешалки, в конце концов сдавались сборщику утильсырья. Но ящик со всякими давно не нужными вещами продолжал храниться. Были здесь всевозможные мелкие предметы прежней, уста-

ревшей роскоши — люксус, части мужской и женской одежды: галстуки, платочки, перчатки, два веера, брошки, запонки, серьги, коробочки, рамки. Все это — из разнообразных материалов: кости слоновой и простой, морской пенки, перламутра, черепахи, янтаря, целлюлоида, китового уса, дерева, бронзы, папье-маше, тканей, кожи...

Бэлочка любила время от времени копаться в этом ящике: то янтарные серьги вытащит, то серебряную потемневшую брошь... И вот накануне, на самом дне ящика, она под кучей хлама нашла вдруг пожелтевшую брошюрку, о которой и сама Мери Яковлевна давно забыла, иначе изъяла бы ее непременно. Брошюрка называлась “Презервативы и гондоны — ассортимент и правила пользования”. На титульном листе ее изображен был господин во фраке с завитыми кверху усами. Рядом с ним — дама с высоченной прической, в длинном, старомодном приталенном платье с кружевами на воротнике и рукавах, плотно обтягивающих внизу руки, но вверху раздувавшихся пышно, фонарями. Тут же было двое детей — мальчик в матросском костюмчике и девочка в платьице, отделанном кружевами. Все одинаково улыбались. На титульном листе, под улыбающейся семьей была надпись: “Имейте мало детей и обеспечьте им счастливую жизнь”. Брошюрка была с картинками, от которых у Бэлочки дух захватывало. Дыхание учащалось и сердце колотилось торопливо, спешно... Спешило к Сереже. Бэлочкино сердце всегда спешило только к Сереже, туда же, куда спешила и сама Бэлочка. Но встречи их стали теперь неудобны среди зимней стужи и холода в чужих подъездах, где постоянно приходилось сохранять заячью чуткость во время поцелуев и объятий, или на дальних безлюдных улицах, где целоваться приходилось озябшими твердыми губами. Поэтому то, что

Бэлочка задумала — а она уже некоторое время тому кое-что задумала, хотя пока еще не поделилась своим замыслом с Сережей, — то, что она задумала, ею решено было перенести во времена теплые, в весенне-летний сезон, когда это возможно было бы осуществить где-либо на удачно подобранном чердаке или даже на траве под кустом. Потому что Бэлочка задумала отдать Сереже, что, помимо наслаждения, которого она желала, предвидела, о котором мечтала, — помимо наслаждения давало еще возможность им стать как бы мужем и женой, поборов тем самым все препятствия и попытки их разлучить.

Однако больше всего Бэлочка боялась забеременеть, как забеременела Лариса Бизева, и потому, обнаружив старинную брошюрку, помимо удовольствия от разглядывания волнующих картинок, Бэлочка рассчитывала еще вычитать, как обезопасить себя от этого.

Картинки сопровождались надписями. Под изображением какой-то кишки сообщалось, например, что это первый презерватив шестнадцатого века из тонкой козьей кожи. Начало кишки оплетено было ленточкой, которой этот презерватив крепился. Однако за исторической картинкой следовали современные. Возле одной была надпись: “Маленькая тайна оргазма. Партнер и партнерша достигают высшего пункта”. Возле другой: “Для абсолютно новых ощущений и для усиленного телесного контакта”. Были надписи и попроще: “Натуральный контакт. Сухой”. Конец брошюры заполняли отзывы покупателей. “С тех пор как я начал пользоваться гондонами вашей фирмы, жизнь кажется мне сладким сном, полным чудес и чарующей силы. Фадей Фадеевич Козлов, магистр математики. Петербург”. “Срочно прошу прислать новую партию ваших презервативов. Прежняя партия

произвела на меня самое благоприятное впечатление. Эмиль Адольфович фон Ритах. Военный врач. Рига”.

Бэлочка только на минутку достала теперь брошюрку из-под матраса, чтоб проверить, на месте ли она, ибо подробней намеревалась посмотреть ее в читальном зале детской библиотеки. Когда в читальном зале мало посетителей, эту брошюрку вполне можно рассмотреть вместе с Сережей, прикрыв ее связкой “Пионерской правды” или журналом “Вожатый”. Достала на минутку, но увлеклась и... О ужас! Мери Яковлевна снова застала ее за недозволенным чтением, на этот раз, правда, одну.

Ужас был взаимным. Бэлочка сидела съезжившись, закрыв глаза руками, чтоб не видеть лица матери, мокрого от слез, покрытого красными пятнами, со злыми, дергающимися губами. Если б Мери Яковлевна, как всегда, бранила ее, это б еще было не страшно, но на этот раз у матери, видимо, так накипело, что она только плакала и стонала. Бэлочка испугалась, расплакалась и дала честное пионерское никогда не читать ничего подобного и вообще измениться, стать такой, как хочет мама. Бэлочка говорила много приятных Мери Яковлевне слов, давала клятвы и прочее, ибо она боялась, что Мери Яковлевна приведет в жизнь свою угрозу, которую однажды во время ссоры в отчаянье высказала: отравиться или повеситься.

— Ты уже клялась, ты уже обещала, я это уже слышала, — глухим, хриплым от слез и горя голосом говорила Мери Яковлевна в ответ на слезы и клятвы Бэлочки.

Повернувшись, Мери Яковлевна ушла в ванную и заперлась там. Испуганная Бэлочка, вообразив, что мама решила утопиться или повеситься на бельевой веревке, стояла перед дверьми, клянчила, просила, умоляла поверить ей в последний раз и даже сама себе

верила, что изменится, откажется совершить с Сережей то, что задумала. Мери Яковлевна на ее просьбы и клятвы не отвечала, но постепенно Бэлочка сквозь шум воды стала различать звуки, свидетельствующие, что Мери Яковлевна не топится, а просто моется. Брошюрку, конфискованную у Бэлочки, она, кстати, забрала с собой, и Бэлочке показалось, что мама в ванной сама рассматривает те самые картинки. Тогда Бэлочка вернулась к себе в комнату и начала вновь думать о том, что непременно совершит с Сережей, и о том, что в ближайшие дни скажет ему это. Ее лихорадило, болели голова и живот, она легла на койку, поджав под себя ноги, согнутые в коленях.

Меж тем Мери Яковлевна, выйдя из ванной в своем мохнатом голубом халате успокоенной и порозовевшей, с влажными еще волосами, думала о Бэлочке уже по-иному, с раскаянием, с упреками себе. “В ее возрасте, — думала Мери Яковлевна, — индивидуальные ассоциации преобладают над общими, и внушение ребенку отдельных нравственных принципов должно быть связано с его общим самочувствием. Бэлочкино психическое состояние зависит от состояния физического. Уговоры, ласки, а тем паче наказания бьют мимо цели. Бэлочке необходима перемена обстановки, хороший отдых в Крыму, на Кавказе или пароходом вниз по Волге, как предлагал Ефрем Петрович. Я увлеклась своим и так мало уделяю ей внимания. Она читает неподозволенные, вредные книги, потому что я перестала следить за подбором ее книг, как делала это в детстве, когда любимыми ее книгами были «Мужик и огурцы» Льва Толстого и «Жизнь и приключения белочки Чок-Чок», а не книжки о презервативах или о строении половых органов. Хорошо еще, что она не добралась к тем французским переводным романам, которые хранятся у меня в спальне”. Один из романов называл-

ся “Розовые ногти”, второй — “Чего не должна знать девственница”, из которого в молодости Мери и почерпнула как раз те сведения, которые ей как девственнице были особенно интересны. Времена, однако, переменились. Она не знала, что Бэлочка давно уже добралась до этих книг и пробовала их читать, но они показались ей скучными и непонятными.

“Конечно, Бэлочка выросла, — думала Мери Яковлевна, — ей нужны теперь не те книжки, что в детстве. Прежде всего Пушкин. «Я Вас люблю, чего же боле, что я могу еще сказать...» Разумеется, подростку еще недоступны утонченные описания красот природы или психология человеческих чувств, но общая фабула классического художественного произведения уже доступна”.

— Чок-Чок, — позвала Мери Яковлевна, — где ты?

— У меня болит голова, мама, — отозвалась Бэлочка из своей комнаты, — и живот.

Встревоженная Мери Яковлевна вошла к Бэлочке и по лихорадочному блеску ее глаз поняла, в чем дело.

— У тебя?..

— Да, мама. Сильно течет... И из десен тоже.

К счастью, гинеколог Сатановский, которому Мери Яковлевна не так давно показала Бэлочку, предупредил, что в период полового созревания такие усиленные кровотечения при чрезмерной нервной и физической нагрузке нередки. Не только маточные, но одновременно бывает из носа, из десен, даже из легких. Все это сопровождается усиленным сердцебиением, головной болью и болью в животе. “Однако в панику впадать не следует, если подобное и случается. Прежде всего нужен покой, а также то-то, то-то и то-то...”.

Поэтому Мери Яковлевна быстро раздела Бэлочку, повела ее в ванну, потом нагрела молоко с медом

и приняла прочие меры, которые рекомендовал гинеколог Сатановский. Когда успокоенная, умытая, напоянная горячим молоком Бэлочка лежала в постели, Мери Яковлевна присела рядом и, обняв поверх одеяла, сказала тихо.

— Мы, Чок-Чок, обе погорячились, но ты должна помнить, что твоя мама всегда тебя любит и всегда думает о твоём благе.

— Да, — прошептала в ответ Бэлочка, нежась на свежих простынях, — я тебя тоже люблю.

— Я надеюсь, ты выполнишь свои обещания, которые дала мне. Я тоже виновата в том, что происходит с тобой. Но отныне все переменится. Я буду уделять тебе больше внимания, а летом мы поедем с тобой в Крым или вниз по Волге.

“Летом, — с блаженством думала Бэлочка о своем, — летом, когда потеплеет...”

От Мери Яковлевны сладко, возбуждающе пахло пудрой и остро, уксусно — кремом. Это был крем “Рашель”, которым она смазала лицо после ванны, поскольку частое употребление крема “Луч” сушит кожу и может привести к раннему появлению морщин.

— Постарайся уснуть, — сказала Мери Яковлевна, целуя Бэлочку в лоб. — Завтра ты, разумеется, в школу не пойдешь, завтра поспишь подольше.

“Летом, когда потеплеет”, — засыпая, с блаженством думала Бэлочка.

Вечером у Мери Яковлевны были гости. Слышно было, как гости говорили, стучали стульями, звенели посудой и громко, заглушая все остальные звуки, хохотал Ефрем Петрович. Послышались аккорды фортепиано, Мери Яковлевна запела “Дождя отшумевшего капли...” Потом голос матери зазвучал глухо, и состоял он уже не из слов, а из шумов. Из шумов возникло слово “Сережа”.

— Сережа, — позвала Бэлочка.

— Бэлочка, — тихо, шепотом отозвался Сережа, — Чок-Чок. — Но тотчас же Сережин голос заорал ужасно громко: — Бэлочка! Чок-Чок! — голос был то в отдалении, то у самого уха.

Вначале Сережи не было видно, но потом он показался. Очень, однако, маленький, как игрушечный. Вдруг раздался резкий звук, точно кто-то сильно хлопнул в ладоши, отчего Сережа исчез, как мышка.

“Гости ушли, — просыпаясь и глядя в темное, ночное окно, поняла Бэлочка, — дверь хлопнула”.

Блестела в окно звезда. Тело было легким, подвижным, летело. Бэлочка видела, как вошла Мери Яковлевна в длинной до пола шелковой рубаше, положила ладонь на Бэлочкин лоб и снова вышла на цыпочках, прикрыв дверь. Стало тихо, и Бэлочка уснула уже без снов и видений, но потом снова проснулась от того же сильного хлопка в ладоши. “Опять кто-то ушел”, — поняла Бэлочка. В третий раз проснувшись уже окончательно, Бэлочка увидела ослепительно яркое от солнца окно, откуда лились потоки света — бодрящие, успокаивающие. Ни живот, ни голова больше не болели. Она отбросила одеяло, опустила босые ноги на небольшой прямоугольный коврик буро-красного цвета, лежавший у кровати.

Ковров в квартире Мери Яковлевны было много.

— Как в восточном доме, — шутил Иван Владимирович. — Оттого, Мери, воздух у тебя в комнатах всегда пересушен, и это дурно влияет на легкие, особенно детей.

Ивана Владимировича давно уже не было в этом доме, а ковры оставались. Ковры висели на стенах и лежали на полу, прикрывали диван в большой комнате и тахту в спальне. Впрочем, ковры были недорогие, с примесью бумаги. Но зато в спальне у Мери

Яковлевны лежал огромный ковер с густым ворсом. Изображены на нем были цветочные гирлянды и птицы — белые, светло-голубые, зеленые на синем поле. Бэлочка любила ложиться на этот ковер, особенно когда оставалась дома одна.

В то утро, встав после болезненной ночи здоровой, Бэлочка прошлась в ночной рубашке по пустой, дурно проветренной, так как мать, видимо, спешила, квартире. На кухне была груда немытой посуды, запахи рыбных консервов, вина и коньяка. Несколько пустых бутылок стояли на кухонном столе рядом с остатками яблочного пирога. Бэлочка взяла кусок яблочного пирога и, жуя, прошла в спальню матери, чтоб полежать на любимом ковре. Постель Мери Яковлевны была не убрана, смята, ибо Мери Яковлевна действительно опаздывала на лекцию для аспирантов, которая называлась “Альтруистические эмоции в период первоначального формирования мировосприятия у детей”.

Войдя в спальню Мери Яковлевны и обнаружив в ней беспорядок, Бэлочка под влиянием хорошего своего самочувствия, солнечного утра и многого иного, непередаваемого захотела сделать матери приятное, чтоб Мери Яковлевна вернулась после лекции в чистую, хорошо проветренную квартиру. Она подошла прежде всего привести в порядок смятую постель, наклонилась и вдруг в самом углу, там, где ковер примыкал к постели, увидела нечто небольшое из резины телесного цвета. Двумя пальчиками Бэлочка подняла с ковра телесную влажную кишку, от которой пахло так же остро, как вчера от матери, употребляющей для лица крем “Рашель”. “Презерватив, — узнала Бэлочка, — а когда дверь хлопнула на рассвете, это Ефрем Петрович ушел”. Бэлочка легла на смятую постель матери и подумала с радостью: “Завтра же скажу Сере-

же все, что решила. Завтра, когда пойдем на каток". А презерватив Бэлочка вновь бережно уложила на ковер в том месте, где он лежал.

Вернувшись домой после лекции, Мери Яковлевна застала дочь в своей постели. После вчерашних строгостей по отношению к дочери, а особенно после бурной ночи, которую Мери Яковлевна себе позволила, она чувствовала вину перед Бэлочкой, а то, что Бэлочка лежит не в своей, а в ее постели, приняла за тоску по материнской ласке. Усевшись на край смятой постели, растроганная Мери Яковлевна начала поглаживать дочь по голове и плечам, целуя ее то в шею, то в щеку, но взгляд ее вдруг, невольно последовавший за Бэлочкиным взглядом, обратился на ковер и лицо стало ярко-пунцовым.

— Иди к себе, — сказала она Бэлочке жестким и сердитым голосом.

— Отчего же, мама? Я так по тебе соскучилась!

— Я запрещаю тебе ложиться в мою постель!

— Отчего же? Раньше ты всегда разрешала.

— Иди к себе, мерзкая, — не в силах сдержать себя от волнения и стыда, крикнула Мери Яковлевна, грубо схватила Бэлочку за плечо и, крепко сжимая его пальцами, отвела Бэлочку в ее комнату и заперла на ключ. Но ключ не оставила в замочной скважине, а второпях забрала с собой, и потому Бэлочка видела, как Мери Яковлевна вынесла из своей спальни завернутый в розовую салфетку презерватив, вошла с ним в туалет и послышался шум воды в унитазе. Странное, мстительное чувство, жестокое чувство испытывала Бэлочка к своей матери, следя за ее стыдом и растерянностью. "Завтра же скажу Сереже", — думала с мстительной радостью, точно между тем, что она завтра скажет Сереже, и тем, что происходило сейчас, была какая-то неясная, но прямая связь.

И когда белым днем утомленные и разгоряченные Бэлочка и Сережа шли с катка, она решила: “Сейчас скажу”.

На реке уже шумел ветер и мелькал колючий снег, вкруговую несясь к земле и от земли назад к небу, но в березовой роще, которой они шли, царила еще тишина, а снег плотно лежал под ногами.

— Сережа, ты будешь любить меня всю жизнь? — спросила Бэлочка, когда они остановились под большим дубом. В березовой роще росло несколько таких дубов — морщинистых, мощных стариков, похожих у своего подножия на гигантские слоновьи ноги.

— Я буду любить тебя всегда, — ответил Сережа, обняв Бэлочку за плечи и по-бараньи прижав свой лоб к ее лбу, так что теплый пар, исходящий из их ртов, смешивался.

— Сережа, мы должны как можно скорей стать близкими людьми.

— Но разве мы не близкие люди?

— Нет, мы должны стать... как муж и жена! — и подняла голову, отчего темные ее волосы, уже не перевязанные, как в детстве, цветной ленточкой, а по-взрослому скрепленные заколкой, рассыпались по плечам. Голубые глаза ее ясно говорили, объясняли, досказывали неясное.

— Я согласен, Чок-Чок, я согласен, — ответил Сережа звенящим голосом, почувствовав сильное давление и стеснение в сердце. Бэлочкино лицо, снежные деревья — все стало приятно неустойчивым.

Ложась спать в тот вечер, Сережа по-прежнему пребывал в болезненно-веселом настроении, которое установилось в нем после слов Бэлочки. Ночь была светла и горяча. Сережа лег, укрывшись лишь простыней, но затем сбросил и простыню, лежал обнаженный у морозного окна, за которым блистала малень-

кая веселая луна. То, что должно было случиться между ним и Бэлочкой, казалось трудно вообразимым. Так трудно вообразимо для верующих то блаженство, которое они должны испытать в раю. Сережа непрерывно пытался себе представить, как это должно случиться и что он при этом будет видеть и чувствовать, но всякий раз запутывался, терялся в полусне, и то, что должно было случиться, становилось похоже на растение. У него был корень, вставший в землю, у него были ветви, листья, цветы, плоды. Однако едва становилось понятно, каким образом все должно было случиться, как Сережу будил звонок, который был виден в подробностях. Чья-то рука тянула за ручку звонка, проволока наклонялась, рычаг тянул другую часть проволоки, связанной с колокольчиком, колокольчик звенел, Сережа просыпался и опять видел растение, ничего не объяснявшее, а лишь волнующе намекавшее.

Когда же наконец Сережа проснулся окончательно, то не было уж ни звонка, ни растения, ни маленькой веселой луны в окне. Но вчерашнее болезненно-веселое настроение осталось, не покидая его все те дни, недели, месяцы блаженного ожидания, пока не настал наконец тот день, когда и должно было свершиться задуманное.

3

Надо сказать, задуманное не только радовало, но и пугало, как пугает все желаемое и неизведанное. Все просто и легко, когда дразнит и манит общее любопытство, а меж Сережей и Бэлочкой было не любопытство, было сильное желание, сильная тяга друг к другу, накопленная годами недетской сердечной дружбы. У Сережи были моменты, когда желание становилось столь сильным, что проникало уже из тела в кости, в позвоночник, словно столбеневающий от напряжения. И в то же время чувствовалась какая-то угроза для них обоих, таких, какими они были прежде, какая-то опасность, от этого напряжения исходящая. Временами Сереже хотелось, чтоб все уже минуло, все уже было преодолено и они вновь смогли бы вернуться к тому, что связывало их до задуманного. Но и к самому острому, самому необычному душевному состоянию можно привыкнуть, можно с ним сжиться, можно его обытовить, если оно длительно. Казалось, ожиданию задуманного не будет конца, и Сережа к этому ожиданию привык, и Сереже такое ожидание нравилось. Поэтому, когда Бэлочка наконец сказала: “Через три дня”, – это Сережу крайне взволновало и испугало.

Кажется, и сама Бэлочка, говоря это, была беспокойна и, Сереже почудилось, посмотрела на него с вызовом, точно через три дня между ними ожидался острый спор, опасная борьба.

— Я на три дня уезжаю, — объяснила Бэлочка, — уезжаю с мамой и Ефремом Петровичем в лесной санаторий. Но приеду раньше, они еще там останутся. Я придумала... не важно что! Мама мне поверила.

Мери Яковлевна дочери, конечно же, не поверила, просто поняла, что сопротивляться тому напряжению, которое давно уж замечала в Бэлочкиных глазах, бесполезно. При этом она, однако, надеялась на Бэлочкино благоразумие и на Бэлочкин девичий страх, который не позволит ей зайти слишком далеко, обречь себя на стыд и на боль, как это случилось с Ларисой Бизевой, родившей урода в пятнадцать лет, ставшей больной и неспособной в дальнейшем иметь детей, обреченной всю жизнь быть несчастливой.

Рассказы об этой Ларисе, умышленно раздуваемые и приукрашиваемые Мери Яковлевной, Бэлочку, безусловно, пугали. Однако ведь Лариса отдалась из любопытства какому-то пожилому тридцатилетнему цыгану; она же, Бэлочка, хочет это сделать со своим Сережей, а против беременности у нее спрятаны под матрасом два презерватива, выкраденные из тумбочки у Мери Яковлевны. Для большей гарантии Мери Яковлевна поселила на квартире на время своего отсутствия Надю, приходящую домработницу, дав ей соответствующие инструкции. Но у Бэлочки и здесь было все предусмотрено. Она знала, что у Нади есть какой-то солдат, к которому та часто уходит, и к тому ж она надеялась Надю подкупить, сэкономив часть денег, которые ей дала Мери Яковлевна на кино и мороженое.

— Ты меня жди эти три дня, Сережа, — сказала Бэлочка, прощаясь с ним перед отъездом. — Будешь ждать?

— Буду, буду, Чок-Чок, — ответил Сережа.

Они обнялись, как обнимаются близкие, родные люди перед долгой разлукой. Бэлочка заплакала, и Сережа вдруг заплакал вслед за ней, совсем по-девичьи, не стесняясь слез.

Первый день ожидания был голубой, и Сережа провел его в покое у Бобрового прудика. Желтогрудая птичка с длинным клювом сидела на торчащей из воды мертвой ветке, ожидая добычу. Она камнем падала в воду, раздавался плеск, пугавший Сережины мысли, и те, подобно тонконогим водяным паучкам, разбегались врассыпную по зеркальной водяной глади. От падения птички колыхались на воде лилии. Вынырнув с красноперой, золотистой рыбкой в клюве, птичка улетела недалеко, и, поскольку день был теплый, ясный, Сережа видел, как она скрывалась в норке, в темном отверстии на желтом глинистом обрыве, где у нее, очевидно, были птенцы. Воцарялся покой, счастливое безлюдье, и бесшумные Сережины мысли-мечты о Бэлочке собирались воедино, как водомерки, сбегавшиеся бесшумно со всех сторон. В движении ведь всегда утомляют звуки, его сопровождающие. Теперь же вокруг была полная тишина, тихое поглощение Сережей мира и миром Сережи. Но опять прилетала желтогрудая птичка, опять мертво садилась на мертвую ветку и ждала, караулила добычу...

Словно во сне минул для Сережи первый голубой день ожидания, и дневной этот сон сменился ночным бодрствованием. Ночь двигалась медленно, подаваясь со скрипом, сантиметр за сантиметром, минута за минутой. Неподвижная тяжесть ночи утомляла, как утомляет неподвижная тяжесть непосильного, боль-

шого предмета, который пытаешься сдвинуть. Потрудившись и утомившись. Сережа расслабился, забылся, признал себя бессильным перед тяжестью ночи и проснулся, когда ночь укатила сама, а в окне горело желто-жаркое солнце.

Иван Владимирович в белой, растегнутой на груди рубаше и в круглой соломенной шляпе, видно, недавно вошедший с жаркой улицы, смотрел на Сережу и улыбался.

— Ты во сне стонал и кричал, — сказал он. — Точно камни ворочал! Лишь под утро успокоился. Пережарился на солнце, что ли?

— Пережарился, — согласился с отцом Сережа.

— Да, день и сегодня жаркий, — сказал отец. — Хочешь вишень? Настасья с рынка вишень принесла... Освежает.

Настасья внесла глубокую тарелку влажных крупных вишень и сказала:

— Родителява вишня, сорт такой. Родителява, кисло-сладкая, приятная.

Поев вишень, действительно освежавших, и наскоро позавтракав, Сережа вышел во второй свой день ожидания, понятного только ему и Бэлочке, находившейся ныне в отдалении и, так же как он, окруженной людьми, живущими по какому-то совсем иному, чем они оба, летоисчислению.

У Сережи и Бэлочки был общий календарь, состоящий из трех листков. На этом календаре первый, голубой листок был оборван, сейчас предстояло оборвать второй листок — желтый, потому что день был желтым от солнечного зноя. Сережа ушел из дома, не зная, где проведет время, но зная лишь, что желтый день этот требует преодоления иного, чем вчера. Шел он долго, не думая о направлении, и очнулся у моста через реку. День был базарный, по мосту во множестве ехали на

рынок крестьянские телеги, деревянный настил моста был усеян сеном, навозом, и запах этот долго преследовал Сережу, пока не утих в хлебных полях, где его перебил запах железа и мазута. Громыхало. Желто-серые от пыли уборочные комбайны двигались среди сухого желтого шелеста. Под навесом возле железной бочки с водой толпились усталые, мокрые, словно искупавшиеся в собственном поту люди, пили шумно, выплескивая остатки воды на себя, отчего одежду их окутывал пар. И Сереже захотелось так же, трудовой усталостью, преодолеть этот желтый день. Поэтому, когда какой-то мужчина крикнул Сереже:

— Эй, малый, где ты ходил? Бочка уж наполовину пустая, — Сережа молча взял ведро и пошел с ним к дальнему колодцу.

Пустое ведро гремело, полное наваливалось на плечо, желтое солнце светило то справа, то слева. Сережа сделал пять ходок, и с каждой ходкой желтый день все убывал.

— Сядь, передохни, — сказала Сереже какая-то женщина, потом пригляделась и спросила удивленно: — Разве тебе сюда наряд выписали? Санька, ты где? Эй, Санька!

Из-под кустов, из прохлады появился, посмеиваясь, парень года на три старше Сережи, блеснул в сторону Сережи глазами, свистнул, плюнул и, взяв ведро, неторопливо поплелся к колодцу.

Впрочем, для Сережи и пяти ходок вполне хватило, чтоб осуществить свой замысел по преодолению желтого дня. С непривычки и от излишнего усердия он едва передвигал ногами и от хлебных полей шел к мосту вдвое дольше, чем от моста к хлебным полям.

Так минул желтый день и наступил последний, зеленый, ибо Сережа решил провести его в огородах и садах, среди поросших густой травой пригородных

лугов. Этот зеленый день был не так зноен и не так изнуряющ, время от времени свежий ветерок шелестел в кустарнике и чувствовалась близость реки, которая мелькала то там, то здесь сквозь поредевшие кусты. Сережа присел на траву, с удовольствием вытянул ноги. Было приятно так лежать — казалось, возвращается покой первого голубого дня на Бобровом прудике, — только ныло, болело натруженное вчера правое плечо. Он лег поудобней, плечо стало ныть слабей, но тут, нарушая покой, запел вдруг недалекий волнуемый женский голос. Поначалу это казалось песней, однако затем в звуке ее голоса почувствовалось нечто иное, возбуждающее — тоска ли, радость ли, понять было нельзя, — и звук был однообразный, меняющий лишь тембр и высоту, то болезненный, то ликующий, то шепотом, то возрастая, поднимаясь, звеня, и опять тише, точно звал на помощь: “А-а-а... О-о-о...”

Сережа приподнялся, стал на колени и, угадав направление, откуда исходил звук, осторожно раздвинул кусты. Метрах в пяти от него Кашонок лежал на женщине. Сережа видел его большие шершавые ступни, из которых коряво росли пальцы, и ее маленькие розовые ступни, из которых росли аккуратненькие маленькие пальчики. Сережа смотрел застывшими, оцепенелыми глазами на эти вперемешку лежащие, спутанные куски тел: мускулистые загорелые икры, белую руку, украшенную браслетами, широкую загорелую спину, оканчивающуюся белизной в форме плавок на округлостях, и под этими округлостями Кашонка мелькало как бы вывернутое наизнанку мокрое, красное мясо. У Сережи от подступившего отвращения стянуло живот, но зрачки его были словно припаяны, и он не мог отвести взгляд от этих перепутавшихся кусков мужского и женского, а особенно от мокрой красной мясистой раны.

— А-а-а... О-о-о!.. — песенно стоналось в разном тембре где-то за налитым мужским плечом, и вдруг из-за плеча показалось красное безумное женское лицо с открытым круглым ртом и закрытыми, как во сне, глазами. Приподнялось на мгновение и опять упало за плечо. Но этого мгновения было достаточно, чтоб Сережина память, Сережино воображение, которое теперь было обострено, как и все в нем, сотворило из этого безумного, потерянного лица другое, красивое, неподвижное, ухоженное, недоступное никому, кроме мужа своего, полковника авиации, который был под стать жене своей — высокой, модно, столично одетой блондинке. Они шли посреди бульвара, подавляя всех и вся своим видом. Она поблескивала большой лакированной сумкой, а он — маленькой золотой звездой Героя Советского Союза. Все молчало вокруг, когда они шли, и лишь высокие каблочки ее белых летних туфель перестукивались, переговаривались с каблучками его офицерских сапог из хорошей кожи.

— Полковник Харохорин с женой, — услышал Сережа шепот с одной из скамеек, когда эти ритмичные переговоры туфелек и сапог затихли вдали.

“Неужели это возможно, — подумал Сережа, — та, спесивая, на бульваре и эта, подавленная, обезумевшая в кустах, — одна и та же?”

Окаменевшие мышцы устали, хотелось пошевелиться, глубже вздохнуть, еще более приглядеться к происходящему, чтоб разобраться, понять нечто его, Сережу, мучающее. Он подвинулся ближе, что-то зашелестело, что-то вдруг хрустнуло, и Кашонок мгновенно, как постоянно настороженный зверь, сорвался, распутал комбинацию своего тела с телом женщины, вскочил на крепкие ноги свои, свирепо, по-звериному бесстыдно повернулся, показав косо растущие на белом волосы, махнул — ужасающе, неправдоподоб-

но огромного размера — мужским отростком-бичом. Женщина, которую Кашонок, когда вскочил, открыл полностью Сережиному взгляду, также поднялась, села, качнула большими белыми грудями, блеснула синим камушком в ложбине меж грудей. Большого Сережа разглядеть не успел, побежав от Кашонка, все так же мелькавшего свободно свисающим огромным отростком, который он на ходу прятал под синие плавки, скомканно висевшие на правом бедре. Кашонок пытался на бегу растянуть их и застегнуть на левом бедре, попасть пуговицами в петли. И, пока он застегивал плавки, Сереже удалось оторваться от него на безопасное расстояние. Однако, справившись с плавками, Кашонок побежал широким спортивным шагом и начал настигать. “Искалечит, — в страхе думал Сережа, — искалечит, убьет!”

Вокруг было безлюдье загорода, лишь вдали мелькали среди огородов какие-то фигуры. “Надо бы крутануть”, — подумал Сережа, слыша за плечами дыхание Кашонка и с ужасом ожидая мгновения, когда чужие железные пальцы вцепятся в плечо. Сережа “крутанул”, ушел из-под толкнувших лишь, но не успевших сжаться пальцев и побежал назад к огородам. Кашонок что-то кричал, сначала издали, потом голос его начал приближаться и опять стало слышно его дыхание. “Не уйти”, — задыхаясь от усталости, с отчаяньем думал Сережа. Огороды, к которым он бежал, были пусты, лишь кое-где мелькали белые женские платочки. Впереди показался бревенчатый мостик через мутный ручей, постоянно текущий из городской бани. Этот мостик над банным ручьем, мокрый, скользкий, никогда не просыхал, даже в сильную жару; от ручья дурно пахло банным мылом и грязным бельем. “На мостике догонит”, — в страхе решил Сережа. Перед мостком Сережа зажмурился, присел, по инстинкту при-

гнул голову, а потом вдруг разогнулся, точно кто-то другой распрямил его и воткнул головой в потное, горячее, чужое тело. За спиной всхрипнуло по-лошадному. Сережа не оглядываясь побежал, балансируя по скользкому мостику, и лишь возле первых городских домов остановился. Кашонок силился подняться с земли, цепляясь руками за воздух. Наконец он встал, согнувшись, прижав руки к животу. “Ну, теперь уж в городе не показывайся, — подумал Сережа, — а на лодочную станцию или на пляж — тем более...”

События этого последнего, зеленого дня привели Сережу в состояние ненормальное. Вчерашние видения обрывками, кусками мелькали, когда он шел по Бэлочкиному переулку, когда он подходил к Бэлочкиному дому и когда он поднимался вверх по Бэлочкиной лестнице. “Неужели я и Бэлочка будем так же, как вчера Кашонок с той женщиной под кустами?.. Это сырое мясо...” — его передернуло. Вдруг на последней лестничной площадке мелькнуло: “Убежать! Повернуть назад, сказать больным...” Действительно, во рту было сухо, как во время болезни. Он долго стоял перед дверью, не решаясь звонить и борясь с ужасным желанием повернуть назад, сбежать по лестнице вниз, уйти, а там что-либо придумать, как-нибудь миновать то, что теперь предстояло, и потом опять встречаться с Бэлочкой, но без этого... “Без этого мяса”. Он так и не позвонил, потому что дверь открылась сама собой.

— Я тебя почувствовала, — сказала Бэлочка, появившись в проеме дверей.

Она стояла перед ним очень красивая и очень взрослая, даже как бы выше ростом; в первое мгновение ему показалось, что это не Бэлочка, а Мери Яковлевна. Бэлочка улыбалась густо накрашенным большим ртом, глаза ее были подведены, лицо припудрено и в ушах блистали камушки. Взяв Сережу за руку, она

потащила его на себя, втащила в переднюю, захлопнула дверь. И едва она обвила шею его руками и губами припала к губам, как все страхи и сомнения исчезли, Бэлочкин страстный порыв передался Сереже. Он обнял Бэлочку крепко, до хруста костей, однако меж поцелуями, задыхаясь, она повторяла шепотом:

– Сильней, сильней, сильней...

Едва захлопнулась дверь и они остались одни в квартире, как Бэлочка почему-то начала говорить шепотом, и Сережа, ей подчинившись, шепотом отвечал.

– Пойдем, – прошептала Бэлочка, – пойдем, – и поманила его за собой.

Они прошли мимо вешалки, где когда-то, много лет назад, впервые поцеловались, прошли столовую, и Сережа хотел было войти в Бэлочкину комнату, но Бэлочка поманила его дальше и привела в спальню Мери Яковлевны, где пол был застлан большим, мягким ворсистым ковром и стояла широкая, со свежим бельем постель. При виде этой постели у Сережи рывками застучало сердце и словно бы заложило грудь – так, что хотелось прокашляться. Дыхание его стало шумным

– Сейчас, Сережа, сейчас, – сказала Бэлочка.

Глянув на постель, она, точно вспомнив что-то, подбежала к комоду, стуча каблуками. На ней были туфли Мери Яковлевны, несколько ей великоватые, но делающие ее выше ростом.

Выдвинув один из ящиков, Бэлочка вынула сложенную вчетверо простыню, понесла и положила поверх застланной.

– Ведь будет кровь, – шепотом сказала она, глянув на Сережу своими близорукими темно-голубыми выпуклыми глазами, – будет кровь! – волнуяще, загадочно, то ли тревожно, то ли радостно повторила она и вдруг

запустила свои руки под белую юбочку и вытащила из-под этой белой юбочки розовые трусики, стащила их вниз по пухлым ножкам. Она подняла сперва одну ножку, потом другую и переступила через трусики, отдернула юбку, слегка задравшюся, и при этом мелькнула сухонькой складочкой, не мясной, тяжелой, а маленькой, как бы костяной. Сережа подумал, что так мелькало уж перед ним давно в детском садике, когда девочки садились на ночной горшок.

— Почему ты стоишь? — спросила Бэлочка, глянув на неподвижного Сережу. — Раздевайся... Сними штаны.

Дрожащими руками, лихорадочно, торопливо, точно его принуждали оружием, путаясь и цепляясь, гремя пряжкой пояса, Сережа начал стаскивать штаны, прыгая неловко на одной ноге, и вдруг упал. Бэлочка засмеялась.

— Ну, хорошо, — сказала, — я отвернусь... Трусы сними тоже и надень это, — она протянула ему пакетик. — Это презерватив... Я боюсь, Сережа! Если я забеременею, как Лариса, то повешусь, — сказала она, улыбнувшись и опять поглядев на Сережу, точно он убеждал ее в обратном, хотя Сережа с тех пор, как начал стаскивать штаны, не проронил ни слова. — Это очень просто и легко надевается, натяни туда... — Бэлочка засмеялась.

Отвернувшись, Сережа начал неумело натягивать телесную кишку, но она была велика, болталась.

— Сережа! — нетерпеливо позвала Бэлочка.

Он повернулся к ней. Она смело стояла перед ним совершенно голая, тело у нее было несколько полновато, на животике — жировые полоски; стояла, выставив вперед, навстречу Сереже, две аккуратные грудки с темно-красными, неразвитыми еще сосками и подборав под себя, спрятав под темный шелковый треугольничек складочку. Сережа как в забытьи шагнул к ней,

мелькнув на мгновение в зеркале и сам себя испугав своим диким, чужим видом. Подбежав к Бэлочке, Сережа неловко толкнул ее, и они оба упали на постель, поперек.

— Подожди, подожди, — шептала Бэлочка, — надо лечь по-другому.

Она ухватилась за спинку кровати, подтянулась на руках, легла посреди постели, и Сережа, вспомнив все, что он знал и представлял о том, что должно сейчас происходить, начал раскачиваться, напрягаясь в пояснице и ягодицах, но все попадая мимо складочки в мягкое — в пухлый животик, в пухлые ляжечки... Оба тяжело, шумно дышали, обоим было жарко.

— Нет, — сквозь зубы отзывалась Бэлочка на каждое его неметкое попадание, — нет... Пониже... Нет... — и вдруг взвыла, точно так же, как жена полковника Харохорина под кустами: — А-а-а... О-о-о... — и вывернулась набок, как от удара, но затем снова перекатившись на спину. — Еще, еще, — молила она незнакомым, певучим, чужим, напугавшим Сережу голосом и своими совсем почерневшими, утратившими голубизну глазами. — Еще, еще...

Однако Сережа, случайно попавший в сухую складочку и испытавший при этом гораздо меньше удовольствия, чем когда он попадал в пухлые ляжечки или мягкий животик, вторично никак не попадал. Во рту его уже был горький привкус, а тело стало скользким, в испарине.

— Еще, еще, — подгоняла, заставляла, требовала Бэлочка.

Бэлочка ли? Сережа глянул на ее лицо и не узнал — оно было чужим, искаженным, злым, неприятным.

— Сними эту гадость, — сердито, нервно крикнула Бэлочка и стащила с Сережиного вялого мужского отростка презерватив, больно при этом ущипнув, так

что Сережа невольно вскрикнул. Но Бэлочка безжалостно, не обращая внимания на его крик, вцепилась руками ему в плечи, как хватают во время борьбы или драки, необычайно сильно для такой девочки, снова причинив боль, и под влиянием этой возбуждающей боли, а также свободы от мешавшего, болтавшегося презерватива Сережа окреп, вновь начал усиленно раскачиваться, точно бороться с Бэлочкой, размахивая бедрами, попадая по мягкому, по мягкому, а потом раз, и другой, и третий – по твердому, по складочке, которая несколько подалась, несколько размякла.

– А-а-а... – закричала Бэлочка. – О-о-о... Еще, еще, – и вдруг кровь потекла на постель. – Кровь! – крикнула Бэлочка. – Кровь... А-а-а... О-о-о... Еще! Еще...

Но сил у Сережи больше не было, и через мгновение-другое Бэлочка поняла, что кровь течет из Сережиного носа. Совершенно обессиленный, лежал Сережа рядом с Бэлочкой, также изнеможенной, поблекшей, с мокрыми растрепанными волосами, с мокрым лицом, на котором видны были сырые пятна пудры, с размазанной по щекам губной помадой. Столь долго ожидаемое наслаждение, так давно задуманное счастье обмануло, не состоялось, и оба чувствовали себя точно обманутые друг другом, у обоих нарастало друг против друга раздражение, почти злоба.

Мир вокруг между тем вновь обрастал привычными деталями: опять светило солнце, опять ветер шелестел занавесками на окнах и все вещи знакомо расположились по своим местам. И оттого, что вокруг ничего не изменилось, оттого, что все вокруг проявило полное безразличие к случившемуся, Сережа испытал приступ такой обжигающей тоски, такого губительного отчаяния, что в тот момент ему искренне захотелось умереть, и смерть показалась счастьем. Наверное, то же чувствовала и Бэлочка. Взяв в охапку свою мятую

одежду, прижимая ладонь к носу, Сережа пошел в ванную, помыл лицо, смочил клочки ваты и заткнул левую ноздрю, поскольку из правой течь уже перестало. Когда он вышел, Бэлочка тоже была одета, расчесывала перед зеркалом растрепанные мокрые волосы. Не зная, что говорить, Сережа стоял, глядя, как Бэлочка причесывается. Наконец он сказал:

– Я пойду?

– Иди, – ответила Бэлочка, не оборачиваясь.

Они прежде никогда так не расставались, спина к спине.

Сережа шел по улице, как в тумане. “Умереть, – думал он, – убить себя, как Коля Борисов. Самопал можно взять у Афоньки...”

Он не помнил, как пришел домой. К счастью, отца дома не было, он был на дежурстве, а Настасья – натура грубая, однозначная – на Сережино заторможенное состояние внимания не обратила. Она подала ему обед, борщ да жаренку, которые он жадно съел, потому что от потраченных сил явилось вдруг жгучее чувство голода. Настасья, видя, как жадно он ест, подала еще. Он съел еще. Потом, утомленный, измученный, лег и уснул.

Иван Владимирович, вернувшись с дежурства, застал Сережу спящим в одежде. Решив, что тот где-то вновь путешествовал за городом и утомился, Иван Владимирович разбудил сына, осторожно коснувшись. Увидев отца, Сережа постарался спокойно улыбнуться, чтоб скрыть происшедшее и свою мысль о самоубийстве. Он покорно разделся, лег под одеяло и тут же вновь мертво уснул. Лишь на рассвете, когда Иван Владимирович проснулся по своей нужде, ему почудилось в спящем сыне что-то тревожное. Он тихо подошел, поправил одеяло, коснулся торчащих из-под одеяла Сережиных ступней. Ступни были холодны как лед. Не будя Настасью, Иван Владимирович

сам нагрел воду в кастрюле, налил в грелку и приложил к Сережиным ступням, а потом осторожно помог Сереже повернуться на спину, ибо спал Сережа на левом боку, сдавив левую часть грудной клетки и затрудняя этим работу сердца.

Утром, за завтраком, тревожно поглядывая на сына, но не решаясь впрямую спросить о том, что того мучает и что от него скрывают, Иван Владимирович попытался начать издалека и быть с Сережей поласковой, а если тот что-либо совершил неприятное, то Иван Владимирович заранее поклялся проявить терпение, простить и помочь.

— Ты, Сережа, неудачно спал на левом боку, — сказал Иван Владимирович, — так, дружище, нельзя. Сердце наше на нас трудолюбиво работает всю нашу жизнь, и мы должны ему помогать, а не мешать. Знаешь ли, дружище, как хитро устроено наше сердце? — Иван Владимирович в два укуса доел свой бутерброд, запил остатками кофе, вытер рот и руки салфеткой. — Представь себе, дружище, как работает наше сердце. Вот моя рука, а вот это мой пиджачный карман. Если мы ведем руку от донышка пиджачного кармана, то есть снизу вверх, — Иван Владимирович встал и повел свою руку снизу, — вот так, то только приглаживаем карман. Но если проводим руку над карманом сверху вниз, — Иван Владимирович повел руку сверху, — то рука неминуемо попадает в карман. Подобным же образом, дружище, когда кровь течет из сердечного желудочка в артерию, она только приглаживает карман артериального клапана; когда же течет из артерии в сердечный желудочек, то попадает внутрь клапана...

“Кровь, — подумал Сережа, стараясь сохранить на лице своем интерес к рассказанному, — кровь... Самопал можно взять у Афоньки...”

У Сережи более не было никаких чувств, даже тоски и отчаяния не было, а один лишь расчет, как лучше свершить задуманное, и одна лишь хитрость, как лучше это задуманное скрыть.

– Значит, вниз – мимо кармана, а вверх – в карман, – сказал Сережа, чтоб показать, что рассказанное отцом его заинтересовало.

– Наоборот, дружище! Вниз – в карман, то есть кровь попадает в артериальный клапан.

“Кровь, кровь, – думал Сережа, – Бэлочка ждала крови... Но кровь текла у меня, из моего носа...” Он вдруг засмеялся нервно, звонко, как не смеялся никогда.

– Разве я что-либо смешное сказал? – Иван Владимирович тревожно посмотрел на сына.

– Да, папа... Вверх, вниз!.. Кровь сверху вниз на постель...

Его вдруг затошнило, стало противно и от съеденного им, и от стоящего на столе, захотелось что-нибудь выпить. Он торопливо встал из-за стола и прошел в свою комнату, осматриваясь по сторонам. На полке стояла большая бутылка чернил. Сережа схватил ее, откупорил и начал пить, запрокинув голову...

Позднее, когда Сережа уже лежал в постели, когда ему был сделан успокоительный укол и он засыпал, ровно дыша, хоть и с бледным, покрытым красными пятнами лицом, невропатолог Першиц, срочно вызванный, тихо говорил в столовой Ивану Владимировичу:

– Все утрясется, коллега. Обычная истерия подростка. Наверное, сердечная драма. Возможно, и половые проблемы. Это отчасти и по вашей части. Ведь психика подростка близка к женской. Недаром *hystera* по-гречески – матка. То, что раньше считалось болезнью только зрелого женского организма и связыва-

лось с болезнью женского полового аппарата, теперь, увы, приходится распространять даже на зрелых мужчин. Тем более на подростков. Три-четыре дня, неделька – и он будет здоров... Пил чернила? Что ж, и уксус пьют, и мел едят, и песок едят от всякого рода подобных потрясений. Конечно, всякое бывает... Бывает и суицидомания...

– Вот это-то меня и пугает! У его матери тоже случилось подобное. Стремление к самоубийству.

– В данном случае – не думаю, коллега. Три-четыре дня, неделька – и все утрясется.

Действительно, через несколько дней Сережа был уж физически здоров, хотя мысль об афонькином самопале не оставляла его.

Мысль эта была глубоко упрятана, но Сережа ее постоянно чувствовал, словно гвоздь, вбитый по шляпку в темя.

4

Когда через несколько дней Сережа впервые вышел из дому, то ощущения от раннего утра были свежи, дышалось легко, но в то же время гвоздь в темени неотступно напоминал о себе.

При Сережином пробуждении светило солнце, однако, когда он вышел на улицу, солнечный свет померк, сначала время от времени еще вспыхивая, а затем прочно заглушенный низкими дождевыми тучами. В летний, пасмурный, теплый день обостряются запахи, яснее слышны птичьи крики и всюду, во всем — ожидание, во всем — переходное состояние, неустойчивость, неподвижность. Особенно это чувствуется в поле, где неподвижные колосья и высокая луговая трава, чувствуется в лесу, где неподвижные ветки деревьев ожидают дуновения ветра. Или у реки, где неподвижная гладь воды ожидает первой ряби, первых морщин, от которых еще сильнее закричат чайки и закачаются, гремя цепями, лодки. Сережа шел среди этого общего ожидания, сам таким же ожиданием переполненный.

У лодочной станции Афонька с Костей Кашонком возились на пристани, закрепляя парусиновый тент, видно, перед дождем. Едва глянув, Сережа вспомнил,

что с Кашонком лучше ему не встречаться. Однако Кашонок посмотрел на него без злобы и усмехнулся.

— Эй, ты, шницель, поди сюда. Я таких ребят люблю. Крепко он меня на калган тогда взял, — сказал Кашонок, повернувшись к Афоньке.

— Поди сюда, Сука, — ободряюще позвал и Афонька.

“Пойду, — решил Сережа. — Иначе где же взять самопал?”

— Давай на вась-вась, — сказал Кашонок и протянул Сереже свою твердую как наждак ладонь.

Меж тем вокруг уж шумело, клокотало, раздувало пузырем рубахи, рвало, потрошило волосы, рвало, потрошило ветви деревьев.

— Держи! — крикнул Кашонок, потому что парусиновый тент над помостом рвануло к небу, точно он собирался взлететь, — держи конец! — и бросил мокрый жесткий канат, за который Сережа и ухватился.

Вместе с Кашонком и Афонькой Сережа, упираясь ногами в помост, приземлил, усмирил тент. Разгоряченный этой борьбой, обдуваемый влажным порывистым ветром, Сережа почти забыл — так ему показалось, — ради чего пришел на лодочную станцию, но гвоздь в темени тут же и подсказал, напомнил: за самопалом. Чтоб убить себя. Выбрав момент, когда Кашонок отошел, Сережа приблизился к Афоньке и уже хотел начать разговор о самопале, но Афонькины глаза весело смотрели мимо Сережи куда-то в сторону пляжа.

— Гляди! — крикнул Афонька Кашонку, — твоя полковница бежит.

— Где?

— Туда смотри.

Сережа тоже посмотрел в сторону, куда указывал Афонька.

— Кира! — крикнул Кашонок, сложив ладони рупором у рта. — Товарищ Харохорина!

Лицо Харохориной было теперь не такое, каким видел его Сережа на бульваре, — важное, застывшее, — но и не такое, каким видел его Сережа в кустах, — мертвое, пугающее, безумное. Это было лицо озорное, сияющее, играющее, зовущее к себе. Ветер рвал на Кире цветной сарафан, точно пытаясь ее раздеть, а она весело сопротивлялась охальнику, удерживая полы сарафана обеими руками. Но, когда попыталась одну руку использовать, чтоб убрать застилающие глаза темно-волосы, ветер рванул сарафан кверху, обнажив длинные стройные ноги, какие Сережа видел только у статуй в парке, мелькнули голубые трусики, притягивающие взгляд так, что у Сережи застучало сердце и он со стыдом ощутил свою вспухшую горячую промежность. Он тревожно оглянулся, но Кашонок и Афонька смотрели не на него, а на Киру.

— Буря какая, мальчики, — говорила Кира Харохорина волнуемым, возбуждающим голосом, — а я, дура, на пляж собралась.

— Буря стороной пройдет, — сказал Кашонок и указал на дальний берег, над которым было темно и блистали молнии. — Все туда пойдет, в камыши.

— Ах, досада, — сказала Кира Харохорина, — а я как раз туда и хотела. Лилий нарвать хочу. Лилии там красивые, — она засмеялась возбуждающим смехом.

Впрочем, что бы она ни делала — смеялась ли, говорила ли, просто молчала, — все возбуждало Сережу, и он досадовал на себя, старался не смотреть на Киру, но глаза его сами собой к ней возвращались. Кашонок взял Киру за руку, отчего у Сережи завистливо застучало в висках, и Кира с Кашонком пошли к дощатому барaku лодочной станции.

— Крепка лакшевка, — сказал Афонька, глядя на обутые в сандалии без каблуков ноги Киры Харохориной, легко, волнующе ступающие рядом с косолапой

крепкой поступью босых ног Кашонка, — хороша! Муж у ней летун, полковник, Герой Союза. Привез на отдых к тетке, у ней тетка здесь, привез, а сам уехал. Муж ее любит, балует, а она курва... Она деньгам счета не знает. Послала меня за пивом, дала кучу денег, принес пиво и сдачу, удивилась, что столько пива и еще сдача есть. Косте Кашонку куртку кожаную летнюю подарила, совсем новую, и часы летные. Вообще она добра...

— Афонька, поди сюда, — позвал Кашонок, выйдя из барака.

Афонька подбежал к Кашонку, что-то с ним обсудил и, вернувшись, спросил Сережу:

— Поедешь со мной на тот берег? Киру Харохорину повезем. Кира хочет лилий нарвать, а Косте некогда.

Сереже страсть как хотелось поехать, но что-то пугало.

— Ведь буря, — сказал он, чтоб как-то оправдаться и скрыть свое желание и испуг.

— Буря утихает.

И верно, утихли на берегу деревья, кусты, а волнуемый шум ветра перешел в однообразно успокаивающий шелест дождя по листьям и гулкий барабанный бой по парусиновому тенту. Но вода по-прежнему мятежно волновалась, покрытая до самого дальнего, едва виднеющегося берега белыми барашками, белыми, пенистыми раскатами волн.

— Хорошо, — сказал Кашонок, — бузу перетрет. А то водоем уже позеленел от застойной жары, вода уже до дна зацвела.

— Я спасательную шляпку возьму, — сказал Афонька, — на пляже все равно никого нет. Где Кира?

— Она в бараке переодевается, — ответил Кашонок и пошел к бараку.

— Поехали, Серега! — сказал Афонька, приблизившись, дохнув в лицо луком и пивом, блеснув весело глазами, и вдруг тихо добавил: — Поехали... Мы там Киру Харохорину в два хрена отхарохорим.

У Сережи от этих слов Афоньки, от его блеснувших глаз сильно забилося сердце, но стало и страшно. Он сказал, досадуя на себя, но все-таки сказал:

— Не поеду! — а ехать страсть как хотелось.

— Ну смотри, твое дело хозяйское, — ответил Афонька, начав возиться со шлюпкой, отвязывая ее, гремя цепью.

В это время Кира в желтых маленьких плавочках, тесно сидевших на крепких, хорошо развитых бедрах, и в желтом бюстгальтере, тесно обтягивающем крепкую грудь, подняв над головой кожаную белую сумку, показывая при этом волосатые подмышки, смеясь и взвизгивая от хлеставшего ее дождя, шлепая по лужам босыми ногами с аккуратными пальчиками, покрытыми красным лаком, гремя браслетами на голой руке, поблескивая синим камушком на груди, побежала к тенту, под которым стояли Сережа и Афонька.

— Будьте знакомы, — сказал Афонька, опять весело, с намеком блеснув глазами в сторону Сережи, — это Кира Харохорина. А это Сережа Суковатых.

Кира подала Сереже свою крепкую, мокрую ладошку, взглянув кошачьим, зеленоватым глазом, и словно обдала исходившим от нее запахом дождя и духов. Синий камушек на ее груди таинственно поблескивал, точно намекал на что-то.

— Мы где-то уже встречались, — сказала Кира, — а где, не припомню, — и захохотала, захохотала, блестя камушком и гремя браслетами.

Сережа стоял перед ней растрепанный, не зная, что сказать, как себя вести, и жалея, что не переборол себя, не ушел.

— Ладно, Кира, ты мальчика не смущай, — тоже весело, в живом легком ритме сказал Афонька и что-то начал шептать Кире на ухо, отчего она залилась, залилась смехом.

“Надо было уйти, надо было уйти, — с досадой повторял Сережа, все сильнее чувствуя свою вспухшую, затвердевшую промежность, — надо бежать”, — думал, но продолжал стоять как замороженный и смотреть на Киру.

Пока он так стоял в напряжении, мучаясь с нею рядом, Афонька подогнал к дощатому помосту большую, белую с синей полосой шлюпку. На борту шлюпки была синяя надпись “Спасательная”, а на корме мокро провисал флажок, белый с синей буквой “Т”.

— Дождь теплый, — сказал Афонька, сидя на веслах в одних красных плавках, — прыгайте по одному.

Кира ловко прыгнула, держа сумку, в которой была сложена одежда. Взвизгнув от зашлепавших по телу дождевых струй, она поставила сумку под кормовое сидение и уселась на корме.

— Раздевайся, Сережа, — сказал Афонька.

— У меня плавков нет, я в трусах, — ответил Сережа, пытаясь воспользоваться обстоятельством, уговорить себя не ехать.

— Сойдет и в трусах.

— А в одежде можно?

— Ну смотри... Промокнешь.

— Может, в следующий раз?

— Раз на раз не приходится, верно, Кира? — ответил Афонька и опять засмеялся с намеком. — Едешь или нет?

Сережа решил: “Не еду”, — но неожиданно прыгнул в шлюпку, прыгнул неловко, едва не упав. Дождь сразу же начал хлестать его, затакая под рубашку, за ворот, вызывая неприятный озноб. Скользя по мо-

крому днищу шлюпки, согнувшись, Сережа полез на нос. Сильно загребая, Афонька отъехал от берега. Он греб с придыхом: ххе-хе... Волны, хлеставшие о борт и обдававшие брызгами, помогали Афонькиным гребкам, и лодку быстро унесло довольно далеко от берега. Берег уменьшился, потерял детали, слился в единую черно-зеленую затуманенную дождем массу. Другой берег, также затуманенный дождем, оставался вовсе неразличим. Вода была со всех сторон: сверху, снизу, слева, справа — и все хлестала, все хлестала с одной стороны, в накренившийся правый борт.

— Э, друзья, поменяйтесь местами, — сказал Афонька, перестав грести, подняв весла, — шлюпка тяжело идет, нос перегружен, корма недогружена... Ты, Сережа, садись на корму, а ты, Кира, на нос.

Сережа встал и, балансируя, перелезая через сидения, спотыкаясь, пошел к корме. Кира пошла ему навстречу. Он видел, как ее фигура приближается, неясная в дождевом мареве, и, не дойдя до Афоньки, сидевшего к нему спиной на веслах, Сережа приостановился, посторонился, прижался к борту, чтоб пропустить Киру, желая и страшаясь прикосновений. Кира подошла вплотную, но, вместо того чтоб так же пролезть боком, явно умышленно, неловко пошатнулась, поскользнулась на мокром днище, взвизгнула, схватилась за Сережу, и он невольно схватил ее, чтоб удержаться на ногах, не упасть. Сережа ощутил мокрый, округлый окорок ноги, мокрое, тугое бедро, мокрую тугую грудь с соском, выскользнувшим из-под съехавшего бюстгальтера, и, когда они так цеплялись друг за друга, словно боролись, он вдруг почувствовал ее цепкие пальцы, которые крепко, до боли сжали, сдавили его опухшую промежность, его крайнюю плоть.

— Смотрите в воду не попадайте, — сказал Афонька, сидевший спиной к ним на веслах. — Спасай вас потом!

Сережа, почти вырвав свою крайнюю плоть из цепких Кириных пальцев, пробрался на корму, чувствуя приятную боль, от которой по телу, по взволнованному лицу распространялся лихорадочный жар. А Кира как ни в чем не бывало улеглась на носу, раскинула руки и ноги, весело повторяя:

— Ой, мальчики, хорошо!.. Ой, умру!.. Ой, хорошо!..

— Сними одежду, простудишься, — сказал Афонька Сереже.

Сережа снял мокрую рубашку, но мокрые брюки снять не решился, чтоб не обнаружить опухоль в промежности. Поэтому он лишь закатал их до колен.

— Садись, Сережа, на весла, я умаялся, — сказал Афонька.

Сережа обрадованно полез сменить Афоньку, обрадованно схватил весла, решив известить свои силы на усталость и тем обессилить опухоль, которая особенно сладостно жгла после цепких Кириных пальцев. Сережа греб, напрягая живот над опухолью, рывками, шлюпка шла быстро, но неровно, весла то глубоко погружались в воду, так что Сережины мускулы радостно преодолевали сопротивление водной толщи; то скользили по поверхности воды, не вызывая у Сережи никаких усилий и обдавая его самого и остальных водопадом брызг.

— Вот это мужчина, — засмеялась Кира. — Сразу видно: силен в гребле...

Афонька, засмеявшийся в ответ на сказанное Кирой с намеком, посмотрел на нее, а потом обернулся к Сереже.

— Дай я сяду, — сказал он, — а то ты нас еще потопишь.

И Кира отозвалась чем-то, чего Сережа не расслышал и отчего Афонька засмеялся вновь.

“Зачем я поехал, — начал казнить себя Сережа, — ведь я для иного пришел, ведь я иное задумал”. Однако

вернуть себя к прежнему замыслу он уже не мог, тем более что гвоздь из темени исчез сам собой.

— Ты не обижайся, — сказал Афонька. — Кира тебя дразнит, потому что влюбилась, а ты не понимаешь. Вот выпей — поймешь, — и протянул бутылку.

Видно, Кира и Афонька уже прикладывались, пока Сережа греб в дождевом мареве, опустив от усилий глаза. Бутылка была наполовину пуста.

— Пей из горла, стаканов нету, — сказал Афонька.

Сережа приложился к горлу бутылки, глотнул, обжег себе гортань, передохнул и начал уж глотать спокойней. Запахло дымом, Афонька светил папиросой.

— Хочешь сена? — спросил он Сережу.

— Нет, — ответил Сережа, чувствуя, как деревенеет от выпитого лоб и глохнут уши.

— А я закурю, — словно издали сказала Кира, — мне всегда хочется курить перед... — и вдруг открыто, бесстыдно сказала уличное слово.

Сережа от неожиданности как бы поперхнулся, но, слыша Афонькин смех, и сам засмеялся, потому что от выпитого стало легко и радостно, хотелось веселья и криков.

— Берег! — закричал Сережа. — Земля... Э-ге-ге-ге!

Показались заросли березового кустарника, зашуршали камыши.

— Здесь лилий много, — сказала Кира и показала на белые, колышущиеся на воде цветы. — Страсть как лилии люблю!

Шлюпка коснулась берега. Берег был здесь топким, болотистым, пахло мокрым торфом, приятно было ступать босыми ногами по хлюпающей, пружинистой, теплой земле.

— Ой, мальчики, догоняйте! — озорно, как шалая школьница, крикнула Кира и побежала вверх по кособору, скрылась за мокрыми березами.

— Ты первую ходку делаешь? — деловито спросил Афонька Сережу.

— Нет, ты, — торопливо ответил Сережа, стараясь оттянуть желанный, но пугающий момент.

Вдруг Кира вышла из березовых зарослей голая, держа в одной поднятой руке трусики, а в другой бюстгальтер. Грудь ее, большая, но словно литая, также приподнялась вслед за руками и круглый живот тянулся кверху, обнажая то, что было под ним, под небольшой темно-русой зарослью, и это опять причинило Сереже знакомо жгучую боль в перенапряженной промежности, хотя Кира на этот раз была в отдалении и не прикасалась к ней пальцами.

— Мальчики, кто мне лилий принесет? — крикнула Кира. — Того сильнее любить буду... Мальчики, догоняйте! — и опять побежала, опять скрылась в березовых зарослях.

— Пойди за лилиями, — сказал Афонька, прыгая на одной ноге, стаскивая плавки, и затем, мелькая белой задницей, побежал к березовым зарослям.

Там слышались смех, визг, шумное дыхание, треск ветвей — и все оборвалось, замолкло, словно потухло, и так две-три минуты в полной тишине, а потом вновь начало разгораться, шуметь, дышать. У Сережи от выпитой водки по-прежнему деревенел лоб, в ушах точно вата была, и этот полуоглохший Сережа побежал к берегу, чтоб нарвать лилий, побежал, ужасно возбуждаемый криками из-за березовых зарослей и ароматным смолистым запахом березовых листьев.

Скользя у топкого берега, лихорадочно торопясь, несколько раз едва не упав, он, прежде чем войти в темнеющую, глинистую прибрежную воду, все-таки попробовал ее кончиками пальцев, затем торопливо шагнул, провалился в грязь глубоко обеими ногами, и тотчас острая боль в правой ступне, сбоку у большо-

го пальца проколола его снизу вверх до самой шеи. “Порезал ногу”, — подумал он с испугом и досадой. С досадой более, чем с испугом, потому что надо было добраться до лилий, колыхавшихся на воде метрах в трех. После первого острого укола боль стала слабее, спокойней, но, когда Сережа вытащил из грязи ногу, чтоб шагнуть к лилиям, вместе с поднятой со дна илистой грязью поднялась и красная вода. “Кровь”, — тревожно подумал Сережа, продолжая, однако, пробираться к лилиям и каждым своим шагом вызывая со дна потоки грязи и крови. Наконец он достиг первой, ближней лилии, вцепился в скользкий стебель, потянул. Лилия не подалась, лишь поднявшись из воды. Пришлось долго бороться, сжав зубы, рвать, крутить стебель, пока лилия не оказалась в руках. Но до второй лилии было, пожалуй, уже не добраться с поднимающейся в ноге болью, поэтому Сережа повернул назад. Схватившись за ветку растущего у берега березового куста, он рывком выбрался из воды и, продолжая держаться за ветку, опустил ногу в воду, отмыл от грязи. Кровь сочилась из разреза у большого пальца; стоять, а тем более идти можно было, лишь опираясь на пятку.

“Эк не вовремя! — с тоскливой досадой подумал Сережа. — Осторожней не мог, болван!..” Он сорвал виднеющийся в траве лист подорожника, приложил к ране, но тот с первым же шагом отстал, упал, измазанный кровью; и от вида подорожника и травы, измазанных кровью, у Сережи вдруг закружилась голова и поплыло перед глазами. Переждав и несколько придя в себя, он оторвал от трусов лоскут материи и, приклеив к ране, шагнул. Лоскут, пропитавшись кровью, держался, болеть стало меньше и можно было даже, ступая на пятку, ускорить шаг.

Когда Сережа, скользя по косогору, добрался к знакомым уже березкам, заглянул, как за занавеску,

раздвинув кусты, Кира сидела одна, поджав под себя колени, и курила. Эта спокойная Кирина поза показалась Сереже ужасно соблазнительной, возбуждающей. Вот она, сидящая боком, повернулась к нему лицом, и меж тяжелых литых ляжек под темно-русою зарослью он увидел то самое, свободно вывернутое, мясное. Истома вошла из тела в кости, в позвоночник, опустилась к пояснице, желая наружу, но не имея выхода, давила и давила вниз, от поясницы к все заглушающей в Сереже опухоли, к такой опухоли, какую прежде, еще минуточку-другую назад нельзя было представить, — вот-вот готовой лопнуть от собственного перенапряжения. Говорить Сережа не мог, ему казалось, что он что-то спрашивает, но голос глож в горле. Поэтому он молча протянул лилию Кире.

— Какое чудо! — умиленно сказала Кира. — Иди сюда, мальчик, я тебя поцелую, — сказала она, отбросив папиросу далеко в кусты, — иди сюда! — раскрыла объятия.

Стараясь опираться на левую здоровую ногу и не обнаруживать своего ранения, Сережа шагнул к Кире, она подняла руку к лилии и вдруг вместо лилии цепко схватила Сережу за запястье, рывком потянула к себе.

— Трусыними, трусы, — тихо, сквозь зубы сказала она и сама рванула трусы на Сереже вниз, освободила набухшую Сережину промежность.

Как тогда у Бэлочки, представляя, как это должно быть, Сережа быстро, быстро задвигался в пояснице, дергая бедрами, попадая в мягкое, мягкое.

— Нет, — засмеялась Кира, — нет... Ноги раздвинь... Нет... Нет... Ах...

“Ах!” — мысленно произнес и Сережа, ощутив в животе пустоту, как случается, когда неожиданно куда-то проваливаешься. Так впервые он словно бы провалился, так впервые познал он женскую глубину,

но, уже со второго, третьего движения поняв мягкую податливость того, что его прежде пугало, поняв всю несложность и простоту желанного наслаждения, он двигался, двигался, с радостью обнаружив в себе умение и море сил, чтоб так двигаться, и уже господствуя над Кирой, которая давно кричала, молила его: “А-а-а!.. О-о-о!..”

– Ох-ох-ох, – кричал уже и Сережа.

– Ох-ах-ох, – кричали рядом.

И едва Сережа ощутил присутствие третьего, присутствие Афоньки, как силы, казавшиеся до того безграничными, начали его оставлять и опять пришла боль снизу.

– Кровь, – весело кричала Кира, по ляжке которой текла кровь, – кровь... Ой, мальчики, я опять девочка!

Сережа сполз с Киры вбок. Опухоль его противно, липко размякла. Кира, и Афонька, и он сам были уже противны, до слез отвратительны! И если бы было можно, он побежал бы прочь без оглядки, но от себя ведь не побежишь, и к тому же болела нога. Вместо обмякшей промежности теперь твердела, горячо опухала нога.

– Береговичком порезал, – сказал Афонька, разглядывая Сережин порез, от которого отстал, отслоился пропитанный кровью кусок материи, – раковинной. Они тут в грязи возле берега, не сосчитать сколько! Береговик режет сильнее стекла.

– Этот мальчик мне удовольствие сделал, – сказала Кира, поднимая с травы поломанную, смятую лилию. – Меня теперь совесть мучает, я виновата, послала его.

– При чем тут ты, Кира? Не маленький он, осторожней надо. Да и вообще не страшно, какой мужчина без шрамов.

— Я теперь перед ним в долгу, — сказала Кира.

— Ну, ты-то долг отдашь, за тобой не пропадет, — сказал Афонька и подмигнул Сереже. — Идти можешь? — спросил он. — Тут недалеко, сразу за теми березами, пристань наша и шалашик. Там тебя перебинтуем, чаю попьем.

Сережа поднялся, попробовал шагнуть, но не получилось — застонал от боли.

— Ой, жалко мне тебя, — сказала Кира и подхватила, поддержала Сережу.

— Помоги, помоги, — сказал Афонька и опять подмигнул Сереже, — а я пока шлюпку к пристани пригоню... Тут недалеко, дойдешь... Мне в прошлом году флотский один, рябчик, мессер воткнул, так я три километра шел с порезом.

Афонька повернулся и пошел к шлюпке; он был уже далеко, греб, пока не скрылся за мыском, поросшим кустарником.

— Пойдем, — сказала Кира Сереже, — на меня опирайся. Так лучше?

— Лучше, — ответил Сережа, опираясь на Киру.

Когда несколько утихла нога, опять начала набухать промежность и Сережа злился и презирал себя за это.

Дождь между тем затихал, мутный воздух светлел, выглянуло солнце, и сразу же, как по команде, запели птицы. Сережа шел, опираясь на Киру, с застывшей болью в ноге и вновь опухшей промежностью, шел, тесно схваченный Кирой, поддерживаемый ею и заботливо ею направляемый. Вокруг было просторное безлюдье, наполненное свежими острыми запахами, смесью речного и полевого воздуха, промытого долгим теплым дождем и теперь подсушенного проглянувшим солнцем.

— Под тем деревцем отдохнем, Сережа, — сказала Кира.

Они подошли к деревцу, молодой, пахучей стройной березке; с блестящих треугольных листьев светлыми слезами падали в траву дождевые капли. Белая, умытая кора, освещенная солнцем, тоже светилась.

— Я перед тобой в долгу, Сережа, — сказала Кира. — Хочешь, я тебе удовольствие сделаю? Ложись на траву, ногу держи осторожней.

И, говоря это, она опустила рядом с ним на колени, наклонилась, щекоча оголенный ею живот его концами своих длинных темно-русых волос, пахнущих цветочным мылом, и этими тихими, ласковыми движениями ввергла Сережу в острое помешательство, потому что Кира, ласково щекоча, высасывала, пожирала опухоль, как насекомое пожирает насекомое, как хищник пожирает живое.

— А-а-а... О-о-о... — предсмертным хрипом закричал пожираемый Сережа и затих, умер.

Острая спутанность чувств, желание жить и желание умереть, аффект блаженства и предсердечная тоска — все, что испытывает жертва, когда хищник перегрызает ей горло, все это испытал Сережа перед тем, как умереть агнцем-непорочником и воскреснуть козлицем. Так осуществилась суицидомания, влечение подростка к самоубийству.

Пока Сережа, поддерживаемый Кирой, доковылял к пристани, Афонька успел уже и чайник на электроплитке согреть, и еду разложить, которую достал из Кириной сумки: вареную курицу, галеты, огурцы, яблоки. Была тут и непочатая бутылка водки.

— Где это вы, позорники, ходите так долго? — сердито спросил Афонька. — Ты, что ли, Кира, задержала?

Кира посмотрела весело и запела переливчатым голоском:

Мы на лодочке катались золотисто-золотой.
Не гребли, а целовались, не качай, брат, головой.
В лесу, говорят, в бору, говорят,
растет, говорят, сосенка.
Влюбилась в молодчика веселая девчонка...

— Вот позорница! — усмехнулся Афонька и посмотрел на Сережу. — Видал ты когда-нибудь такую позорницу? — он снял чайник с плиты. — Садитесь, места хватит. Шалаш хорош, сухой, сам плел из еловых ветвей. И электропроводка незаконная имеется. Ее уже сколько обрезали, а мы с Кашонком восстанавливаем.

— Я чай не хочу, — сказала Кира, — я чего-нибудь погорячей.

Выпили водки, закусили. Кира Сереже то куриную ножку подсунет, то огурчик.

— Видать, Сережа тебе крепко угодил, — усмехнулся Афонька.

— Угодил, — ответила Кира, — молодость мою мне помог вспомнить, мужа моего первого — Кирюшу... Я Кира, он Кирюша, — сказала и загрустила. — Хороший он был, чистый, светлый, на Сережу чем-то даже лицом похож. Но ревнивый, не приведи господи, какой ревнивый! Работала я тогда секретаршей в райисполкоме, а он там же техником стройотдела. И вот раз вызывает его председатель к себе на ковер для доклада, и он, представьте, на том ковре нашел пуговицу. Нашел и подобрал незаметно. Вроде бы шнурок на ботинке развязался — нагнулся и подобрал. Подобрал и что выдумал! Это, говорит, Кира, пуговица от твоего бюстгальтера. Такой, мальчишки, был он ревнивый и дурной. Пристал, как Отелло... По-

мните, мальчики, кино? Только Отелло — платок, платок, а Кирюша — пуговицу, пуговицу. У меня тогда бюстгальтеров было не то что теперь, при полковничке. Тогда, при Кирюше, раз-два и обчелся. Какой тебе, спрашиваю, бюстгальтер, черный или белый? Черный, говорит. Посмотрел: вот, говорит, пуговица заново пришита. Это ты у Тараса Иосифовича раздевалась в кабинете, наследила... Обозвал меня блядью. Я как разревусь... Я тогда чистая девочка была, честная, а он меня блядью. Меня и теперь никто блядью не называет. Что ты смеешься? — вдруг злобно обернулась она к Афоньке. — Ты-то кто? Или Кашонок твой... Вот он, — она указала на Сережу, — он лилию мне принес. Он Кирюша, а ты сволочь, сволочь!.. А я, — уже пьяно голосила Кира, — я тоже... Полковничек мой — он хороший, чистый, добрый, а я — блядь, проститутка!

— Ладно тебе, Кира! — глядя на ее дергающееся лицо, сказал Афонька. — Ладно убиваться-то.

— Ой, мальчики, тяжело, — заплакала навзрыд Кира. — Ой, помереть страсть как хочется! Хотя бы сифилисом заболеть и после повеситься.

Болезненные, истеричные интонации, банальные слова будили в Сереже чувство злобы и отвращения к этой женщине, с которой он только что был близок, с которой он впервые испытал телесное наслаждение.

— Мы с тобой, Афонька, уже пропащие, — продолжала пьяно голосить Кира, — мне вот его жалко, Кирюшу. Он чистый, светлый, честный... Я твою лилию, Кирюша, на память оставляю... Высышу...

Сережа, мучаемый подступающей злобой и отвращением, приподнялся, дернулся от боли в ноге, грубо вырвал у Киры из рук лилию, разорвал, растерзал, разбросал.

— Чокнулся, что ли? — удивленно посмотрел на Сережу Афонька.

— Идите вы! — крикнул Сережа и выматерился со злобой и отчаянием.

Кира засмеялась, но более с Сережей не говорила. Назад ехали молча. Сережа сидел на корме, мучаясь болью, но без этой боли в ноге ему бы сейчас было гораздо хуже. Тучи исчезли быстро, и день из прохладного с освежающим дождем превратился в слепяще солнечный, изнуряющий. Кира сидела на носу с лицом безразличным, задумчивым, ангельски неземным, как бывает у женщин после истерики. Когда пристали к лодочной станции, она попрощалась с Афонькой, даже не взглянув на Сережу. Сережа сел на просыхающую скамейку у лодочной станции, а Афонька, сбегав к бараку, привел велосипед, помог Сереже взобраться на седло и, шагая рядом, повез его домой.

— Ты на меня обиду имеешь? — спросил он на прощание.

— Нет.

— Нога болит?

— Болит.

— Скоро залатают.

Залатали, однако, не скоро. Кожа вокруг раны была раздавлена и разорвана, а сама рана очень загрязнена землей, что вызывало угрозу инфекции. Иван Владимирович, который оказался, к счастью, дома, первым делом промыл рану марганцовкой и посыпал борной кислотой. “Скорая помощь”, где у Ивана Владимировича были знакомые, приехала быстро, и вскоре Сережа уже лежал на операционном столе. Когда ему вводили противогангреновую и противостолбнячную сыворотку, он только зубами скрипел, но когда начали шить рану под местным наркозом и рвущая боль снизу доходила до

Чок-Чок

сердца, он не выдержал, начал материться, да так, что хирург Шварц сказал коллеге:

— Сын ваш, Иван Владимирович, видно, подросток трудный.

— Да уж, без матери воспитываю, — вздохнув, ответил Иван Владимирович.

После операции боль утихла, затаилась под бинтами и лишь время от времени набегала, резала, рвала. Утомленный, измученный Сережа, оказавшись дома в чистом белье и чистой постели, лежал ослабший, с пустой и тихой душой, и все, что с ним стряслось, казалось ему прочитанным в какой-то запретной книге.

5

Меж тем Иван Владимирович получил место в известной клинике, в другом, гораздо большем городе. Теперь переезд задерживался из-за Серезиноного ранения, и потому, когда Сереза поправился, переехали второпях, оборвав все прежние связи, поскольку близок был срок, когда Иван Владимирович должен был приступить к новой работе.

В новом городе Серезе жилось неуютно, все было незнакомым; к тому же его отношения с отцом, и раньше не весьма хорошие, начали еще больше портиться. «Красив, умен, — думал Иван Владимирович о сыне, который все более увлекался медициной, читал книги по анатомии и собирался после школы поступать в медицинский, — красив, умен, но эгоистичен, эксцентричен, весь в мать!»

И действительно, Сереза переменялся. Отношения с женщинами стали для него ясны и не внушали более трепета. Это внесло в Серезину душу спокойствие, а в характер — уравновешенность. Так оно внешне выглядело. Он никогда более не спорил с отцом, а если случались размолвки, отвечал спокойно, логично. Однако под этим спокойствием и этой логи-

кой Иван Владимирович чувствовал нечто такое, перед чем он, отец, уже был бессилён.

“Отчего такая беда случилась?” — с горечью думал Иван Владимирович. Он считал себя не самым худшим человеком, считал себя разумным, образованным, незлым. Он умел владеть собой в тех пределах, в каких это было возможно, никогда не допускал по отношению к Сереже лицемерия или неискренности. Наконец, он любил Сережу, как некогда самозабвенно любил его мать. “Вот причина, — думал он отчаянно. — Это она, это она в нём, его мать. Еврейка, еврейка... Ничего нельзя поделать, дурная наследственность”. И, думая так в отчаянии, стыдясь своих мыслей, но все-таки продолжая думать в этом единственном, способном для него все объяснить направлении, иногда доходил совсем уж до мрачных фантазий, пугавших, ужасавших его — тогда Иван Владимирович дрожащей рукой наливал себе рюмку коньяку.

Плохие отношения с отцом мучали и Сережу. Когда во время одной из размолвок Иван Владимирович, не сдержавшись, попрекнул сына отцовским хлебом, Сережа твердо решил как можно быстрее получить профессию, отложив медицинский институт на будущее. Он подал в акушерско-фельдшерское училище, был принят и вскоре стал одним из лучших учеников. Учился он охотно, даже с каким-то азартом. Слушал о движении плода в нормальном и патологическом состоянии, о специфике родов при узком тазе, о повороте на ножки... А когда во время практики в городском родильном доме, впервые присутствуя при родах, услышал женские крики, женские стоны, увидел среди разбросанных женских ляжек слизисто набухающее, увидел мечущиеся, выскальзывающие из-под рубашки большие соски, необычайно темного цвета с темно-багровыми околососковыми кружками, то понял, что

выбрал самую для себя подходящую профессию. Со временем, правда, подобная острога прошла, сменилась чисто профессиональным интересом, но крайняя впечатлительность осталась, хоть и не выражалась, как в первый раз, сильным половым влечением.

К смерти, которая прежде казалась ему так близка и так его пугала, он теперь относился спокойно, любознательно, как к предмету интересному, но постороннему, его не касающемуся. Однажды во время его дежурства умерла молодая роженица. Произошел разрыв плодового мешка, плод вышел наружу кусками, в виде кровавой кашицы. Даже много повидавшие медсестры и врачи были подавлены таким исходом, а один из старых опытных врачей-гинекологов вскоре слег с инфарктом, и говорили, что из-за этого случая. Но Сережа испытал волнение чисто познавательное, глядя на происходящее как на процесс, на механику развития особой силы, уводящей к смерти.

В общем, Сережа учился хорошо, получал повышенную стипендию, но окончить училище ему не удалось. В начале пятидесятых был усилен набор молодежи в армию. Вызвали в горком комсомола и Сережу, предложили подать заявление в военно-медицинское училище. “Ну разумеется, солдатам аборт делать не придется, а в остальном — широкий профиль от терапии до хирургии”, — так пошутили. Но, пошутив, добавили, что это не предложение, а приказ.

В новом училище, в мужских, курсантских компаниях женщин называли “мясо”. “Как у нас с бабами?” — “Мяса хватает”. А у Сережи первое впечатление о половом акте так и сложилось: сырое мясо... Впрочем, жеребчий порыв к тому времени уже миновал и отношения с женщинами, основанные на одной лишь половой гимнастике, не удовлетворяли.

Сереже нужна была игра, вечеринки с танцами под патефон, объятия на кухне, глупые радостные шутки.

— Ах, каблуком наступили...

— Что? Где этот каблук? Сорвем этот каблук, — и хватал пальцами, комично рвал со своего щегольского, офицерского сапога каблук, которым в тесноте наступил на ножку в женской туфельке.

А “женская туфелька” колокольчиком: ха-ха-ха-ха... Ип-ип, — так смеялась.

Появился у Сережи и личный друг, чубастый курсант Федя Гуро, гитарист. Собственно, играть на гитаре Федя не умел, но очень обаятельно пощипывал струны, подмурлыкивал, постукивал пальцами по гитаре и потому считался среди женщин хорошим гитаристом. Сочинял Федя и упаднические, пессимистические стихи, также нравившиеся женщинам: “Счастье и жизнь молодую, беспечную мы поменяли на форму с погонами...”

Короче, Федя был по “мясу” профессионалом, а Сережа при нем — все же любителем, знающим свое место, учеником и подмастерьем. И потому, когда их вместе после окончания училища послали в дальний гарнизон, на южную азиатскую границу, он не сомневался, что первая, да, пожалуй, и единственная гарнизонная красавица Валентина Степановна, библиотекарьша, достанется Феде. Однако Валентина Степановна Федею отвергла и сама проявила благосклонность к Сереже. Федя, в котором выиграло чувство оскорбленного профессионала, начал от Сережи отдаляться, к большому Сережиному огорчению, поскольку он к Феде привык, да и место досталось такое глухое, что нового друга приобрести было непросто. Впрочем, жертвовать ради дружбы любовью он тоже не мог, поскольку и с женщинами было туговато.

Климат в гарнизонном поселке был малярийный, лихорадочный, набивающий сорокаградусную температуру днем и кидающий ночью в холодную дробь. Свободных женщин, живущих по своей воле, а не возле обреченных на здешнюю службу мужей, было мало, да и те, как сказал Федя Гуро, “мясо третьего сорта” — посудомойки, уборщицы, поварихи. В небольшом гарнизоне, где все у всех на виду, роман с замужней был делом рискованным, и качество здешних замужних этот риск не оправдывало. Все это, наряду с климатом, ужасно угнетало молодых людей.

Теплый дождь, ласковая болотистая прохлада, белые влажные лилии были невообразимы среди местного пейзажа, состоявшего из всего сухого, выпаренного, безводного. Безводное, просушенное до блеска, густосинее небо вот-вот, казалось, должно начать шелушиться, трескаться, как трескалась безводная серо-желтая земля. Даже вода, текущая в узких арыках, тоже казалась сухой из-за своего серо-желтого, глинистого цвета, мало отличавшегося от цвета берегов, и из-за шуршания, сопровождавшего вместо плеска ее течение. Шуршала здесь и растительность, шуршали ящерицы, опасные скорпионы. Жить было здесь тяжело, легче становилось разве что ночью, во сне, когда снились родные прохладные места. На рассвете, однако, эти счастливые сны прерывал не ласковый, убаюкивающий крик петуха, а острый, режущий ишачий крик.

— Ишачья страна, — говорил Федя, — и “мясо” ишачье. Я слышал, местные чучмеки все с ишаками живут. Да и наши некоторые приспособились. — И, прижав губы вплотную к Сережиному уху, дуя в ухо заправочкой — сто грамм и кружка пива, — сообщал, что мужа Валюши, капитана Силантьева, застали якобы за скотоложеством, после чего Валюша с ним развелась и капитана отправили в ташкентский психго-

спиталь. Впрочем, о причинах Валюшкиного развода и отправки капитана в психгоспиталь существовали и иные версии. При полковом медпункте, где работал Сережа, был изолятор в несколько коек. Находящийся в этом изоляторе ефрейтор Николай Тверской, белобрысый паренек из Ярославля, рассказывал как-то Сереже:

— Капитан, значит, солдат, особенно первогодок, в задний проход... В кабине автомобиля себе на колени сажал. Но кого уж употребит, того обязательно домой в отпуск пустит, — добавил Тверской, делая ударение на слове “обязательно” и глядя на Сережу с какой-то затаенной мечтой.

Ефрейтор Тверской сильно тосковал в этой чужой ему азиатской местности по своему Ярославлю, по Волге.

— Места у нас, — говорил он, — эх, места наши ласковые... Вернусь — ничего не надо, только бы смотреть по сторонам да радоваться.

Тверской лежал в изоляторе с диагнозом “энтероколит” и рассчитывал на досрочную демобилизацию, хоть с таким диагнозом вряд ли можно было на демобилизацию рассчитывать. Гарнизонный врач, полковник Метелица, поставивший этот диагноз, не то что в демобилизации — в госпитализации отказал, в отправке в Ташкент. Сережа, однако, считал диагноз ошибочным и даже пробовал о том с Метелицей поговорить, чем чуть не испортил с ним отношения, ранее весьма хорошие. Скорее всего, у Тверского был не энтероколит, а гнилостная диспепсия кишечника, неполное переваривание пищи из-за ферментной недостаточности. От Тверского всегда несло кислым зловонием, и он жаловался, что в поносе у него попадают непереваренные овощи. Промедление с госпитализацией могло привести к воспалению печени, но

Метелица, человек властный и самолюбивый, защищал честь своего полковничьего мундира.

Может быть, он потому так недоброжелательно относился к отъезду из этих мест, что ревновал всех отъезжающих. Сам он находился здесь, в азиатской глуши, за какую-то провинность, а прежде преподавал в Ленинграде, в военно-медицинской академии. Он был неплохой специалист по огнестрельным ранениям, даже имел в этой области работы, и в гарнизонной библиотеке была его брошюра “Анаэробные инфекции при огнестрельных ранениях”. Но “гражданские” болезни были не его стихией. Он постоянно ставил неправильные диагнозы, больные это знали и по возможности старались обращаться не к нему, а к майору Пирожкову или даже к фельдшерам, что Метелицу также возмущало. И уже за свой поставленный диагноз держался он прочно! Гордился также Метелица своим знакомством с братом Ленина, Дмитрием Ильичом Ульяновым, под руководством которого он еще молодым пареньком работал когда-то в Крыму.

— Что говорил брат Ленина, Дмитрий Ильич Ульянов? — обращался он к больным во время обхода. — Лечиться, лечиться и лечиться...

Сереже он, правда, советовал учиться.

— Вам надо учиться дальше, подготовиться в военную академию. Я напишу вам рекомендацию, у меня есть там знакомства. В свободное время не глупостями занимайтесь, а читайте книги. У нас замечательная библиотека, хорошо подобрана. И библиотекарша — милая женщина, красавица. Вот только с мужем ей не повезло, столько она, милая, натерпелась.

От Метелицы за ужином с коньячком Сережа узнал третью версию о капитане Силантьеве: дипсомания — запойное пьянство плюс половые извращения. Кусал ее в постели до крови, руки связывал и насиловал. Она

все терпела ради дочери, ради Машеньки, которую отец-пьяница, представьте себе, все-таки любит, и дочь отца тоже... В общем, трагедия. Как выяснилось в госпитале, при анализах, — врожденная патология, врожденный сифилис, унаследованный, и Валентина Степановна теперь опасается за здоровье Машеньки. У нее с Машенькой, знаете, сложные отношения, особенно после того как отца отправили в госпиталь. Машенька теперь не с матерью живет, а у сестры отца в Андижане.

Судя по таким обстоятельным знаниям семейной жизни Силантьевых, Метелица был к Валентине Степановне явно неравнодушен. Но этот одутловатый, с прокуренными зубами, пятидесяти с хвостиком человек вряд ли имел какие-либо шансы у миниатюрной, хорошо сложенной двадцатисемилетней брюнеточки.

Сережа в свободное от службы время часто посещивал в библиотеке, читал книги по программе подготовки в академию. Метелица советовал Сереже при поступлении в академию также представить и какую-либо публикацию, хоть бы журнальную. И по рекомендации Метелицы Сережа начал писать работу об особенностях огнестрельных ран при выстреле с близкого расстояния. Граница была недалеко, Сереже приходилось наблюдать такие ранения и участвовать в их лечении. Он написал о сходстве методов лечения таких ран с лечением ран разможенных и рваных и об особенностях их лечения в местных азиатских климатических условиях. Работа получилась пухлая, с графиками, диаграммами... Валентина Степановна взялась ее отпечатать. Это был их первый душевный контакт. Когда же прибыл из медицинского журнала положительный ответ, то она ликовала и радовалась вместе с Сережей, радовалась за Сережу уже как за близкого человека. Так они сошлись, и, хотя Сережа получил

меньше, чем ожидал, эта связь все равно бодрила Сережу и ублажала его самолюбие, поскольку первая красавица гарнизона, на которую многие поглядывали, выбрала именно его, ничем пока не приметного лейтенанта. Когда прибыл авторский экземпляр медицинского журнала, то оказалось, что большая статья превращена в маленькую заметку, из нее выброшено все, кроме лечения ранений в местных климатических условиях. Это огорчило Сережу, но в конечном итоге событие было все равно радостным, и Валентина Степановна предложила отметить его поездкой в выходной день к горному озеру. Поездка была неблизкой и трудной, по крутой, ухабистой, пыльной дороге, на местном автобусе, трясущемся как в лихорадке. Но зато можно было побывать в оазисе, где листья были зелеными, небо голубым, а озерная вода не имела привкуса глины. На берегу озера, рядом с домом отдыха местной правящей знати, находилась чайхана, где подавали свежий сладковатый плов, по местному рецепту приправленный изюмом, мягкие, пухлые лепешки с тмином и холодный фруктовый шербет. Сережа радовался, предвкушая удовольствие от этой поездки, но вдруг накануне выходного позвонила Валентина Степановна и, как показалось Сереже, чрезвычайно взволнованным голосом без всяких объяснений отменила поездку. Валентина Степановна попросила впредь к ней домой не приходите без ее звонка. Взволнованный, расстроенный, теряясь в догадках, Сережа отправился в библиотеку, но там вместо Валентины Степановны работала ее сменщица старушка Вера Тарасовна, которая сказала, что Валентина Степановна «немножко приболела». «Так всегда, — думал Сережа с горечью, — если жизнь приласкает, то в дальнейшем ожидай подвоха». Без Валентины Степановны он уже скучал, не зная, куда себя деть среди кучи гарнизон-

ных, казарменного типа домов да глухих глиняных заборов местного кишлака. Особенно тоскливы были вечера, время, которое Сережа обычно проводил у Валентины. В тоске Сережа открывал медицинские книги, читал о кровотечениях, о повреждении черепа, о разновидностях шоковых состояний при огнестрельных ранениях... Но — не шло. Тогда он закрывал книги медицинские и открывал философские.

К философии Сережа приобщился со скуки еще до знакомства с Валентиной Степановной. Некоторое количество подобных книг было в гарнизонной библиотеке. По линии армейского политуправления ничего подобного, разумеется, не поступало, но оставалось некоторое количество из старого фонда, каким-то образом, быть может, по недосмотру осевшего в дальних гарнизонах. Так, “Натурфилософия” Шопенгауэра, “Психология” Джемса, “Болезни воли” Рибо имели штамп “Офицерская библиотека тридцатого пехотного Полтавского полка”. Бог весть как библиотека старого Полтавского полка оказалась в нынешнем азиатском гарнизоне! Книги тесной кучей стояли на полке в конце раздела “Философия и естествознание”, потесненные трудами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Дарвина, Павлова и прочих официальных философов. Кроме Сережи, до этих книг никто, пожалуй, не добирался, да и Сережа добрался случайно, обнаружив ссылки на Джемса в старом учебнике психиатрии Корсакова, ибо основы психиатрии необходимы были при сдаче экзаменов.

Телесность чувств, первичность тела — вот что вычитал Сережа у Уильяма Джемса, американского психолога, физиолога, медика и философа, работами своими показавшего отсутствие четких граней меж этими науками. Человеческие чувства, душевная жизнь не могут быть подвергнуты материалистическому

дроблению, но не могут быть и уведены в загробный мир спиритизма и метафизики. Физиологичность эмоций – так Джемс еще в прошлом веке объяснял происходящее ныне с Сережей.

Отношения Сережи с Валентиной Степановной были ровные, без перепадов. Это было постоянное желание иметь ее как женщину, но страсти и мечты не было. А тут вдруг, после наполненного недомолвками звонка, появились и страсть, и мечты, и ревность. Подумалось, что причина – приезд капитана Силантьева. Каким образом? То ли выпустили, то ли сбежал... Всякая дичь подумалась, но под влиянием физиологических эмоций решил он ближайшим вечером проверить свою догадку.

Днем, в зной, хотелось все, что можно, с себя снять, все, что можно, расстегнуть, но вечерами приходилось надевать шинель и теплые носки из верблюжьей шерсти. Подобным образом одевшись, Сережа темным холодным вечером отправился к дому Валентины Степановны. Просто так подойти и заглянуть в окно нельзя было, поскольку Валентина жила на третьем этаже пятиэтажного гарнизонного дома для семейных. Но недалеко от дома рос старый тополь, нижние ветви которого уже высохли, и листьями покрыта были лишь верхняя половина. Как раз забравшись по мертвой половине тополя до его живой половины, Сережа и смог заглянуть в окно третьего этажа.

Он сознавал, что делает глупость или пакость, что его положение будет ужасным, если его заметят, но, ясно сознавая все это, он тем не менее продолжал пристально вглядываться в окна Валентины Степановны. Окна были завешены, однако горел свет и видны были тени. В одной из них он узнал Валентину, вторая была неопределенна, непонятно какого роста, потому что

находилась в отдалении. Ясно было лишь одно: между тенями происходит борьба. Тень Валентины размахивала руками, то ли угрожая, то ли защищаясь. Потом она исчезла — то ли наклонилась сама, то ли ее повалили. “Капитан Силантьев вернулся из психгоспиталя, — догадка переросла уже в уверенность, — и насилует ее, связав руки”. Вдруг жеребьячье юношеское возбуждение, давно уж не посещавшее, овладело Сережей. Сидя у шершавого древесного ствола, держась побелевшими руками за ветви, слыша свое учащенное дыхание, дрожа от сердцебиения, он вместе с капитаном Силантьевым участвовал во всех этих физиологических откровениях, потому что, думалось, полное, исчерпывающее до дна наслаждение от связи с женщиной возможно лишь, если оно либо запретно, либо преступно. Так страшно до самозабвения думалось. “И вообще, — думалось, — всякая человеческая мысль, которая честна до конца, преступна, потому и нельзя человека оставлять наедине со своими мыслями. Всегда меж человеком и его мыслями должен быть надзиратель: нравственные принципы, мораль, как во время свидания преступника с близкими”.

Так бесстрашно, почти уголовно философствовал Сережа, вглядываясь в темное окно, поскольку кто-то, наверное, капитан Силантьев, догадался выключить свет. Сережа воображал себя там, за темным окном, вместе с капитаном над связанной, распростертой Валентиной, потому что физиологические эмоции неподвластны морали, неподвластны даже собственной свободной воле. Когда они на свободе, то зависят только от физиологических процессов в сосудодвигательной системе. А разум? Разум в крайней ситуации изменяет человеку, разум часто склонен к предательству.

Понимая как физиолог бессилие человека перед собственной физиологической эмоцией, награждающей телесным наслаждением, еще Джемс, как религиозный философ, знал, что от физиологии лишь одно спасение — вера. Вера неподвластна предательскому разуму. Вера, которую можно обрести не в церкви, а в душе! Поэтому преступник первым делом старается изломать, растоптать, убить свою мешающую физиологии душу, но может вполне сознательно и разумно молиться в церкви до преступления и разумно каяться после преступления.

Впрочем, философские вопросы веры, излагаемые Джемсом, Сережу тогда не затронули, он их проглядел, пролистал и опустил. Но зато его тронуло, заинтересовало то, что Джемс называл психическими обертонами. Состояние сознания постоянно меняется, подобно потоку, никогда не повторяющему прошлое, но несущему в себе то, что минуло и окружает нынешнюю душевную жизнь кольцами прошлых отношений. Эти прошлые отношения переживаются в качестве дополнительных состояний, придающих некую особую окраску основному нынешнему переживанию. Эти кольца прошлых переживаний, опоясывающих нынешнее, и есть, по Джемсу, психические обертона.

Сережа жил с Валентиной Степановной давно, почти по-супружески, и его желания последнее время были скорей ослаблены: он даже начал подумывать о перемене и почти присмотрел перемену. Это была соседка и подруга Валентины Степановны, жившая этажом выше, Дильром Шовкатовна, татарка, темно-волосая женщина, плосколицая, узкоглазая, с выщипанными бровями. У нее по азиатскому обычаю было много детей, кажется, четверо или пятеро, но женская увесистая грудь, женские крепкие бедра, полные

руки, крепкая спина, обширный зад — все говорило о постоянном половом влечении, ею испытываемом, которое не в состоянии удовлетворить ее муж, интендантский майор Филиппок, вдвое ее тоньше и ниже ростом. Как-то она по-соседски пила у Валентины Степановны зеленый чай с урюком. Сережа тоже участвовал в чаепитии. Когда Валентина Степановна зачем-то вышла в переднюю, Дильром Шовкатовна наклонилась, подобрала упавшую чайную ложечку и вдруг сделала рукой движение к Сережиной промежности, причем косые глаза ее в упор, вопросительно, зовуще посмотрели Сереже в лицо. Сережа, не ответив на ее взгляд даже взглядом, наклонился к своей пиале, глотнул чай, и она криво, презрительно улыбаясь, тоже глотнула чай, причмокнув. Дильром Шовкатовне было лет сорок, и эта по Сережиным понятиям пожилая, толстая женщина, постоянно вытирающая пот с лица, ему никак не нравилась. Однако после ее неожиданного движения и вопросительно-зовущего взгляда он начал к ней приглядываться. Возможно, Валентина Степановна нечто заметила или ощутила нечто женским чутьем, потому что сказала как-то о своей соседке, к которой до того относилась дружески:

— Прежде ни одного молодого офицера не пропускала, а теперь, когда постарела, так и мальчишками-первогодками не брезгует. Был случай, застали ее на кухне с поваренком...

Дильром Шовкатовна заведовала гарнизонной столовой, а муж ее, Зиновий Андреевич Филиппок, был начальником тыла, то есть занимался снабжением. Жили соседи богато, и при всем внутреннем презрении выпускницы университета к снабженцам Валентина Степановна старалась поддерживать добрососедские отношения. Даже после того как у нее к со-

седке появилось нечто вроде ревности. К тому же Дильром Шовкатовна была женщина добрая, щедрая и прежде, когда капитан Силантьев бушевал пьяный, оставляла Машеньку у себя ночевать. При всей своей человеческой доброте Дильром Шовкатовна имела, однако, явную склонность к половым извращениям — это Сережа чувствовал. Впрочем, на Востоке половые извращения — такое же обычное явление, как острые приправы к еде, без которых в здешнем знойном климате пища пресна и неаппетитна.

Все дни после того, как, сидя на тополе и заглядывая в темные окна, Сережа воображал картины насилия капитана над Валентиной Степановной, он думал о ней постоянно, маниакально, и тут вдруг — звонок, голос Валентины, привычно знакомый прежде и незнакомо возбуждающий теперь. Валентина Степановна сказала, что очень соскучилась, но обстоятельства не позволяли видеться, а теперь она ждет его в гости. “Обстоятельства — это капитан, — подумал Сережа. — Наверное, капитана снова отправили в психгоспиталь. Сегодня я заменю капитана”.

Едва дождавшись вечера, Сережа пришел все-таки раньше срока и заметил, что Валентина Степановна оказалась этим обеспокоена, куда-то выходила, что-то на лестнице говорила. “Неужели капитан еще здесь? Что за странности, что за тайны”, — думал Сережа, все более возбуждаясь. Вскоре, однако, Валентина Степановна вернулась успокоенная, и сели ужинать с вином. За прошедшую неделю Валентина Степановна переменялась. Осунулась, под глазами — круги, в глазах — усталость, но все это было ей к лицу, все влекло, все возбуждало.

— Очень соскучилась, — сказала Валентина Степановна, когда они выпили несколько рюмок, — очень скучала, — и потянулась, чтобы чмокнуть его в губы, на

что он обычно отвечал хладнокровным поцелуем, после чего Валентина Степановна обычно уходила за ширмочку, аккуратно раздевалась, в порядке укладывая одежду, гасила свет, ложилась в постель, ждала, пока разденется Сережа, и раскрывала перед ним добрые дружеские объятия, удобно раздвинув ляжки. Но ныне, чрезмерно, как показалось Сереже, опьяненный вином — хоть пили они это некрепкое, липкое вино и прежде в том же количестве, — ныне он впился ей в губы, ошарашив таким порывом. Затем, не давая опомниться, схватил, приподнял, понес к постели, срывая часть одежд на ходу и бросая где попало, еще торопливей стаскивал одежду с себя, с хрустом что-то разорвав. Дрожа от возбуждения, он мешал ей удобно улечься, удобно расположить тело — сжал вместо этого, сдавил... Вначале она пыталась говорить, даже сопротивляться, но затем его маниакальное состояние передалось и ей.

— А-а-а!.. О-о-о!.. — впервые за все их с Сережей сожителство закричала она. — А-а-а!.. О-о-о! — и вдруг, точно впад в бешенство, завопила, будто была она не культурная, окончившая университет библиотекарша, а уличная развратная женщина: — Крепче! Крепче! Сильнее! Дальше! Дальше!.. А-а-а... О-о-о!.. О, как... — и вдруг добавила уличное, нецензурное слово. — О, как... О, как... О, как...

В этот момент позвонили в дверь.

“Капитан, — с испугом подумал Сережа. — Что теперь будет?”

— Это капитан? — растерянно спросил он.

— Это дочка звонит. Машка, — все еще тяжело дыша, с досадой ответила Валентина Степановна. — Приехала без телеграммы! Покою от нее всю неделю не было. Сегодня велела ей у Дильром ночевать...

Пока они переговаривались, в дверь звонили непрерывно.

— Я ей сейчас, мерзавке, покажу, — сердито сказала Валентина Степановна.

Вскочила, накинув халат, и, шлепая босыми ногами, пошла в переднюю, откуда послышались выкрики, сопение и спор двух голосов.

“Вот глупое положение! — думал Сережа. — Ах ты дурак, дурак. Насчет капитана, насчет насилия — все твоё воображение!.. Это она тогда с дочерью ругалась, когда я на тополе сидел. Надо быстрее одеться и уйти. Не хватает ещё семейного скандала меж матерью и дочерью”.

Сережа выскользнул из-под одеяла и начал торопливо собирать свою разбросанную в порыве страсти одежду. В этот момент Валентина Степановна вернулась. Одна.

— Она больше не придет, — сказала Валентина Степановна, — дерзкая девчонка. Папина дочка! Представляешь, сказала мне, что я специально отправила Силантьева в госпиталь, чтоб жить с любовниками... Ложись, Сережа, ложись! — Она повалилась на него, впиалась страстным поцелуем в его губы, желая опять повторить то, что, возможно, переживалось ею впервые.

Но Сережа уже остыл, уже обмяк, уже угас, уже заскучал...

— Мне пора, — сказал он, сделав попытку подняться.

Однако Валентина Степановна держала его цепко, навалившись голым телом на Сережино голое тело и стремясь его вновь возбудить.

— Ты не беспокойся, — уговаривала она Сережу, — Машка больше не явится; завтра я ее назад к сестре капитана отправлю!

И тут же, после этих слов, опять позвонили. Лицо Валентины Степановны из умиленно-ласкового, с которым она уговаривала Сережу, тотчас сделалось сер-

дито-каменным. Видно, зная свою дочь, она и не ожидала, что все кончится хорошо. Не ожидала, но надеялась.

— Ну, я ей сейчас устрою! — сказала Валентина Степановна и, решительным, быстрым шагом направившись в переднюю, быстро, рывком отперла дверь, и Сережа, пытавшийся пробраться к одежде, мелькнув голым телом в упавшей из передней полоске света, бросился назад к постели, затаился под одеялом.

Пробегая, он успел заметить выглянувшее из передней девичье лицо. Не разглядел, но ощутил что-то среднерусское, блондинистое, видимо, в отца. Почувствовал также, что девочка, как и мать, была крайне озлоблена. Она ловко и решительно нырнула под руками матери, загораживающей ей вход в комнату. Сережа из-под одеяла слышал ее где-то уже вблизи от себя.

— Почему не осталась у Дильром Шовкатовны?

— Не хочу!

— Почему не хочешь?

— Не хочу! — как рубила.

— Что ж, — проговорила Валентина Степановна уже помягче, — не хочешь, раздевайся, ложись в свою постель.

“Это еще что за поворот? — думал Сережа, лежа с головою под одеялом. — Видимо, лаской берет”.

— Ложись, доченька.

— Не хочу! — твердит.

— Что же ты, Машенька, у Дильром Шовкатовны спать не захотела и здесь спать не хочешь? Будешь всю ночь сидеть?

— Буду сидеть! — все так же зло, капризно, спесиво.

— Как же ты, доченька, спать не будешь? Будешь всю ночь сидеть?

— Не буду спать!

— Отчего?

— А кого привела?

— Ложись, ложись, доченька, — не отвечая на вопрос, ласково шепчет Валентина Степановна и, слышит Сережа, вроде бы начала дочь раздевать.

Сандалики упали с легким стуком, платице снимает, шуршит. Сережа выглянул осторожно, видит: мать и дочь лежат в постели, мать девочку обнимает и что-то шепчет, объясняет, а та ей тоже шепотом отвечает.

“Вот дело еловое, — думает Сережа, — сколько же они так шептаться будут?.. Мне-то что делать, как выбраться? Вскочить бы нахально, трусы рывком натянуть, майку, галифе, гимнастерку, ремень через руку, сапоги в другую, фуражку на голову и — бегом!..” Лежит, прикидывает, но осуществить задуманное не решается. Сам не заметил, как забылся под шепот. Устал все-таки от страстного труда и эмоциональных перепадов. Вдруг Сережа очнулся от легкого толчка в бок. В забытьи, в полусне еще подвинулся под давлением теплого, голого грудастого тела.

— Заснула Машенька, — шепчет Валентина Степановна.

И верно, детское посапывание слышится. “Самое время уходить!” — подумалось. Но Валентина Степановна не пускает, спину гладит, целует, Сережину промежность ненасытно ладонью мнет. Невольно начал опять возбуждаться. Но вдруг одеяло прочь улетело, сорванное. Машенька, болезненно-гневная, носится по комнате в одной рубашечке, топя босыми ножками. Подбежала к кровати, зло сопя, потом от кровати побежала к буфету. На буфете сидели две Машенькины любимые игрушки: медведь и кукла...

Медведь был обычный, буро-коричневый, которого можно встретить в дебрях любого детского мага-

зина в любом городке рядом с целлулоидными пупсами, глупыми матрешками, белобрысыми куклами, чревоуещающими “мама”, и пионерскими барабанами. В раннем детстве Сережа тоже играл куклами и знал еще несколько мальчиков, играющих в куклы. Девочки играют куклой сознательно, воспринимая ее как своего ребенка; мальчик же куклой играет скорее подсознательно, воспринимая ее своей возлюбленной. Вспоминая свои куклы, Сережа иногда подумывал, что именно они пробудили в нем первое половое чувство. Но кукла, сидевшая на буфете, вряд ли такое чувство могла пробудить. Кукла эта была местная, азиатского производства, и произвела ее на свет местная фарфоро-фаянсовая фабрика. Тело куклы было мягким, из шелковых атласных лоскутов, набитых внутри темной, необработанной хлопковой ватой. Но голова была изготовлена из божьего материала, горшечной глины, хорошо обожженной в печах и покрытой глазурью. Точно так же изготовляли и покрывали глазурью — синей, красной, розовой — горшки, чашки, миски. У куклы, которую звали Машенька, были такие же, как у Маши, синие диковатые глаза, красные напряженные губы и розовые, возбужденные щеки.

Отбежав к буфету, Маша схватила куклу за атласные ноги и, подбежав к кровати, мимо голого плеча матери, ударила глиняной головой куклы Сережу в зубы. Ударила, как кирпичом. Рот мигом наполнился кровью. Валентина Степановна яростно взвизгнула и голая, как была, бросилась на Машу, вцепилась ей в волосы, поволокла в переднюю. Но, видно, и Маша вцепилась матери в волосы, потому что в передней обе упали с грохотом. Сережа, сплевывая в ладонь кровь, вскочил рывком, гимнастерку в одну руку, сапоги в другую. Всё как задумал, да поздно осуществил: в дверь уже не побежишь — сцепившиеся мать и дочь загораживают.

Возможно, и на лестнице уже соседи собрались, разбуженные скандальными криками. Шагнул к окну, распахнул...

Был холодный азиатский рассвет, кричали ишаки. Знакомый тополь, снизу до половины сухой, сверху до половины зеленый, манил к себе. Если б разбежаться, можно бы и допрыгнуть, ухватиться за ветви. Но как разбежишься, стоя на подоконнике? Глянул вниз — показалось не так уж высоко, а крики сзади всё подгоняют. Бросил вниз одежду, сапоги, они глухо упали... Оттолкнулся, прыгнул в надежде достичь тополя, но лишь пальцами коснулся ветвей — пронесся мимо в свободном полете. Наклонился, чтоб поднять упавшую с головы фуражку, боль в правой ноге горячо вонзилась — перелом пяточной кости... Так! Но голеностопный сустав, кажется, цел, передвигаться можно... — Сделал шаг, и потемнело в глазах, опустился на землю. “Нет, перелом всей стопы”, — подумалось в отчаянье.

Подобрал Сережу патруль, отвез сначала в полковой медпункт, где дежурил Федя Гуро, злорадно, как показалось Сереже, усмехнувшийся, узнав, при каких обстоятельствах подобрали Сережу. Утром доложили полковнику Метелице, непосредственному начальнику и бывшему Сережиному покровителю. Полковник проявил в данном случае бескомпромиссность, написал докладную и взял обратно свою рекомендацию в военно-медицинскую академию. Дело приняло неприятный оборот; после госпиталя Сереже предстояло отбыть арест на гауптвахте, его послужной список был испорчен. К счастью, подоспело хрущевское сокращение армии, откуда старались уволить все ненужное и запятнавшее себя. Сережа был уволен одним из первых, что его очень обрадовало, поскольку он давно уже подумывал вырваться из этой глуши, уйти из

армии и поступить в медицинский институт, но по собственному желанию уволиться было невозможно, и только скандальное обстоятельство вдруг помогло. “И шуку бросили в реку...” — рассказывая о своей удаче, смеялся Сережа. Он подал в московский медицинский, выдержал конкурсные экзамены и был принят.

С Валентиной Степановной Сережа виделся после случившегося всего один раз, когда пришел в библиотеку подписывать обходной лист.

— Счастливой дороги, — сказала Валентина Степановна ровным голосом, без сожаления или обиды, но и без всякого интереса.

— Счастливо оставаться, — так же безразлично ответил Сережа.

Впрочем, он слышал, что Валентина Степановна тоже не остается, выходит замуж за полковника Метелицу и уезжает в Ленинград, где в результате хрущевской оттепели полковник опять получал свое место преподавателя в военно-медицинской академии.

6

Став студентом московского медицинского института, Сережа близко сошелся со своим сокурсником Алешей Кашеваровым-Рудневым. Семья Алеши по мужской линии – отец и сам Алеша – была медицинской, по женской линии – Алешина мать Мария Остаповна и старшая его сестра Сильва – принадлежала к миру искусства. Кстати, за спиной этой семьи по медицинской линии действительно была серьезная традиция. Прабабушка Варвара Алексеевна Кашева-рова-Руднева, первая в России женщина-врач, была автором капитальных трудов “Материалы для патологической анатомии маточного влагалища” и “Гигиена женского организма”. Муж ее, Алешин прадед Руднев, был профессором Хирургической академии. По линии искусства все было менее серьезно. Сильва – театральным художником; Мария Остаповна, бывшая актриса, писала теперь нравственно-назидательные пьесы для детей и юношества и чем-то напомнила вдруг Сереже давно забытую Мери Яковлевну, мать еще прочнее забытой Бэлочки. “В принципе, – думал Сережа, поглядывая на Марию Остаповну, – в жизни редко встретишь что-либо новое. Чаще вариации уже

знакомого, виданного. Вот Алеша — все-таки новое; хоть отдельные черты уже вроде бы и знакомы, но в целом — новое”.

Кашеваровы-Рудневы, московская потомственно привилегированная семья, жили в большой арбатской квартире. Тускло поблескивала старина, накопленная прошлыми поколениями, — бронза, хрусталь, неяркое, высшей пробы столовое серебро, золоченые рамы картин. Среди картин был, например, Врубель. Не копия, а оригинал, портрет девушки с заостренным овалом бледного лица и мистическими, чувственными большими глазами. Висело также несколько картин Павла Ковалевского, дальнего родственника Софьи Васильевны Ковалевской, профессора математики, с которой Варвара Алексеевна Кашеварова-Руднева была знакома и даже дружна. В большой семейной библиотеке хранилась книга Софьи Васильевны с дарственной надписью, но не по математике, а художественная, поскольку Софья Васильевна увлекалась и художественным творчеством, писала романы. Роман с дарственной надписью назывался “Нигилистка”.

Как-то Алеша, искавший на полках одну из нужных ему книг, показал Сереже роман Ковалевской и сказал:

— Вот уж по Крылову! Беда, коль пироги начнет печь сапожник... Никакого художественного дара, только переживания собственной души, в которой проглядывает это, — он усмехнулся и щелкнул пальцами, — это, известное по системе Krafft-Ebing, половое чувство на грани извращения. Как гинеколог я бы мог предположить ювенильные, внециклические маточные кровотечения в период полового созревания, оставившие в душе незаживающий рубец. Ты, верно, слышал, что в пятнадцать лет Ковалевская была влюблена в Достоевского...

К творческой деятельности своей матери Алеша относился скептически, посмеиваясь. Недавно Мария Остаповна окончила пьесу, которую якобы одобрили на радио и где-то в периферийном театре. Пьеса была, как говорила Мария Остаповна, “постановочно удобна и нравственно актуальна”. В ней было всего два персонажа: преподаватель в шляпе и преподаватель в кепке, — меж которыми велся нравственный спор о воспитании юношества. Побеждал, разумеется, преподаватель в кепке. Другая пьеса Марии Остаповны называлась “Вовка и овцы”. В ней с юмором, не лишенным нравственной назидательности, изображалась жизнь мальчика Вовки, сына передового колхозника-пастуха.

Алешиного отца, Михаила Федоровича, Сережа видел лишь несколько раз мельком, когда тот проходил к себе в кабинет. Потом он и вовсе исчез.

— Уехал в Новосибирск, там в институте кафедру получил, — как-то сказал Алеша. — У него с мамой давно не ладится.

Кстати, и сам Алеша в арбатской квартире не жил — у него была маленькая, однокомнатная, однако отдельная квартира в кооперативном доме на Сретенке. Был Алеша невелик ростом, худошав, некрасив, но обаятелен. Часто менял любовниц. Все они ему стряпали. Одна очень хорошо готовила овощные супчики, и когда он с ней расстался, то тосковал по этим супчикам. О другой, нынешней, с восторгом говорил:

— Только познакомился, а уже голубцы лепит!

В большой арбатской квартире постоянно жили только Мария Остаповна и служанка Ксения, девушка лет двадцати пяти с синими кругами под глазами. Алешина сестра Сильва также жила отдельно со своим мужем Петром Павловичем, артистом эстрады, “народным комиком”. Иногда, по тому или иному случаю,

устраивались семейные обеды, и тогда все сходились на Арбате. Случалось, на эти семейные обеды приглашали и посторонних. Так, на один из таких обедов Алеша пригласил Сережу, а Сильва – Каролину, чешскую балерину, проходившую стажировку в Большом театре.

Каролина сидела на противоположной от Сережи стороне стола, чуть наискосок, и Сережиным глазам было на нее смотреть словно бы больно, как на нечто слепящее, яркое: он не видел ее в подробностях, а лишь в целом. Он заметил, что в ней много белого – в одежде, в глазах, в лице, в волосах. Лишь позднее он начал различать детали и тогда обнаружил, что глаза у Каролины не светлые, а карие, и волосы – светло-каштановые. Говорила она по-русски, но с шипящим чешским акцентом, с милыми ошибками и неточностями. Впрочем, в тот первый вечер она говорила мало, да и все говорили мало, поскольку за столом господствовал Петр Павлович Коровенков, муж Сильвы и “народный комик”. Когда Ксения подала на блюде жареных уток, Петр Павлович поводил над ним вилок, остановился над румяным куском, наколол его, положил на свою тарелку и, сделав насмешливо-печальное лицо, произнес:

– Прости, утка! – после чего впился в кусок зубами.

Сильва визгливо захохотала, обнажая металлические пломбы, а потом, наклонившись к Каролине, начала ей шепотом объяснять смысл шутки. Каролина слушала Сильву, по-лебединому грациозно склонив свою узкую маленькую головку с гладкой балетной прической – светло-каштановыми волосами, закрепленными сзади узлом. Поняв смысл шутки, она вежливо улыбнулась. Зубки у нее были маленькие, чистенькие, остренькие. Мышиные.

Все поглядывал Сережа, все поглядывал на нее и ничего не ел. Тарелка его была пуста, лишь несколько хлебных крошек лежало на ней в то время, как иные тарелки были уже полны обглоданных костей, а у Петра Павловича уже и кости класть было некуда. Ксения принесла ему другую тарелку. Перед Каролиной на тарелке тоже лежало обглоданное утиное крылышко, и она теперь ела утиную ножку, обернув косточку салфеткой, чтоб не испачкать жиром свои белые пальчики. Не решаясь посмотреть на спящее лицо Каролины, Сережа главным образом поглядывал на ее пальчики, державшие утиную косточку.

“То, что Петр Павлович создал за столом шутовскую атмосферу, — хорошо”, — думал Сережа, потому что ему так легче было скрыть свою робость перед этой женщиной, скрыть свою рабскую робость, свой ушиб, свою никогда прежде не испытанную беспомощность перед женским.

— Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь, — пел Петр Павлович козлиным фальцетом, не соответствующим его грузной, тяжелой фигуре и квадратному лицу, — Сильва, ты меня с ума сведешь, мало молока даешь.

Он поднял пустой стакан, и Сильва, продолжая показывать в хохоте свои пломбы, передала Петру Павловичу со своего края стола полную бутылку водки, поскольку бутылка, стоящая перед Петром Павловичем, была уже пуста, а лицо его побагровело. Впрочем, выпили все, причем водки; только Мария Остаповна пила сливовицу из початой бутылки, которую поставила перед ней Ксения. От выпитой почти без закуски водки Сережа осмелел, чаще стал поглядывать на Каролину, лицо которой потеплело, порозовело и сделалось доступней, но от этого волновало его еще больше.

— Что это за доморощенное толстовство, Сережа, — по-пьяному громко сказал Алеша, указывая на свободную от угиных костей Серезину тарелку. — Перед тем как стать вегетарианцем, Лев Николаевич ел много мяса... Надо есть мясо, — повторил пьяный Алеша, нажимая на слово “мясо”, и Сережа вспомнил, как рассказывал Алеше о том, что в армии было принято называть женщин “мясом”. — Сережа, — развязно, пьяно сказал Алеша Каролине, — это наш Вертер, кощунственно-дерзкий печальник, высокий альтруист, бунтарь против несправедливой жизни!..

Сережа хотел рассердиться на эту Алешину развязность. Ему показалось, что она оскорбляет Каролину, а значит, и его, Серезу. Но в этот момент Каролина протянула к Серезе через стол маленькую свою ладошку, и Сережа робко, как за подающим, протянул ей навстречу свою ладонь, при этом опрокинув локтем стоящую перед Петром Павловичем бутылку.

— Очень было приятно, — сказала Каролина и вытащила назад из Серезиной свою ладошку.

Рука Серези некоторое время беспомощно висела над столом.

— Эх, эти мне белорусы! — с досадой сказал Петр Павлович, подхватывая бутылку, из которой все-таки пролилось, хоть и немного. — Из стакана выплеснул — к счастью, а из бутылки — к несчастью.

— Я не суеверный, — досадуя уже и на Петра Павловича, сказал Сережа. — Не суеверный и не белорус!

— Не белорус? — удивился Петр Павлович. — Жаль! Я хотел разузнать... Недавно был в Минске, выхожу на вокзале, слышу, женщина так отчаянно кричит: насильник, ко мне, насильник, ко мне!.. Я оторопел! Это верно, что по-белорусски “насильник” значит “носильщик”?

— Не знаю, — досадливо повторил Сережа, видя, как показывающая в хохоте пломбы Сильва пододви-

нулась вплотную к Каролине, касаясь ее плечика своим плечом, словно загораживая Каролину от Сережи, и опять начала объяснять смысл шутки Петра Павловича.

Каролина ушла с Сильвой и Петром Павловичем. Но перед уходом она вдруг сама подошла к Сереже, протянула руку и сказала:

— Спокойный вечер!..

“Боже мой, какая женщина, — думал Сережа. — Боже мой, какая...”

Неодолимое влечение подобно навязчивым мыслям, и мысли эти не давали Сереже покоя весь вечер и всю ночь. Он заснул лишь под утро, от усталости.

Сережа жил на Сивцевом Вражке, где дешево, удачно снимал маленькую комнатку с туалетом в конце коридора, но зато с индивидуальным телефоном. Снять ее удалось по протекции Алеши у одной старушки, дальней родственницы Алешиной мамы. Старушка постоянно жила за городом на даче, у женатого сына. В комнатке едва помещались кровать, стул, столик и книжная полочка, окно заслоняла кирпичная стена соседнего дома, так что в комнате даже днем было темновато. И все-таки здесь было лучше, чем в муравейнике студенческого общежития, где Сережа жил раньше. Разве мог бы Сережа там так же безмолвно лежать во тьме, рассматривая счастливыми глазами кирпичный экран, по которому скользила бесплотная жизнь? “Боже мой, какая женщина!” — то ли думал, то ли произносил вслух Сережа. И всё скользили, скользили по кирпичному экрану бесплотные тени и отсветы.

Утром, сидя на лекции по злокачественным новообразованиям женских половых органов, Сережа был рассеян и безразличен, хотя предмет его интересовал и лекции профессора Фоя он всегда тщательно конспектировал.

— Гнойные язвы в области клитора, — говорил профессор Фой, — кровеносные выделения из влагалища, цвета мясных помоев... Бородавчатые новообразования, внешне напоминающие цветную капусту... Погружение пуговичного зонда в раковую опухоль шейки матки...

Слушать все это сейчас было для Сережи то же самое, как, пребывая в райских куцах, пытаться слушать лекцию об адских котлах. В счастливом его мире была сейчас лишь простая чистая жизнь и простая чистая смерть. И логика этого мира была проста и чиста, а сущность ее состояла в стремлении изменить данное положение, как неприемлемое, на другое, более приемлемое. То есть встретиться с Каролиной. Что произойдет после этой встречи, Сережа не знал, но влечение было сильно, а влечение всегда требует двигательного проявления.

В том году московская осень была солнечной и полетному теплой, на улицах царил пестрота, веселая суета погожих дней, свежих, непыльных, неизнуряющих. Сережа прогуливался неподалеку от служебного входа в Большой театр, поглядывая на входивших и выходящих. Его поразило, что многие среди выходящих и входивших были похожи друг на друга и чем-то похожи на Каролину. Та же гладкая прическа, та же походка, тот же рост. Несколько раз сердце Сережи вздрагивало, начинало биться сильнее, но потом затихало. Это были не более чем отдаленные подобия. Сережа без пользы прогулял до вечера, возвратился домой уставший, но спал урывками, а просыпаясь, наблюдал бесшумную жизнь на кирпичном экране. Так, в бесполезных прогулках, минула неделя.

— Ты или нездоров, или читаешь ночами, — сказал Алеша, когда в воскресенье они с Сережей поехали на семейную дачу Кашеваровых-Рудневых.

— Читаю ночами, — ответил Сережа.

— Что? Точнее, кого?

— Пушкина.

— Ты бы сейчас Гёте почитал, “Страдания молодого Вертера”.

“Опять намеки, — с тревогой подумал Сережа. — Неужели он догадывается? А может, догадаться легче, чем мне кажется? Может, моя внутренняя бесшумная жизнь внешне достаточно шумна и различима, может, я живу как сумасшедший, скрывающийся в стеклянном доме?”

Они с Алешей шли лесом, точнее, лесным парком, потому что среди деревьев были проложены парковые аллеи, стояли скамейки и мусорные ящики. Но пахло тут по-лесному остро, с горчинкой, и солнце светило по-лесному, било полуденно, почти вертикально сквозь верхушки деревьев, как сквозь высокую стеклянную крышу. Вокруг по-лесному вольно пели птицы, и белки разных размеров, молоденькие и матерые, прыгали с ветки на ветку, скрипели коготками по стволам, перебегали через дорогу... Алеша схватил Сережу за руку, придержал. Прямо перед ними маленькая белочка, совсем дитя, с тонким, жидким хвостиком пила из лужи, образовавшейся на аллее от утреннего дождика. Белочка напилась, принялась по-кошачьи умыться, чесать задней лапкой у уха, потом безбоязненно посмотрела на них блестящими шоколадными глазками, подняв мордочку.

— Чок, чок, чок, чок, — позвал Алеша белочку.

Это “Чок-Чок”, неожиданно прозвучавшее из Алешиних уст, было точно подслушанная им детская стыдная тайна, давно и тщательно скрываемая Сережей, даже от самого себя скрываемая. “Вот он, Джемс, — подумал Сережа, — психические обертона прошлого, которое кольцами окружает нынешние чувства”.

— У меня орех есть, — сказал Алеша, — я с собой всегда беру на лесные прогулки. Дай ей, а я еще поищу, — и начал рыться в небольшой сумочке, которую держал в руках.

Сереза бросил орех в направлении белочки и попал в лужу; белочка испуганно метнулась, прыгнула на сосну и исчезла в ветвях.

— Кто ж так дает? — с досадой сказал Алеша. — Надо было спокойно протянуть на ладони, она бы с ладони и взяла... Чок, чок, чок!.. Нет, уже не придет, не доверяет... Да в полдень у них и отдых начинается, отдыхают в дуплах. Пойдем передохнем и мы, пока есть возможность. Часа через два Сильва должна приехать, а это значит, шум и суета. Она звонила из хореографического училища, у нее какие-то там дела с чешкой. Помнишь чешку, которая обедала у нас?

— Да, помню... А что, Сильва, — спросил Сереза, чтоб увести с истинного следа на ложный, — Сильва работает там?

— Да какой-то учебный спектакль оформляет, — пренебрежительно сказал Алеша.

Училище это располагалось на тихой крутой улице в самом центре Москвы, где еще попадались осколки былой “матушки”. Тихие старушки, ухоженные сытые собачки, звуки фортепиано, не заглушенные городским рокотом. По случаю теплой погоды окна на втором этаже дома, где располагалось училище, были распахнуты, мелькали мужские и женские молодые лица, обнаженные руки, обнаженные плечи, все это — в тесном телесном контакте под ритмичную фортепианную музыку. “Где-то среди них Каролина, — подумал Сереза, — такая же обнаженная, доступная тренированным сильным рукам партнера... Опять эти психические обертона! Прошлое кольцами окружает настоящее и делает время неподвижным, а чувства одно-

образными. Точно я и не слезал с азиатского тополя и все еще заглядываю в окно, за которым воображаемый капитан Силантьев насилует свою жену! Неужели это как-то подобно тому, что происходит сейчас, когда под музыку Чайковского тренированные молодые мужчины и женщины ритмично двигаются в просторном солнечном зале? Неужели и то и другое укладывается в общую систему Krafft-Ebing, в систему половых извращений? Но в данном случае — эстетизированных половых извращений?”

Вдруг Сереже показалось, что из окна училища кто-то на него глянул. Он отошел подальше, купил у лотошницы мороженое, потом купил в киоске “Комсомольскую правду”. Все время ходить взад-вперед было неприлично, на него уже поглядывали старушки, лаяли собачки. Поэтому Сережа пошел к расположенному чуть выше по крутой улице скверу, сел на скамейку. Чайковский отсюда был едва слышен, но выход из училища ясно просматривался. Сережа поглядывал то в газету, то на училище. “Питомцы комсомола” — прочел он крупный заголовок.

В скверике на соседней скамейке сидела какая-то семья, по-московски бледная, незагорелая, с лицами однотонными, как непропеченное тесто. Он был белокур и лысоват, она так же белокура и некрасива и белокурый ребенок — непонятно, мальчик или девочка — в розовом костюмчике. У всех троих были одинаковые голубые глаза. Он что-то говорил, явно наступательное, она отвечала, отражала, отбивалась, и лица обоих были сосредоточены, напряжены, повернуты навстречу друг другу. Лицо же малыша было мирное, ничем не обремененное. Вдруг, не прерывая разговора, мужчина схватил лежавшую на скамейке обувную коробку и сильно по дуге метнул ее на газон. Коробка раскрылась в воздухе, и женские босоножки белого цвета

шлепнулись на траву, поодаль одна от другой. Он и она продолжали шевелить губами, но малыш тотчас слез со скамейки, заковылял медвежонком к газону, поднял одну босоножку и, деловито пыхтя, принес, положил на скамейку. Затем малыш трудолюбиво принес и вторую босоножку, принес по частям картонную коробку...

Сережа так загляделся на этот бытовой, семейный сюрреализм, что пропустил момент окончания репетиции. Когда он глянул в сторону училища, оттуда уже вереницею выходили и Чайковский более не звучал. Сережа вскочил, быстро пошел к училищу, и едва он приблизился, как вышла Каролина. Сережа метнулся назад, за киоск, испугавшись, что она увидит его, мигом осознав всю нелепость происходящего.

К счастью, Каролина была не одна: внимание ее было отвлечено немолодым, высокого роста человеком с длинными, курчавыми, поблескивающими прядями волосами. Что-то Каролина и курчавый говорили между собой, и оба смеялись, общаясь одновременно с другими выходящими молодыми мужчинами и женщинами, и те тоже смеялись чему-то общему, всем понятному, но ему, Сереже, неведомому и недоступному. Меж тем вышел в веренице балетных людей и атлетически сложенный юноша, коротко стриженный, круглоголовый, с азиатским разрезом глаз. Он подошел к Каролине, что-то ей сказал, та улыбнулась, погрозила пальчиком, что-то сказала узкоглазому, и курчавый тоже, и затем все трое пошли вниз по крутой улице.

Сережа, несколько выждав, двинулся следом, сам не зная зачем, но стараясь не потерять Каролину из виду. Крутая тихая улочка негромким ручейком влилась в шумный, бурный центр Москвы, и следить за Каролиной становилось все трудней. При переходе

через площадь у Большого театра Сережа вовсе ее потерял, но рванул на красный свет через улицу, промывнул перед несущимся автомобилем и настиг, увидал ее уже на улице Горького, сориентировавшись по ее курчавому спутнику, голова которого возвышалась над толпою прохожих. Идя вверх, в сторону Пушкинской площади, Каролина и ее спутники вошли в магазин минеральных вод. Сереже тоже захотелось пить. “Войти б, — подумал он. — Если увидит в очереди, то это естественно”. Но все-таки не вошел, остался стоять, прислонившись к одной из растущих вдоль улицы лип, и вынул газету, опять прочел заголовок: “Питомцы комсомола”.

Выйдя из магазина минеральных вод, Каролина со спутниками вошла в толчею Елисеевского магазина. Курчавый и атлет словно несли ее, загоразивая локтями и плечами от толпы, к которой, увы, принадлежал и Сережа. Они несли ее из отдела в отдел, от колбасного отошли с промасленным жирным пакетом, от винно-водочного — с желтой бутылкой лимонной водки, потом протаранили толпу на пути в хлебный и вывалились с белым батоном через боковую дверь в переулочек. Из переулочка — опять на улицу Горького, пересекли Пушкинскую площадь и свернули на Большую Бронную.

На Каролине сегодня было узкое, обтягивающее балетную фигуру темно-красное шелковое платье; ножки ее ступали, обутые в красные на высоком тонком каблукке туфельки. Почему-то вспомнились уродливые белые босоножки, брошенные по дуге на газон, вспомнился семейный сюрреализм, в стиле которого живут миллионы. “Неужели и я буду когда-нибудь так жить, скучно и несчастливо? — с отчаянием подумал Сережа. — Нет, такая жизнь теперь для меня невозможна... Лучше умереть...”

Каролина со своими спутниками зашла на маленький рыночек, расположенный у Бронной. В прохладном гулком пустом павильоне пахло сушеными грибами и соленьями. Сережа, спешивший следом, вначале вновь потерял их из виду, но потом увидел в дальнем конце, где Каролина, курчавый и атлет ели моченые яблоки, купленные у торговавшей ими толстой бабы. Сережа смотрел на всю эту чужую, радостно аппетитную жизнь издали; в полупустом павильоне его легко можно было заметить, а к этому Сережа был не готов, этого он еще опасался. Чего он хотел? Ничего. Просто смотреть на Каролину, просто видеть ее. Впрочем, она, вероятно, его и не помнила; видела мельком тогда на обеде, мало ли кто мимо нее мелькает... Действительно, она прошла совсем близко от Сережи и не заметила. Или не узнала. Выйдя из рыночного павильона, Каролина, атлет и курчавый подошли к стоянке такси, и вскоре они окончательно унеслись вниз по Тверскому бульвару. “Глупо как! — подумал Сережа. — Зачем я шел сзади, зачем следил, как шпион? Более я никогда так...”

На следующий день в это же время он, однако, был возле хореографического училища, прогуливался взад-вперед от знакомого уже скверика и обратно. Было по-прежнему солнечно, но стало прохладней и окна оказались закрыты, музыки было не слышно. Лишь приглядевшись, можно было различить в классах обнаженные руки, обнаженные плечи,двигающиеся в заданном ритме.

Когда репетиция кончилась, Каролина опять вышла с курчавым. Сегодня по случаю прохладной погоды она была одета потеплей, спортивно-фольклорно. На ней был серый, домашней крупной вязки пуловер, из-под которого видна была полотняная вышитая рубашка, серая широкая юбка, желтые по щиколотку сапо-

жки. Поверх пуловера — коротенькая, на меховой подкладочке, безрукавка, через плечо — зелено-коричневая козровая сумка. Курчавый же был одет, как и вчера, в ширпотребовский пиджак, похожий, кстати, на Сережин.

Не дожидаясь на этот раз атлета, Каролина и курчавый вдвоем пошли вниз по крутой улице. Ноги сами понесли Сережу следом. Повторялось вчерашнее. Опять была шумная площадь перед Большим театром, опять Сережа отстал, опять приходилось бежать на красный свет, опять идти вверх по улице Горького до магазина минеральных вод. Но на этот раз Каролина с курчавым сюда не зашли, миновали и Елисеевский, пересекли Пушкинскую площадь и здесь вдруг деловито даже, как показалось Сереже, холодно расстались. Да и говорили на этот раз мало и почти не смеялись. Курчавый перед расставанием лишь чмокнул Каролину в щеку и ушел в метро, оставив ее одну. Она глянула на свои ручные часики, вошла в будку телефона, и тотчас же Сережей овладела такая робость, что захотелось пройти мимо, потерять Каролину из виду, успокоить дыхание, утишить сердце... Но он продолжал униженно стоять, обливаясь потом, несмотря на прохладную погоду. Он видел, как Каролина говорит по телефону, поворачиваясь то в профиль, то спиной, и уже решил в этот момент, когда она повернется спиной, пройти мимо, незамеченным. Но все стоял, а когда она выходила из телефонной будки, придерживая дверь и пропускающая в нее какого-то пожилого мужчину, он в отчаянье приблизился под тревожный, барабанный бой сердца и сказал: “Здравствуйте, Каролина!”

Взгляд Каролины стал настороженным, удивленным.

— Вы меня не помните? — торопливо и как бы сам собой произнес Сережин голос. — У Алеши Ка-

шеварова-Руднева... Вы с его сестрой приходили, с Сильвой...

— Серьоза! — воскликнула Каролина. — Это вы, Вертер, да!.. Здравствуйте, Серьоза, что вы здесь подельваете?

— Я случайно проходил... Гулял — и вот заметил вас.

— У вас есть время гулять? Я вам завидываю. Правильно? Завидываю?

— Завидую, — улыбнулся Сережа.

— Да, завидую, — Каролина засмеялась.

Засмеялся и Сережа. Теперь уж у него было право смеяться вместе с Каролиной, как вчера смеялись атлет и курчавый. Место было людное, прохожие вокруг шли густо, и Сережа уже прикрывал, уже огораживал Каролину от постороннего напора, как это делали вчера атлет и курчавый, уже ощутил он счастливую свою близость к ней, недоступную иным, как недоступна она была и ему минуту-другую назад. Он вдруг почувствовал, что счастье, которое он вынашивал и вымаливал все эти дни, а может быть, вынашивал и вымаливал давно, с раннего молочного младенчества, с первого глотка воздуха, — счастье, молчаливое, как икона, когда-то висевшая в углу няньки Дуни, — это счастье откликнулось вдруг, обрело голос и пошло рядом с Сережей.

— Пойдем или поедем? — спросил Сережа.

— Пойдем, — сказала Каролина, — я мало бываю на воздухе... Погода превосходная. Превосходная, правильно? Трудное русское слово...

Она засмеялась. Смеялась она ослепительно.

— Немного ветрено, — сказал Сережа, чтоб только не умолкать, чтоб говорить и говорить с Каролиной.

— Ветрено? Но это на мне теплое. Это, без рукавов... Это правда баран.

— Какой баран? — засмеялся Сережа.

— А, это смешно... Это по-русски смешно. Правда баран — так по-чешски называется натуральный мех.

— Натуральная цигейка?

— Да, да... У нас в магазинах на шапках или шубах везде написано: правда баран.

Они говорили и смеялись без умолку, пока шли кружным путем: сначала — вниз, к площади Восстания, по грохочущей широкой улице, а затем — тихими арбатскими переулками.

— Здесь мы познакомились, — сказала Каролина, останавливаясь и указывая на старый серого цвета пятиэтажный дом, видневшийся вдаль на противоположной стороне улицы, — дом, где была квартира Кашеваровых-Рудневых.

Она указала пальчиком в глубину улицы, и Сережа вдруг смело наклонился и поцеловал этот указательный бело-розовый, как конфетка, пальчик. Каролина посмотрела на Сережу притворно строго, но глаза ее лучились, глаза играли, ласкали и миловали.

— Ты часто влюблялся, Серьожка? — спросила она.

— Нет, один раз, в детстве.

— О, детская, чистая любовь к девочке!.. Клятва верности, да? И чем это заканчивалось?

— Ничем. Я выпил бутылку чернил.

— Чернила? Почему ты напился чернилом? Обычно напиваются ядом. Напиваются — правильно я говорю?

— Если б я выпил яд, то не встретил бы тебя. Это Бог помог.

— Бог? Ты верующий?

— Нет, но теперь, может, поверю.

Все произошло неправдоподобно быстро, все оправдало самое несбыточное.

“Вот почему говорят о любимой женщине: неземная, — с радостным трепетом думал Сережа. — Когда

спокойное сиянье твоих таинственных лучей... Лишь теперь становятся по-настоящему понятны эти пушкинские строки... Что вы, восторги сладострастья, пред тайной прелестью отрад прямой любви, прямого счастья... Да, прямая, но неземная любовь...”

Уже в ресторане, за столиком, он заметил в Каролине и незначительные штрихи земного — три маленьких красноватых прыщика на белой шейке, недалеко от розового ушка с поблескивающим камушком. Все остальное, однако, осталось неземным. За спиной у Каролины было зеркало, точнее, зеркальная стена, и Сережа мельком все поглядывал в эту стену, где Каролина видна была сзади: хрупкие женственные плечи, прямая женственная спина. “Я люблю ее всю, — блаженно думал Сережа, — а вместе с ней всю Вселенную от края и до края... Как хорошо жить, как хорошо!”

В ресторане “Прага” Каролину знали. Видимо, она здесь часто бывала. Официант поздоровался с ней, как со знакомой, указал удобный отдельный столик и быстро принес заказанное Каролиной “рожнички” — жареное свиное мясо, посыпанное мелко нарезанным сырым луком, — и бутылку легкого чешского вина.

— Ты, Серьожка, можешь взять себе чешские кнедлики из творога. Очень вкуснятина. Мне, жаль, нельзя из-за фигуры, но у нас есть тапёр, играет на репетиции, так он всегда берет две порции.

“Это тот курчавый”, — подумал Сережа, и ревность заняла в его нутре, мгновенно набрав чрезвычайную силу.

— Что же он играет? — спросил Сережа, чтоб нейтральным вопросом остановить растущую тоску ревности.

— Что играет? О, разное... Чайковский или это... Та-ра-ра, ра-ра, ра-ра... Та-ра-ра, ра-ра, ра-ра... “Цыганский танец” Брамса...

— Ты часто здесь бываешь с этим курчавым? — не выдержал Сережа.

— С курчавым? Откуда ты знаешь, что он курчавый?

— Предполагаю.

— Да, действительно курчавый, волосы вьются. Он жид. Ты не пугайся, по-вашему, по-русски, это ругательство, а по-нашему, по-чешски, обычное слово, как чех и русский. У нас в Праге есть жидовское место — еврейский город по-русски — в самом центре... Правда, мертвый, там жидаы теперь не живут, там музей. У нас тоже есть антисемиты, но здесь больше. Вы, русские, не любите евреев, я знаю. Мне Вадим рассказывал.

— Вадим — это курчавый?

— Да. Он композитор, музыкант, а работает тапёром. Ему не дают дороги, потому что он еврей.

— Отчего же? — все острее чувствуя растущее раздражение против курчавого, сказал Сережа. — Он говорит неправду. У нас много евреев-музыкантов и композиторов.

— Это которые приспособились... Мне Вадим рассказывал.

— Он врет! — уж не сдерживая себя, зло, тоскливо сказал Сережа, чувствуя, что Каролина, недавно еще близкая, начала от него ускользать к курчавому, хотя того и не было рядом. — Он врет! — снова зло повторил Сережа.

— О, Серьожа, у тебя ненависть, — она произнесла “ненависть” по-чешски, делая ударение на “а”, — у тебя тоже ненависть к евреям...

— Только к одному, — сказал Сережа, — только к этому!

— О, ты ревнивый, как туркмен! У меня есть приятель, туркмен. Когда он сердится, у него белки глаз краснеют... Посмотри на меня, Серьожа, посмотри...

– У меня глаза не краснеют. И я не сержусь.

– Нет, сердисься... Посмотри, посмотри... Посмотри! – вдруг приказала она негромко, но властно.

Он подчинился, глянул своими темными в ее светло-карие. Надсадно ныло под сердцем, давило и теснило. Он хотел отвести глаза, однако не посмел, подчиняясь властному взгляду Каролины. Меж тем глаза Каролины начали сужаться, морщинки обозначились на коже, подкрашенные ресницы дрогнули.

– Ты, Серьожа, моргаешь, – сказала Каролина и засмеялась, обнажая маленькие мышинные зубки.

Сережа тоже облегченно засмеялся, вдохнул глубоко, точно минуло что-то душливное.

– Вот теперь ты другой, – сказала Каролина, – теперь ты обаятельный. Теперь в тебе не ненависть, а ласка... Ласка – это по-чешски любовь.

– Ласка, – повторил Сережа. – Красивое слово.

– Славянское слово. А в вас, русских, много азиатского. Москва – азиатское слово и город азиатский. Арбат – это тоже азиатское слово. Ты не обижаешься? Сильва, когда я так говорю, всегда обижается. Она хорошая, а муж у нее питомец.

– Питомец? Какой питомец? Чей питомец?

– Просто питомец, – сказала Каролина и постучала себе пальцем по лбу. – Ах, опять смешно... Питомец – это по-чешски дурак.

– Питомец комсомола, – сказал Сережа и засмеялся. – Я вчера в газете читал, когда ждал тебя...

– Ждал меня? Ты вчера ждал меня? Где?

Сережа почувствовал, что жар прилил к его лицу.

– Я уже тоже путаю... Я хотел сказать: думал о тебе и читал газету, а в газете – “Питомец комсомола”.

– “Питомец комсомола”, – Каролина залилась своим волнующим, звенящим смехом. – Очень смешная связь меж чешским и русским, – сказала она, отсмеяв-

шись и вытирая глаза платочком. — Когда русские приезжают к нам в Прагу, им многое кажется смешно... Всюду висит “Позор”. “Позор” — объявление такое повсюду написано: и на железной дороге, и при автопереездах... “Позор” по-нашему — “внимание”, “осторожно”.

— Красивый город Прага? — спросил Сережа.

— О, Прага злата... Золотая. Это надо повидать и тогда лишь разуместь. Пшиконы, Вацлавское напесте, Сметоново набережина, где я работала в Народном дивадло... Это наш оперный театр, как у вас Большой. Ты хочешь приехать в Прагу, Серьожа?

— Очень хочу погулять с тобою по Праге. Вообще поехать по Чехословакии. Говорят, красивая страна.

— Россия тоже красивая, — сказали Каролина, — но она, как это сказать... Неубранная... Неубранная квартира. Я была в коммунальной квартире, где живет Вадим; там в коридоре дорогой дубовый паркет, но разбитый, грязный, заплесанный, мокрый. Такая и Россия — неубранная. Много несчастных животных, много собак возле помоек, грязных, несчастных и злых, недоверчивых. Я хотела одну покормить, она мне показала клыки, зарычала. Злые и обиженные собаки мне русских людей напоминают с улицы. Тех, которые на улицах толкаются и ругаются. Ты, Серьожа, опять обижаешься. Вы, русские, очень обидчивые. Других вы ругаете, особенно евреев, а сами очень обидчивые, и вам нельзя говорить правду. Вот Сильва — она хорошая женщина, но очень обидчивая.

“Она бывает у курчавого дома, — с сердечной тоской думал Сережа. — И при чем тут Сильва? Все время она то про курчавого, то про Сильву”.

— Серьожа, Серьожа, — сказала Каролина, — улыбнись опять, Серьожа, улыбнись. У тебя обаятельная улыбка. Расскажи мне про себя, Серьожа. Ты тоже будешь доктор, как и Алеша?

— Да, мы учимся вместе. И отец — доктор по женским болезням.

— А где твой отец? Здесь?

— Нет, в провинции. Работает в клинике. Но скоро ему уже на пенсию.

— У тебя до твоего отца есть ласка? Ты его любишь?

— Да. Он умный, добрый, очень культурный. Любитель и знаток Пушкина.

— А я своего отца не люблю, — сказала Каролина, — у меня отец генерал, чешский генерал. Но мама у меня хорошая. У тебя, наверно, тоже хорошая мама, это чувствуется. Ты очень обаятельный, добрый, а это может быть только под влиянием хорошей матери.

— Нет, я свою маму не помню. Она умерла, когда я был маленький.

— Бедный, бедный! Ты, наверно, на нее похож, я чувствую. Глаза у тебя материнские, да?

— Наверно. У отца другие глаза, светлые, а у меня — как у мамы. У меня мама была еврейка.

— Вот как, — оживилась почему-то Каролина. — Ты это скрываешь?

— Я это не скрываю, но я это не говорю.

— Вот видишь, значит, я права и Вадим говорит правду.

“Опять Вадим”, — досадливо подумал Сережа.

— Не буду больше о Вадиме, не буду, — заметив Сережино недовольство, пообещала Каролина. — Но мой папа, наверное, прав. Он говорил мне, что у меня слабость к евреям, когда я вышла замуж. Мой первый муж был еврей. Моя фамилия по первому мужу — Клусакова.

— Ты его любила?

— О, Серьожка, меж нами была большая ласка. Это был мой первый мужчина. Он старше меня на девять лет. Он замечательный человек, хороший чешский композитор, музыкант, пишет музыку для кино...

Подошел официант, предложил недавно полученное свежее чешское пиво.

— Да, конечно, — сказала Каролина. — Мой приятель выпьет, а мне нельзя — фигура...

Когда официант принес большую кружку пива, Каролина взяла ее и спросила Сережу:

— Можно я у тебя чуть-чуть попробую? Ты разрешаешь?

— Разрешаю, разрешаю...

— Ты добренький, — она улыбнулась, глотнула. — Это пельзенское. Оно считается лучшим чешским пивом. Но настоящее чешское пиво делают на маленьких пивоварнях для маленьких погребков. Я иногда себе позволяю. У нас есть пивной погребок, называется “У доброго ката”, у доброго палача. Там когда-то жил палач, который сам отказался от своей профессии. Правда, добренький? Ведь это редко, чтоб палач сам отказался. На вывеске кат стоит с крестом и мечом. А рядом — кружка пива. Приезжай, Серьожа, приезжай, посмотришь... А в общем, Серьожа, всюду люди живут одинаково, все люди одинаковы и все хотят одного — иметь красный живот. Это по-нашему значит “красивая, счастливая жизнь”.

— “Красный живот”. Как славно сказано. Красивый чешский язык, — сказал Сережа.

Подошел официант, Сережа вынул кошелек.

— У тебя есть? — спросила Каролина. — Я могу дать, — и полезла в козую сумку.

— У меня есть, — сказал Сережа и расплатился.

— Ты богатый. Папа деньги дает?

— Нет, я у папы не беру. Недавно гонорар получил за статью, которую мы вместе с Алешей писали.

— О чем статья?

— Да не важно... Тема статьи невеселая.

— А все-таки как называется?

– Хорионэпителиома матки.

– Матка, матка... Ах, я знаю, что такое матка, – она подмигнула Сереже и засмеялась. – А первое слово что означает?

– Хорионэпителиома – злокачественная опухоль темно-красного цвета. Значит, и красный цвет не всегда счастливый.

– Да, это ужасно, – Каролина притихла, плечики ее опустились, она подперла щеку рукой. – И спасти при этой, как ее, уже невозможно?

– В ранней стадии при удалении матки и придатков имеется надежда.

– Это ужасно! Перед этим ничто не имеет цены. Но пока этого нет, пока оно кажется далеко, надо дожить радостями жизни и пользоваться ими. Ты согласен?

– Согласен. Поэтому я, наверно, стану верующим в благодарности Богу, который послал мне тебя.

– О, верующим!.. Но тебя прогонят из комсомола, ты не боишься? Ты ведь питомец комсомола?

– Питомец.

Оба засмеялись. От чешского вина и пива у Сережи кружилась голова, ноги были легкими, пружинистыми. “Ах, можно ли так влюбляться, – думал Сережа, глядя на Каролину, – так ослепляюще, оглушающе, точно в наваждении... Не будет ли расплаты за счастье? Да не страшно, не важно, за это любую цену платить можно. Меня несет, несет, как с корнем вырванное дерево несет поток, и я готов разбиться, исчезнуть, слиться с этим захватившим меня потоком”.

– Тебе не надо сюда? – спросила Каролина, указав на одну из занавешенных зеленой портьерой дверей и сама идя к другой.

Этот жест и эти слова обрадовали Сережу – в этом было уж нечто близкое, домашнее, даже интимное.

И в туалете, среди каких-то мужчин, Сережа стоял счастливый, жалея всех, кто сейчас несчастлив. Когда он вышел, Каролина уже ждала его у входа. Эта краткая разлука и быстрая встреча восхитили кружащуюся Серезину голову. “Она впервые ждет меня!” — подумалось радостно. Сережа потянул дверь, но та не подавалась. Он потянул сильнее.

— Поломаешь, — сказала Каролина и улыбнулась. — Надо там, а ты сам, — она легко толкнула дверь, и та открылась. — “Сам-там” тоже русским смешно. У нас на дверях написано: “сам” — значит “к себе”, а “там” — значит “от себя”.

— Когда мы повидаемся, Каролина? — спросил Сережа.

— Когда? Может, через недельку.

— А завтра? Завтра нельзя?

— Завтра нельзя. Я очень занятая. Через недельку. Запиши твой телефон, я позвоню.

Сережа записал телефон и протянул Каролине. Она глянула.

— Это где-то недалеко от меня, — и сунула бумажку в кофровую сумку.

— А твой телефон, Каролина? Где ты живешь?

— Я живу у “Кировской”. Но лучше я тебе сама позвоню. Возьми мне такси, я уже опаздываю.

Сережа метнулся, побежал на перехват такси так решительно, что таксист остановился.

— Спасибо, Серьожка, спасибо! — и вдруг, поднявшись на цыпочки, оглушила поцелуем в губы.

Когда Сережа опомнился, такси уже уносилось и мелькало улыбающееся лицо Каролины за задним стеклом, мелькала рука, которой Каролина махала, пока все это не было заслонено потоком машин. И сразу вся суетливая жизнь вокруг помертвела. Человеческие лица раздражали, не хотелось никого вокруг себя

видеть. “Неделька, — думал Сережа. — Что же я буду делать эту недельку без Каролины?.. Невыносимо!”

В полусне, в полубреду добрался Сережа домой и лег на койку. Кирпичный экран горел, беспощадно освещенный солнцем. До вечера было далеко, а как же еще далеко до конца этой “недельки”! “Что она будет делать эту недельку? Опять курчавый? Невыносимо!.. Я безумно влюблен. Безумно! — Он крепко сжал кулаки, крепко сжал зубы, точно хотел сам себе подтвердить, как он влюблен. — И я счастлив. Да, я счастлив... Я счастлив от своей любви... — Ему было тяжело дышать, он расстегнул, затем снял рубашку, снял и майку. Все мешало, он лежал в одних трусах. — Первый раз в жизни такое счастье... — думал. — Хаос, хаос — вот что меня окружало до сегодняшнего дня... Зачем я жил столько лет напрасно? Нет, не напрасно, — тут же себя и успокаивал, — не напрасно... Я жил, жил и дожил до сегодняшнего дня. Все эти увлечения, о боже мой, все эти влюбленности детства, которые теперь так смешны, — все это готовило меня к сегодняшнему дню, все это окружает сегодняшний день кольцами, психическими обертонками Джемса... О боже мой, я счастлив, я счастлив, я умираю от счастья”. Он жестикулировал, потирая руки, и со стороны выглядел обычным клиническим безумцем, но не замечал этого, пока не ударился случайно, жестикулируя, головой о стену — ударился так, что огненные круги сверкнули перед глазами. Тогда лишь, опомнившись, с болью в голове, он лег, утомленный, на койку, притих, однако думать продолжал все о том же, не замечая времени; а меж тем кирпичный экран был освещен уже не солнцем, а луною.

“Лунная ночь, — подумал Сережа, осознав наконец происшедшее изменение, — в лунную ночь все обманчиво. В лунную ночь тень дерева может быть принята за человека, а грохот телеги по деревянному мосту —

за отдаленный гром...” Он взгляделся и узнал, увидел всё, о чем думал. Из темного пятна древесной тени выростал человек, а грохот телеги по деревянному мосту превращался в отдаленный гром. В раскатистый, звонкий гром с неба. Еще в исчезающем полусне, в незнакомой лунной местности Сережа с полузакрытыми глазами схватил телефонную трубку и услышал голос Каролины.

— Серьожа, это я, Каролина... Ты думал про меня?

— Я о тебе думал... Я все время о тебе думал.

— Я тоже про тебя думала, Серьожа...

— Каролина, я не могу ждать неделю! Мы должны увидеться завтра...

— Да, Серьожа, мы должны увидеться... Я к тебе еду, скажи мне адрес.

— Когда едешь?

— Сейчас. Я возьму такси. Скажи адрес.

Ничему не удивляясь, как в продолжающемся лунном сне, Сережа сказал адрес.

— Это близко... Я скоро буду, до встречи. Ты один?

— Один, один!

— До встречи. Я буду через двадцать минут, через полчаса...

Сережа смотрел вокруг, видел свою маленькую комнату, свои вещи, привычную стену за окном, освещенную луной и ночными отсветами, видел все это и не узнавал — все приобрело какую-то дополнительную глубину, особые качества. Посидев так, он опомнился, бросился все убирать, приводить в порядок, но руки не слушались, и за что бы он ни брался, тут же бросал — и слушал, слушал, напряженно слушал, не подъехало ли такси, не позвонили ли в дверь... Уже минуло полчаса, а не звонили. Наконец режущий, никогда прежде не слышанный звук. Бросился, опрокинув по дороге стул, заранее воображая ночное лицо

Каролины, ее улыбку, лучистые светло-карие глаза... Распахнул дверь сильно, широко... За дверью была призрачная пустота, освещенная тусклой электрической лампочкой. "Слуховая галлюцинация", — подумал с тоской и испугом. Бросился назад, к телефону, снял трубку, но тут же вспомнил, что не знает, куда звонить.

Когда в отчаянье ждешь звонка, когда вся жизнь твоя связана с этим звонком, молчащий телефон страшен, страшны все посторонние звуки, даже стук собственного сердца — все тогда лишнее... Но вот звонок. Схватил трубку — нет, это в дверь. Метнулся, опять опрокинув стул. За дверями — Каролина, точно такая, воплотившееся воображение: улыбка, лучистые светло-карие глаза... Но все живое, прохладное от ночного холода, пахнущее чем-то божественным.

— Извини, долго поймала такси.

"Это милое до слез слово — «Поймала»". Чтоб не разрыдаться от счастья при первых же звуках ее голоса, он молча жадно припал к ее улыбающимся губам, поднял на руки и понес, вдыхая, наслаждаясь запахом ее волос, ее прохладной кожи. Каролина обняла его за шею руками, и так он кружил с ней по комнате, пока не наткнулся на поваленный стул, едва не упав, пошатнувшись.

— Серьожка, поставь меня, покуда я еще жива, — сказала Каролина, оглядывая его жилье.

— У меня беспорядок, — едва перехватив ее взгляд, заторопился оправдываться Сережа, — комната маленькая...

— Нет, очень мило, — сказала Каролина, освободившись наконец из Серезиных объятий и поправляя волосы, — жилье бедного, но умного человека... Много книг. А это Максим Горький? — указала она на портрет Ивана Владимировича, стоявший на полке.

— Нет, это мой отец... Мой папа.

– О, похож на Горького! Хорошее русское лицо. Видно, что интеллигент и либерал.

– Да, он либерал. Немножко либерал, немножко антисемит, как многие русские интеллигенты...

– О, это нехорошо!.. Но ты на него не похож, только скулы и подбородок, а глаза другие.

– Да, глаза у меня от матери.

Наступила неловкая пауза. Сережа не знал, что дальше говорить и что дальше делать.

– Ты меня напояешь чаем? – преодолев наконец паузу, спросила Каролина.

– Напою, – ответил Сережа, от волнения забыв, как правильно произносится это слово, и повторяя его вслед за Каролиной.

Сережа вышел в маленькую переднюю, где стояла газовая плита, нашарил спички, набрал в чайник воды – все это дрожащими руками, ломая спички и расплескивая воду. Поставив чайник на зажженную плиту, он начал шарить по полке, ища сахар и печенье.

– Серьожа, почему долго? Иди сюда, Серьожа, – позвала Каролина.

Он вошел в комнату и увидел ее уже полураздетой: своими тонкими руками, поднятыми как в танце, она извлекала заколки из волос. Мило встряхнула головой, и волосы рассыпались по ее худым плечикам, касаясь костлявых ключиц. Грудь у нее была необычайно маленькая, совсем почти детская, но бедра, которые охватывали телесного цвета кружевные трусики, были широки и хорошо развиты.

– Иди ко мне, Серьожа, – сказала Каролина и, взяв его руки своими, положила их себе на бедра, а потом вдруг высоко подняла свою легкую ножку и опустила ее Сереже на плечо. Когда Сережа по повелению этой ножки присел на кровать, Каролина своими тонкими пальчиками ловко надела на грубо вздувшуюся Сережи-

ну крайнюю плоть нежный, розового цвета, явно зарубежный гондон, мигом эту грубую, постыдно напряженную плоть облагородив. То, что исходило от Каролины и поработало Сережу, не было ни страстью, ни похотью, это было нечто подобное сомнамбулизму, трансу, когда вместо обычного жара наслаждение приносит холод: это были движения без стонов и криков, без телесных объятий — легкие, воздушные, неутomляющие, словно не Сережино тело наслаждалось, а только душа. И во всем Сережа с блаженной радостью подчинялся Каролине, как подчиняется младенец ласкающей матери, во всем следовал за ней и принимал те телесные позы, какие она создавала и направляла. В радостном забытьи, уж не зная, как более подчиниться и как полнее отдаться, он ткнулся губами к живому, эластичному, упругому, переходящему в мягкое, шелковистое, нежное, уж не в атласную кожу, а во внутреннюю слизистую оболочку... И все это — направляемый Каролиной, обнявшей Сережу за голову у затылка и пригибающей, пригибающей голову до боли в шейных позвонках.

— Нет, это ты не можешь, — сказала наконец Каролина, засмеявшись, — ты это делаешь, как тля краве... Как тля краве лижет... Ты не можешь, и никто здесь не может, — добавила она вдруг. Последние слова Каролины горячо, свинцово ударили по расслабленному Сережиному сердцу, и он лежал, сраженный, убитый ими в момент такой телесной и душевной близости, такой любви к этой женщине, которую, казалось ему, раньше он и вообразить бы не мог. Наконец он поднял на нее глаза. Она сидела на кровати, привалившись к стене, поджав ноги, обхватив руками колени, чудесно обнажая, не скрывая от него ничего своего, выворачивая перед ним, показывая самое свое интимное.

— Что ты, Серьожка? Ты обиделся?

— Я питомец комсомола, — сказал он, обняв ее ноги и целуя их, — Каролина, я не смогу жить без тебя.

— Разве? — засмеялась она. — Сможешь, Серьожка, сможешь...

— Не смогу... Я не хочу жить без тебя, теперь уже глупо жить без тебя.

— Ну спасибо, Серьожка, — сказала она, глядя его по волосам.

— Спасибо тебе, Каролина... Спасибо тебе за все. Только с тобой я понял, как пахнет счастье. У него запах твоих волос.

— Запах ты не говори, — засмеялась Каролина. — По-нашему, по-чешски запах — это нехорошо. “Какой запах” говорят, когда плохо пахнет... А когда пахнет хорошо, где-нибудь в Татрах на свежем воздухе, говорят: яка воня.

— Яка воня от тебя, — сказал Сережа и засмеялся.

— Да, хорошая воня, “Шанель номер 19”.

Они говорили уже спокойно, по-семейному уютно сидели за столом, но в этом спокойном, семейном сидении рядом с Каролиной было для Сережи не меньше наслаждения, чем он испытал с ней в постели. Просто это была иная форма одного и того же — того, что даже Пушкин не в состоянии был назвать иначе, чем любовь. “Я Вас люблю, чего же боле, что я могу еще сказать”. Он с радостью смотрел, как Каролина по-хозяйски наливает ему и себе чай. Это был новый, свежезаваренный чай — прежний выкипел без остатка во время их близости. Даже чайник едва не расплавился. Каролина пила чай мелкими глотками, грызла печенье мышинными своими зубками, и Сережа с умилением думал: “Если б она была мне сестрой, родной сестрой, родным по крови человеком! Я, конечно, все равно был бы в нее кровосмесительно влюблен...”

– У тебя есть брат, Каролина? – спросил Сережа.

– Брат? Да, есть брат.

– Он тебя, конечно, очень любит.

– О, что ты, он меня ненавидит! Он нашему отцу и нашей матери на меня все время нехорошо говорит. И жена его меня ненавидит.

– Не понимаю человека, который может тебя ненавидеть.

– О, очень, очень многие! – улыбнулась Каролина. – Очень многие меня ненавидят. Ты тоже, наверное, будешь меня ненавидеть...

Опять ударило свинцом по сердцу. Видимо, он изменился в лице, потому что Каролина тут же погладила его по волосам, приласкала.

– Прощай меня, Серьожа... Я пошутила. Ты очень миленький. Ты так долго смотрел на меня, я заметила. Почему ты смотрел?

– Я подумал: хорошо бы стать твоим братом, – признался Сережа.

– Да, брат ты был бы мне добрый, – улыбнулась Каролина. – Жаль, что ты мне не брат. Но ведь у брата будет жена. Как твоя жена ко мне отнесется?

– Я бы не женился...

– О, ты был бы монах. А я тоже была бы твоя святая девка... Или твоя старая девка. – Они опять засмеялись.

– Каролина, я не знаю, как еще тебе сказать, как я тебя люблю, какая у меня к тебе ласка... Я хотел бы тебе почитать Пушкина, может, Пушкин мне поможет сказать тебе это. – Он подошел к полке, взял томик. – У Пушкина есть стихи, называются “Месяц”, то есть луна... Очень похоже по чувствам на то, что у нас. На то, что со мной произошло в эту лунную ночь. Хочешь послушать? Удивительно похоже...

– О, Пушкин. Я люблю Пушкина. Это великий русский поэт, это европеец в Азии. Но, миленький, изви-

ный меня, в другой раз считаешь. Я тороплюсь, Серьожа, мне пора, — она глянула на часы.

— Останься у меня, я тебя не буду стеснять, я лягу на стульях.

— Спасибо, добренький мой, не могу. Ты меня проводишь?

— Да, конечно. Но мы скоро увидимся? Скоро, Каролина?

— Скоро. Сегодня понедельник, нет, уже вторник... Я позвоню тебе в четверг. Когда тебе удобно?

— Я буду ждать, когда ты скажешь.

— Я позвоню в четыре. Дай мне бумагу, я себе записываю: в четверг в четыре позвонить Серьоже миленькому, — и оглушила поцелуем в губы.

Лунная ночь кончилась, небо уже синело, скоро должно было рассветать. Серезу трясла лихорадка, он вздрагивал. “Подольше бы не было такси, подольше стоять бы так, держа Каролину за руку”. Однако такси, так трудно добываемое ночью, как назло, появилось быстро, мелькнуло зеленым огоньком на ветровом стекле: свободно.

— До почутья, Серьожа, — сказала Каролина.

Они поцеловались.

Таксист, выставив вперед свою ненавистную рожу, беззастенчиво смотрел, как они целуются.

— Я поеду с тобой, — сказал Сереза, — провожу до дому.

— Нет, я поеду одна.

Она уехала, опять мелькнув улыбкой в заднем стекле и махая рукой, пока не скрылась из виду. Вернувшись, Сереза увидел свою пустую смятую постель, недопитый чай, недоеденное печенье... На столе лежал томик Пушкина, раскрытый на стихотворении “Месяц”. Сереза взял томик и, сев на смятую постель, прочел:

Чок-Чок

Зачем из облака выходишь,
Уединенная луна,
И на подушки, сквозь окна,
Сиянье тусклое наводишь?
Явленьем пасмурным своим
Ты будишь грустные мечтанья,
Любви напрасные страданья
И гордым разумом моим
Чуть усыпленные желанья.
Летите прочь, воспоминанья!
Засни, несчастная любовь!
Уж не бывать той ночи вновь,
Когда спокойное сиянье
Твоих таинственных лучей
Сквозь темный ясень проничало
И бледно, бледно озаряло
Красу любовницы моей.
Что вы, восторги сладострастья,
Пред тайной прелестью отрад
Прямой любви, прямого счастья?
Примчатся ль радости назад?
Почто, минуты, вы летели
Тогда столь быстрой чередой?
И тени легкие редели
Пред неожиданной зарей?
Зачем ты, месяц, укатился
И в небе светлом утонул?
Зачем луч утренний блеснул?
Зачем я с милою простился?

— Зачем, зачем? — эхом повторял Сережа пушкинский вопрос.

В четверг в четыре Каролина не позвонила. Она не позвонила ни в пять, ни в семь, ни в девять. В нача-

ле десятого раздался звонок. Сережа взволнованно сорвал трубку. Звонил Алеша.

— Что с тобой? Ты исчез, не ходишь в институт.

— Я приболел.

— У тебя голос взволнованный... Что-нибудь случилось?

— Я устал.

— Ты раздражен?

— Я устал.

— Хорошо. Позвоню, когда отдохнешь, — и повесил трубку.

“Болван! — сам себя обругал Сережа. — Ведь он знает телефон Каролины. Может, взять у Сильвы... Нет, не надо втягивать посторонних”.

Сережа пробовал себя успокаивать, уговаривал, придумывал разные причины, по которым Каролина не позвонила. Внезапное нравственное волнение, сильный испуг, неожиданное потрясение, острое истерическое заболевание еще как-то можно смягчить уговором, но то, что действует медленно, исподволь, как гнетущая забота, уговору не поддается. Однако Сережа все-таки продолжал уговаривать и успокаивать себя. Глядя в окно на осенний холодный дождь, он думал: “В осеннем дожде для человека печального есть нечто близкое. Какая-то упорная монотонность, не склоняющая покорно голову перед судьбой, а вступающая против судьбы со скорбным, ропщущим словом”.

Под скорбно ропщущим дождем Сережа стоял на крутой улице, глядя в плотно закрытые окна второго этажа хореографического училища. Вокруг было пустынно и горестно, мокрые деревья стряхивали последние листья, торопливо мелькали редкие прохожие в плащах и с зонтиками. Прошел атлет-азиат с какой-то молодой балетной женщиной, громко разговаривая и смеясь, как раньше смеялся и разговаривал

с Каролиной. Прошел курчавый в извозничьем плаще с капюшоном, прошел один, быстрым шагом, опустив голову. Каролины не было. Вернувшись домой промокшим, Сережа долго каменно сидел, потом, разом решившись, как решаются броситься в холодную глубокую воду, схватил трубку и позвонил Алеше.

– Извини, мне нужен телефон Каролины.

– Клусаковой?

– Да.

– Это у Сильвы, – Алеша вдруг замялся. – Хотя подожди, может, у мамы записано. Я позвоню ей и перезвоню тебе.

“Да... Нет, да... нет, да... нет”, – стучало сердце, стучало в висках. Алеша позвонил, сказал телефон и добавил сдержанно:

– Ты не пропадай... Я тебе вечером позвоню.

Сережа положил бумажку с номером телефона Каролины перед собой. “Набрать сразу, не дав себе опомниться, или подождать, посидеть, привести в порядок хотя бы дыхание, если нет возможности успокоить сердце?” Думая так, он следил глазами за своим пальцем, набравшим номер. “Судьба еще молчит, молчит судьба, – думал Сережа, – последние мгновения молчит, и вот она скажет, переменит все... Если б Каролины не было дома, можно было бы продлить неизвестность, можно было бы продлить надежду...”

– Алло, – сказала Каролина.

– Это Сережа... Здравствуй, Каролина!

– Серьоза, здравствуй, добрый день. Как ты поживаешь?

– Я ждал тебя.

– Извиняй меня. Я немного задержалась, приболела. Ты получил мое письмо?

– Нет. Какое письмо?

– Я тебе писала.

— Каролина...

— Серьожка, я немного поспешаю... Всего тебе доброго, — и повесила трубку.

“Письмо, — подумал Сережа, — я уже три дня не заглядывал в почтовый ящик...”

Письмо лежало в почтовом ящике рядом с пакетом из медицинского журнала. Видно, прибыли гранки их с Алешей новой статьи. На письме Каролины был только Сережин адрес, написанный округлым почерком. Обратного адреса не было. Дрожащими, непослушными руками Сережа прямо на лестнице вкось, неровно разорвал конверт, вытащил пол-листа белой бумаги, прочел залпом в тусклом свете из залитого дождем окошка: “Серьожка, я тебя не люблю. Я и ты, мы побаловали. Прощай меня. Пусть будет у тебя красный живот. К.”

Войдя в комнату, он прочел письмо еще раз медленно. Все слова были на месте, ничего не почудилось. “Красный живот, — думал Сережа, — красный живот”. Он лег на постель и попытался представить себе Каролину такой, какой она была тогда в ту, подаренную ему ночь. Он пытался представить себе звуки той ночи, свет той ночи, запахи той ночи, прикосновения той ночи. Но представление получилось бледное, отвлеченное. Не в силах сосредоточиться, вообразить все это, он все сильнее ожесточался на себя, себя обвиняя в случившемся. “Прощай меня — это значит: прости меня навсегда. И прощайся со мной навсегда”. Вдруг сильно начали болеть зубы слева. Он взялся за левое плечо правой рукой, но болело уже сердце, пекло, точно на него лили кипяток. “Наверное, сердцебиение двести в минуту, — подумал Сережа, — или больше... Шея напряжена... Если б умереть... Но ведь не умру!.. Ведь не умру!.. Буду цепляться за жизнь, буду жить, обманутый жизнью... Ничтожество... Мерзавец,

негодяй!..” В сильнейшем приступе ненависти к самому себе он поднял руку и изо всех сил ударил себя кулаком по голове, потом опять, потом он ударился лицом о стену. Лишь когда потекла кровь из носа — опомнился, испугался, пожалел себя и заплакал, как дитя. “Я сошел с ума, — подумал он, — сошел с ума... Красный живот... Я сошел с ума...” Думая так, он продолжал плакать навзрыд. Слезы были спасительны, так ему казалось. Душевная боль не покинула его, но он уже искал объяснение ей вне себя, первый — самый опасный, жертвенный — порыв уже минул. “Это не сумасшествие, а обычная истерия, — успокоил он себя, — эта истерия возможна у каждого в известных обстоятельствах... Сердце бьется тише, шею отпустило. Надо выпить кофеин”. Он поднялся, шатаясь подошел к аптечке, выпил таблетку и, упав на койку, каменно, мертво уснул.

Когда проснулся, стена напротив была ярко освещена солнцем, и теней не было, как в полдень. Сердце не болело, голова кружилась легко, плавно. Томик Пушкина так и лежал на столе раскрытый с тех пор, как он снял его с полки при Каролине. Сережа приподнялся, потянулся к нему и тотчас почувствовал в голове нечто знакомое, бесконечно давно потерянное и вот теперь вновь обретенное. Это был тот самый гвоздь, глубоко, по шляпку вбитый в темя; вбитый когда-то в юности, затем потерянный в бесконечно давнем, зыбком, как мираж, дождливом теплом дне и вот теперь вновь обретенный. “Зачем луч утренний блеснул, зачем я с милою простился?” — прочел Сережа пушкинские строки. Ему уже трудно было понять, о какой милой, о каком прощании и о каком утре идет речь. Все было плотно, как обручами, стянуто кольцами психических обертонов Джемса и скреплено пушкинским вопросом — по шляпку вбитым в темя гвоз-

дем. “Неудачная любовь подобна ностальгии, — думал Сережа. — Тоске по прошлому, которое никогда не исчезало, а постоянно окружало настоящее кольцами. И вот теперь эти кольца начали давить невыносимо”. Сережа глубоко вздохнул; было трудно дышать. “Бэлочка, — нашел он вдруг давно потерянное, забытое имя, — Чок-Чок”. Он звал на помощь ту давнюю детскую любовь, ту счастливую детскую похоть, то милое, родное детское несчастье. А гвоздь все давил и давил в темя, и кольца сжимали грудь. Но было и нечто спасавшее, помогавшее... То была пушкинская печаль, пушкинские вопросы. Пока он лежал, можно было пребывать в состоянии спасительной меланхолии, но он знал: стоит встать, умыться воспаленные от слез глаза, выйти на улицу — как этот спасительный свет померкнет, потому что бытовой ритуал, нас окружающий, преломляет и искажает все те спасительные лучи, которые око смертного не способно собрать воедино. И, боясь пошевелиться, Сережа лежал, глядя в потолок. Требовательно, настойчиво звонил ненужный, бесполезный теперь телефон. Вялой рукой Сережа взял трубку. Звонил Алеша, приглашал на дачу. “Пожалуй, это лучшее из всего, что сейчас может быть, кроме неподвижности. Но ведь постоянно в неподвижности пребывать невозможно”, — подумал Сережа и согласился.

От Ярославского вокзала он доехал до нужной станции, пошел сначала привокзальной улицей, потом свернул влево. На убранном хлебном поле повсюду чернели птицы, бродили в поисках оставшихся колосков. На пастбище у реки, брэнча колокольцами, ходили коровы. Перейдя мост, Сережа пошел направо вдоль реки, вслушиваясь в многоголосое щебетанье среди приречного кустарника — видимо, и птицы радовались нежаркому, погожему осеннему дню.

– Что произошло у тебя с Сильвой? – спросил Алеша, когда, встретившись, они с Сережей пошли погулять в рощу.

“Сильва, – подумал Сережа, – при при чем тут Сильва?”

– При чем тут Сильва? – спросил он.

– Ах, при чем, при чем, – разволновался Алеша, – при том, что Сильва сейчас так же несчастна, как и ты, из-за этой чешки... Не понимаю... Обаятельна? Да, обаятельна. Красива? Да, красива. Однако есть и другие, не хуже. Чтоб так воздействовать, добиваться такого к себе влечения людей поддающихся, подходящих для ее гипноза, безусловно, нужны какие-то патологические способности. Ведь если внимательно приглядеться, то, помимо этих способностей и внешнего обаяния, она обычная глупая баба, прогрессивная идиотка, любящая поговорить о либерализме. Вы оба, ты и Сильва, ее жертвы.

– При чем тут Сильва? – спросил Сережа.

– При чем? – нервно сказал Алеша. – При том, что она тоже влюблена в чешку.

– Как влюблена?

– Лесбосская любовь, понимаешь? Лесбос... Раз ты уж столкнулся с этим, то я вынужден открыть эту несчастную тайну нашей семьи. Дурная наследственность, Сережа... Ведь папа не живет в семье из-за этих маминых служанок, таких как Ксения. Это ужасно, но это не преступление, а болезнь, и потому ты должен быть снисходителен к Сильве. Ведь чтобы заболеть, нужна не только дурная наследственность, но и индивидуальное предрасположение. Предварительный травматический невроз... А Сильва с детства дружила с одним своим одноклассником, и в совсем юном, почти детском возрасте то ли по собственному согласию, то ли еще как-то, но он грубо, неумело покушался

на ее невинность. С тех пор у нее то, что называют постконнубиальным помешательством. Помешательством после первой брачной ночи. Я пробовал как-то с ней говорить в минуту откровенности о ее несчастном пристрастии, она мне ответила: “Ах, Алеша, мужчины так грубы!..” Петра Павловича она держит для прикрытия... Бывали у нее и прежде разные увлечения подобного рода, но так оголтело, как с этой чешкой, впервые. Впрочем, чего требовать от Сильвы, женщины не слишком умной, слабой, скажу откровенно, хоть она мне и сестра, если ты, Сережа, ты, медик, знающий в совершенстве женскую конструкцию, — и вдруг такое, извини меня, обожествление uterus и clitoris. Это, извини меня, физиологическое идолопоклонство...

Сережа шел рядом, ничего не отвечая, не столько слушая Алешу, сколько прислушиваясь к гвоздю в своем темени, который давил и давил, на что-то намекая. Подошли к даче. Алеша позвонил, но никто не отпирал. Торопливо вставив ключ, Алеша широко распахнул дверь и с порога взволнованно позвал:

— Сильва!

Оставив Сережу в передней, он побежал внутрь дачи. Сережа прошел в комнату и сел в кресло. Выбежал взволнованный Алеша.

— Нигде нет... Может, у соседей? Она меня беспокоит, уже травилась раз люминалом, — и выбежал на улицу.

Едва он выбежал, как вошла Сильва, которая, очевидно, пряталась где-то в доме, пока Алеша ее искал. На ней было серенькое летнее платьице, волосы влажные... На босу ногу резиновые тапочки — видимо, купалась. Опалив сидящего в кресле Сережу ненавидящим взглядом, Сильва, ничего не говоря, повернулась к нему спиной, подошла к платяному шкафу, раскрыла

и вдруг — злым, резким рывком через голову — сорвала с себя платице. Под платицей Сильва была совершенно голая, без трусов и бюстгальтера, обрисованных лишь белым на загорелой коже. При одутловатом, пухлом лице у нее была мускулистая, спортивная спина, поджарые ляжки, неразвитые бедра и совершенно мужская, сухая задница. Стоя к Сереже спиной, Сильва неторопливо копалась в платяном шкафу, медленно выбирая, что бы такое надеть на себя. Копаясь на нижних полках, она наклонилась, выворачивая костлявый зад, раздвигая ноги. Скорее всего, этой выходкой Сильва демонстрировала полное свое презрение к Сереже как к человеку и мужчине. Сережа сидел неподвижно, ничего не говоря, и чем дольше он смотрел, тем все сильнее овладевало им мрачное настроение, хорошо уже знакомая ненависть к себе и к окружающей жизни. Торопливо вошел с улицы Алеша, хотел нечто сказать, но, увидав эту картину, сильно побледнел и остался стоять неподвижно с открытым ртом. Тогда Сильва выбрала наконец в шкафу белые трусы, туго обтянула ими свой сухой задок, выбрала белый бюстгальтер, надела и ловко, просунув руки назад, застегнула на спине, повернулась боком и, снова опалив Сережу ненавистью, вышла.

“Противно жить, — подумал Сережа, — какая тоска! Все это давно изучено, все ясно, как древняя плоская земля на трех китах... Немножко любви, чуть поболее патологии, еще поболее скуки...”

— Я пойду, — сказал Сережа и поднялся.

Алеша продолжал стоять бледный, ничего не говоря, не удерживая, и, вдруг повернувшись, побежал вверх по лестнице на второй этаж дачи. Сережа пошел было к выходу, но, перепутав, открыл не ту дверь и оказался в маленькой, тесной комнатушке, где на полу стояли какие-то банки, прикрытые газетами. Тут

сильно пахло йодом. “Йод, — подумал Сережа, осмотрелся и увидел бутылку йодовой настойки на подоконнике, среди иных бутылок. — Большая бутылка, — подумал он, — хватило бы и половины”. Приступ сильнейшей душевной боли, соединенный с чувством давления и стеснения в области сердца, овладел им. Эта предсердечная тоска, этот крайне напряженный аффект сделался совершенно невыносим, меланхолический порыв перешел в бурное движение. Сережа схватил бутылку — и хотя и мелькнуло в уме: “Надо бы где-нибудь в отдалении, в кустах, чтоб не помешали”, но не хватило сил медлить и невозможно было отыскать выход из этой комнаты слепнувшими, погружающимися во тьму глазами. Тут же откупорив, он страстно, как желанный напиток, опрокинул бутылку себе в раскрытый рот, сильно сжав зубами стеклянное горлышко. Перехватило дыхание, огнем обожгло рот, кишечник, мгновенно распух язык, не помещающийся во рту, и, издав мычание вместо крика, он повалился... Валился, валился и все не мог упасть, хоть давно уже лежал среди разбитых банок, заливая газеты темно-желтой, пахнувшей йодом кровавой рвотой.

* * *

Однако умер Сережа много лет спустя, еще не стариком, но в возрасте уже перезрелом. Умер, впрочем, от нефрита, следствия давнего отравления йодом. В последний год перед смертью Сережа уже не работал, страшно страдал от физических болей и отчасти даже помешался, стал лихорадочно религиозен, сочинял всевозможные религиозно-философские трактаты и стихи духовного содержания, подчас в весьма странной и грубой форме.

С листком, зажатым в скрюченных предсмертной судорогой пальцах, его и нашла жена, Татьяна Васильевна, врач-педиатр, сотрудник того института педиатрии и гинекологии, в котором они с Сережей когда-то познакомились.

Сережа сидел в кресле, запрокинув назад восковое, беспокойное даже после смерти лицо. На небритых щеках, среди седеющих волос еще не просохли слезы. Карандаш, которым он писал, валялся рядом на ковре. На листке было два стихотворения, и оба были посвящены некой Чок-Чок. Первое называлось “Обида”.

Обида, как вошь, завелась в голове.
Не гребнем ее и не ногтем.
Медовое море небесной любви
Телесным испортили дегтем.

Второе стихотворение, также посвященное Чок-Чок, называлось “Детские сны” и свидетельствовало о сумеречности Серезино сознания, ибо это были общеизвестные хрестоматийные стихи Пушкина.

Румяной зарею
Покрылся восток.
В селе за рекою
Потух огонек.
Росой окропились
Цветы на полях,
Стада пробудились
На мягких лугах.
Туманы седые
Плывут к облакам,
Пастушки молодые
Спешат к пастухам.

Перебирая бумаги и фотографии покойного мужа, Татьяна Васильевна нашла пожелтевшее фото, прежде у него не виданное, очевидно, скрываемое. На этом фото юный худенький Сережа, почти мальчик, сидел рядом со светлоглазой пухленькой девочкой. На обороте фотографии детским почерком, видимо, рукой этой девочки была написана явно откуда-то заимствованная фраза: "Наша любовь крепче, чем смерть". Тут же на обороте нынешней дрожащей Сережиной рукой была сделана свежая надпись: "До свидания, любимая".

Татьяна Васильевна жила с Сережей скучно, несчастливо, к тому же у нее еще и прибавилось забот и хлопот во время его болезни, окончательно испортившей Сережин характер, сделавшей его крайне раздражительным, грубым, даже циничным, позволяющим себе дикие выходки, так что дочь, Светлану, приходилось отправлять к бабушке, матери Татьяны Васильевны. Сережина болезнь Татьяну Васильевну совершенно измучила и после его смерти; отдохнув полгодика, она вторично вышла замуж, а все ненужные вещи прежнего мужа, в том числе бумаги и фотографии, были свалены ею в кладовке, где они постепенно ветшали, превращались в хлам. Спустя еще какое-то время дочь Сережи Светлана сдала их в приемный пункт вторсырья по весу на талон на книжку "Королева Марго".

1987

Западный Берлин

Муха у капли чая

1

“Телесная любовь, — писал без помарок Человек, — есть чувство, чуждое библейско-христианской морали. Вот почему наши отношения с женщиной, пока они живы, — язычески чувственны, воспалены, нездоровы на фоне современной идейной, бестелесной жизни. Для такого чувства нужны сырые леса, высокие горы, окружающие моря и притягивающие морские испарения, нужна степь, обильно политая чистыми дождями и реками. Нужен влажный и свободный мир европейского язычества. А библейско-христианская мораль родилась в местах сухих, обделенных влагой, и, так много сделав для души, она так мало дала телу, по сути, признав в нем врага своего. Бесконечно далекий прапредок человека был водным, морским существом, и в утробе матери человек живет в водной среде. Здесь же, на земле, ему не хватает влаги. Конфликт Шекспира, конфликт Ромео и Джульетты — разве это не конфликт воздушной и водной среды? Разве это не конфликт воздушной христианской духовности и водной языческой телесности? Телесная любовь — это высшее, крайнее проявление телесности, постоянно задыхается, дышит ребристыми боками, судорожно выставив язык, и чем дальше мы уходим от Влажной Без-

дны Начала, тем больше мертвых чувств, самообмана, бессилия перед тайнами, которые в языческом прошлом были понятны каждому подростку”.

Человек писал так, сидя на кухне у раздвижного шаткого кухонного столика. На столике стояли два стакана недопитого чая, почти уже остывшего, и суповая тарелка, в которую было насыпано овсяное печенье. Единственным украшением стола была синяя сахарница китайского фарфора из давно исчезнувшего сервиза. Капля чая у сахарницы и муха, с наслаждением окунающая хоботок в эту сладкую каплю, дополняли общую картину мучительного чаепития, которое Человек спешил запечатлеть. Каплю с ложечки уронила женщина, с которой Человек провел восемь взаимно несчастливых лет. Расстались они с полгода назад и виделись после этого всего три раза: два раза — по делу, и один раз — случайно, просто на улице, где бывшая жена шла с каким-то черноусым человеком гораздо ее моложе.

Теперь, когда окончилось сражение, и дым, окутывавший их семейную жизнь, разошелся в обе стороны, наподобие театрального занавеса, трудно было понять, кто победил, а кто бежал со сцены. Ибо всякая семейная жизнь происходит за закрытым занавесом. На авансцену действующие лица выходят только кланяться, то есть в чужие гостиные, на собственные именины или юбилеи, в места официальные и общественные. Когда же, по окончании семейной драмы, занавес раздвигается — сцена пуста, и вовсе уж ничего нельзя понять.

Восьмилетняя война нашего Человека со своей женой, разыгранная за опущенным занавесом по всем правилам военной науки, с активной обороной, контратаками, временными перемириями, будящими надежды на долгий счастливый мир, и новыми ожесточенными боями, обессилила обоих.

Впрочем, война есть прежде всего изнурительный труд, и профессиональные болезни в полной мере были приобретены Человеком. Деятельность его внутренних органов была крайне нарушена. Желудок, пищевод, сердце... Да, сердце, бедное сердце... Ведь простой переход от лежачего положения в сидячее или от сидячего в стоячее тотчас вызывает изменение работы сердца. Что же говорить о физической работе, сопровождаемой поднятием тяжестей, или о пищеварении после жирного алкогольного обеда, или о чрезмерном волнении... Волнении, когда долгой зимней ночью, свинцовой ночью замирают все звуки жизни, кроме двух сверлящих голосов, своего и супружеского, и сердце подкатывает к горлу, как непереваренная пища, так что хочется его вырвать на пол... Или бежать, бежать в одних трусах босиком по прохладному лунному снегу, бежать прочь, бездумно, безоглядно, туда, где так приятно кружит ночная поземка, убаюкивающе лают собаки и тридцатиградусный мороз ласкает воспаленное лицо. Но бежать нельзя. Красные губы шевелятся, и надо вникнуть в их обличия, в их аргументы, призвать на помощь логику, разум, свое преимущество в культуре и одним словом, одним контраргументом сразить и уничтожить...

Теперь, с многолетним опозданием, он понимает свою ошибку, неизбежную ошибку христианина-миссионера, пытавшегося проповедовать там, где нужна лишь лопата могильщика. Ибо сила аргументов дьявола в том, что они нечленораздельны, как вой дерущихся животных или пулеметная пальба. Наверно, этим упорным миссионерством можно объяснить самоубийство восьми прошедших лет, тучных плодоносных лет, которые даются мужчине, чтоб радостно проститься с молодостью. Этим миссионерством и жуткой догадливостью дьявола, умеющего вовремя передохнуть

от своего труда, вкусно покормить, откровенно пошептывать, ласково пощекотать и пропеть качествам-талантам Человека: “Осанна!” – теми же красными губами, которые недавно пели: “Анафема!”

Благословенны короткие шаловливые детские браки, когда легкомысленные догадливые ребята проявляют друг к другу милость Божию. Страшны многолетние – десятилетние, двадцатилетние – дьявольские оковы, особенно когда в тюрьме рождаются маленькие заложники, несущие в жизнь дьявольское семя.

Но, к счастью, наш Человек вынес из своего заточения лишь головные боли, колебания артериального давления, внутреннее напряжение, раздражительность, беспричинное беспокойство и повышенную утомляемость. Это было хорошо, однако и этого было достаточно, чтоб в течение полугода, прошедшего после расторжения брака, чувствовать себя весьма дурно. Человек систематически страдал бессонницей, а если и засыпал, то видел странные сны, напоминающие галлюцинации, а то и просто кошмары. Дело дошло до того, что участковый врач, вызванный к Человеку по поводу пустякового гриппа, осмотрев его, категорически заявил: “Немедленно обратитесь к психиатру”, – и выписал направление.

Но что такое обратиться к психиатру для человека, верящего в творческую силу своего разума? Это значит позволить другому, чужому человеку насиловать себя, это значит покориться чужой воле. Такое возможно добровольно, лишь если испытываешь от этого чисто женское удовольствие. Вот почему среди клиентов врачей-психиатров женщин и женоподобных мужчин гораздо больше, и они лечатся охотней.

Так жил Человек последние полгода после своего освобождения неприметным бело-серым днем 8 января, о чем ему была выдана официальная справка в загсе.

Па­дал мяг­кий сне­жок, ды­шалось лег­ко, и но­ги бы­ли уп­ру­ги­ми, хо­телось раз­бе­жать­ся и взлететь, но за­тем под­ня­лась ме­тель и слу­чи­лось не­обыч­ное яв­ле­ние при­ро­ды: сре­ди ян­вар­ско­го не­ба по­май­ски свер­кну­ла мол­ния и по­ка­тил­ся гром. Яв­ле­ние это бы­ло на сле­ду­ю­щий день опи­сано и объ­яс­нено в га­зете “Ве­чер­няя Мос­ква”. На вы­со­те де­вя­ти ты­сяч ме­тров воз­ник­ло элек­три­че­ское по­ле, вы­звав­шее гро­зово­й раз­ряд. Та­кое слу­ча­ется не ча­ще од­но­го ра­за в пят­на­д­цать лет... В­сё ясно объ­яс­нили. Од­на­ко в но­чной раз­но­го­ло­си­це Че­ло­век по­сво­е­му об­ду­мал это яв­ле­ние сре­ди проче­го мель­ка­ния раз­но­пла­но­вых лиц, идей и яв­ле­ний. “Элек­три­че­ское по­ле, — ду­мал он, — раз в пят­на­д­цать лет рас­це­та­ет зи­мой. А во­круг — элек­три­че­ские лу­га, элек­три­че­ские ле­са, элек­три­че­ские го­ры... Все это вы­со­ко, все это не­зем­ное...” “На воз­душ­ном оке­ане, без ру­ля и без вет­рил”, — пел поч­ти до утра опер­ный бас, мо­но­тонно по­вто­ря­ясь, и в кон­це кон­цов убаю­кал.

Так жил Че­ло­век но­чью. Днем же он жил в об­ще­стве и, со­гласно Мар­ксу, ко­неч­но, не был сво­бо­ден от об­ще­ства, то есть пре­дос­та­влял в его рас­по­ря­же­ние свои спо­соб­ности и по­лу­чал от него на дан­ном эта­пе об­ще­ствен­но­го раз­ви­тия не по по­тре­б­но­стям, а по тру­ду. Так жил Че­ло­век при­мерно пол­го­да, пока не­обыч­но су­хое ле­то, словно тя­же­ло­боль­ной, не от­го­ре­ло в трид­ца­ти­град­ус­ной тем­пе­ра­туре.

Был кон­ец ав­гу­ста, и жа­ра дос­ти­гла сво­е­го пре­дела. Од­на­жды, прос­ну­вшись на рас­све­те, Че­ло­век ощу­тил за­пах ды­ма и, ду­мая, что за­был на кух­не вы­клю­чить чай­ник, бро­сил­ся туда, силь­но уде­рив­шись по­путно ко­леном о двер­ной про­ем. Это был од­ин из его по­сто­ян­ных стра­хов — на кух­не по­жар. На кух­не па­хло ды­мом, но не бо­лее, чем в ком­нате. Га­зовая плита сто­яла безо­пасно мерт­во. Ост­ыв­ший чай­ник был на кухон­ном сто­ле. Тогда

он рванул входную дверь, думая, что пожар на лестничной площадке. Там тоже был дым, но без огня, и царил рассветный покой, не свойственный несчастным случаям. Тогда он выбежал на балкон и увидел голубоватый дымный туман среди сморщенной листвы, сожженной жестоким летом. Он ничего не успел подумать по этому поводу, ибо тут же раздался телефонный звонок, эта эолова арфа современной квартиры, отражающая звуки жизни, эта свирель, в переливах которой — неразгаданная, мистическая тайна, пугающая и манящая до того момента, как сорвана с рычажков трубка и какой-нибудь скучный голос начинает вещать позорную правду твоего бытия. Но голос, обратившийся к Человеку в это раннее утро, словно поднялся из глубин страшной экзотики прошлого, и дымный запах серы, окутавший местность вокруг, был явно неспроста. Он сразу узнал этот тембр с хрипотцой, и его одолел с особой силой страх нового ареста, знакомый многим людям, прошедшим годы в заключении, страх при полном сознании, что он в безопасности и никакого повода, никакой возможности для ареста нет. Страх, хоть голос звучал забыто-спокойно, не нервно и содержал не приказ, не борьбу, а просьбу.

Надо попутно заметить, что, как ни велики были последствия восьмилетнего прошлого, полгода свободы постепенно давали свои плоды. Человек начал спать спокойней, правда, как правило, засыпал он под утро, но зато, провалившись в спасительную тьму без снов, словно временно умирал и воскресал сравнительно отдохнувшим за эти два-три часа сна-смерти. Многие дали ему и прогулки в пригородных лесах, драгоценное одиночество, которое весьма спасительно, если уметь им пользоваться. А также книги, особенно пессимистического содержания. Но не в духе Ф. Сологуба: «О смерть, я твой! Повсюду вижу одну тебя — и не

навижу очарования земли”, — где в пессимизме чувствуются вызов и скандал с Богом в духе Достоевского. Нет, скорей светлый пессимизм Пушкина: “Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена...”

В этих строках чувствовались примирение и вопрос, который может задать земным мучениям только победоносная душа. И, прочтя: “Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум. И томит меня тоскою однозвучный жизни шум”, — Человек, успокоенный, закрывал пушкинский томик, понимая, что, раз существуют эти чудесные песнопения, значит, цель есть, хоть она мудро скрыта не только от обычных людей, но и от пророков.

Итак, отдышавшись за полгода, он особенно боялся потерять приобретенное, но голос, который ранее склонен был к злему эпосу, теперь говорил бытовую шелуху, словно из заурядной пьески о прощании-расставании. Действительно, теперь голос был членоразделен и сообщал, что собирается на днях уезжать не только из Москвы, но вообще из страны навсегда с новым мужем еврейского происхождения, и поскольку “все-таки восемь лет, то хотелось бы проститься... Времени мало, сам понимаешь. Могла бы сейчас взять такси, на часок подъехать...”

— У меня здесь дым, — сказал он ей почему-то.

— Дым? — переспросила она. — Ах, дым... Ничего страшного, это горят леса Подмосковья. Грандиозные пожары, ведь два месяца не было дождя. Здесь, в центре, на улице Горького, тоже дым... Горит земля под ногами. — Она хохотнула.

Так они вновь, спустя полгода, очутились друг против друга за стаканами чая на кухне, где столько прежде велось мирных переговоров. Как правило, на кухне противоборства не было. На кухне за этим столом за-

ключались перемирия, готовились мирные вкусные обеды и велся фальшивый ребячий разговор, игриво-ребячье обращение, чириканье: “Чипик-Чипочка!” — то, чем язык дипломата отличается от языка полководца, от искреннего животного воя: “Я тебя ненавижу!”

Бывшая жена красила теперь глаза, сделала себе модную прическу, от нее пахло духами, правда, дурного качества и слишком вульгарно, но она опять лицедействовала, а значит, жила по-женски радостно. Ибо артистичность — свойство женщины. Женственность — это стремление скрыть себя, быть другой, другим человеком, на себя не похожим, и кажется, что женщина потому так стремится к игре, к гриму, к косметике, что знает о себе такое, от чего ей самой страшно. Мужчина может быть глуп, отвратителен, лжив, но все это — его личные свойства, ни с чем общим не связанные. Дурные же качества женщины словно чем-то подытожены, словно объединены чем-то вне ее, и, может, в основе их — беспощадная прочность рода, равновесие жизни и смерти, требующее места для вновь воспроизведенного из небытия. Поэтому женщина высокой культуры, женщина глубоко образованная гораздо меньше отделена от женщины примитивной или даже дикой, чем это наблюдается у мужчин. В решающий момент ей легче снять с себя тысячелетние наслоения культуры, если того требует подлинный Хозяин, зовущий ее из Бездны. Цивилизация и культура были придуманы мужчинами для борьбы с Женщиной. Женщина, по сути, смертельный враг этой мужской выдумки, втиснувшей жизнь в узкие рамки Истории, имеющей начало и конец. Женщине гораздо лучше было в пещерах и первобытных лесах, где ей легче и лучше было выполнять свой подлинный долг перед Вечностью. Но Бог создал мир не для его вечного существования, и в этом подлинная трагедия

женщины. Бессильная перед Богом, она борется с мужчиной, главным Божьим работником на земле. Как же борется женщина? Женщина заставляет душу, занятую трезвым серьезным созиданием, корчиться и трепетать. Она заражает душу лихорадкой, ибо, пока душа болеет, ей нет дела до истории и прогресса. Тогда в борьбе с любовью возникла семья, куда прочно заключена была женщина, тогда возникла ненависть между мужчиной и женщиной, и мужчина стал жертвой собственного изобретения. Встречаются и счастливые, то есть миролюбивые семьи, где нет перманентной вражды, но они существуют вопреки замыслу, как вопреки замыслу была бы тюрьма, в которой открыты двери и сняты решетки с окон.

“Где же выход? — думал Человек, сидя за кухонным столом и автоматически глотая чай из стакана. — Может, выход в том, чтоб жениться только на нелюбимых женщинах, а любимых оставлять на воле... Да где эта воля? Вокруг — сплошное железо... а жить хочется... Как коротка, как страшно коротка жизнь...”

Эта очевидная, азбучная мысль вдруг напугала его крайне и заставила очнуться от сна, в котором он пребывал с открытыми глазами, с раз или два надкусанным печеньем в руке и стаканом чая, уже выпитым им до половины.

Проснувшись, он услышал, как бывшая его жена тоже пьет чай, жует печенье и говорит какие-то слова, среди которых преобладают ей несвойственные “если ты находишь” или “если ты так думаешь”.

Тогда он впервые за сорок-пятьдесят минут нынешнего последнего чаепития вдруг глянул на нее, и сердце его затрепетало от непонятной тоски. Отчего же оно трепетало? Не хотел же он, в самом деле, чтобы она осталась и продолжился ад. Отчего же, когда бывшая жена глянула на часики и сказала: “Я тебе все

простила, прости и ты мне, если имеешь обиды”, — у него лились слезы? Впрочем, это случилось и раньше во время перемирий.

Они поцеловались, и опять — сердечный трепет, еще более острый, отдающий болью в затылке. С этой застывшей болью он спустился вниз проводить ее. Было воскресное тихое утро. Дом спал. Спали жильцы, спали соседи, спали свидетели.

Говорят, чужая душа — потемки. Не в меньшей степени можно сказать: чужая семья — потемки. Лишь карманные фонарики жильцов-соседей-свидетелей иногда проникают в кромешную тьму чужой семейной жизни, но выхватывают при этом случайные детали. Да и судьи кто? В их ли интересах раскрытие общей тайны, отличающейся в каждом случае лишь деталями? Наружу детали, напоказ их. В фельетоны, в морально-душещипательные телепередачи, в гражданские суды. И пусть под защитой лжесвидетелей хранит тайну то, что не сказано о вечной борьбе мужчины и женщины. То, что не сказано, — это основа всякой настоящей поэзии, в том числе черной поэзии Бездны.

Обычное московское такси, вызванное по телефону, уже ждало внизу. Ночная прохлада не успела остудить воздух, и стены дома были теплыми. Человек еще раз поцеловал бывшую жену, но не в губы, как прощаются взрослые, а в щеку, по-детски. Она села, и такси поехало по дуге, огибая дом. На повороте, перед тем как такси скрылось за углом, бывшая жена открыла дверцу и крикнула что-то, чего он не расслышал или не понял, но мелькнувшее лицо ее, казалось, хотело что-то сообщить ему или о чем-то предупредить, вопреки первоначальному замыслу. Еще мгновение, и лицо ее погасло для него навсегда. Минут двадцать ее будет видеть таксист, потом — случайные люди, по-

том — черноусый ее нынешний молодой муж. Однако никому из них она не скажет то, что предназначалось ему в последний момент.

Он постоял среди опустевшего двора, затем поднялся на лифте, вошел в квартиру и сел перед кухонным столиком. Не допитый ею чай еще хранил тепло, над ним еще поднимался пар, и муха наслаждалась каплей сладкого чая, которую бывшая жена уронила с чайной ложечки. Это были последние физические деяния бывшей жены в его жизни. Ее уже не было и никогда не будет, а ее деяния еще можно было созерцать. Она увезла с собой восемь лет его жизни, а оставила, как точку, как итог, эту крошечную чайную лужицу и муху, которую она поила. Человек взял в ладони стакан, из которого она пила. Он был едва теплым, уже остывал. Человек прижал стакан к сердцу и заплакал. Он понимал, что выглядит смешно и плачет нелепо. Сквозь слезы он называл себя глупцом, напоминал себе, что восемь погибших лет были постыдны и, только обладая трусливой совестью, можно было так жить, как он жил, и бездумно отдавать то, что следовало беречь для дел полезных. Отдавать этой темной голове, обладающей тем не менее способностью обращать любые факты в свою пользу способом, которым еще в древности пользовались шаманы, — однообразным, но разной тональности звуком голоса. Подумав так, он услышал звук своего голоса, не понравившийся ему, визгливый и, очевидно, напугавший муху. Отравившись от лакомой капли, муха начала кружить в кухонной духоте. Человек следил за ней, утирая слезы. «Я слышал или где-то читал, — думал он, — что домашняя наша муха существует в неизменном виде уже миллионы лет. Это совершенное искусство. Это не клоп, не вошь, не блоха, которые питаются нашей кровью. Нет, она подбирает крохи нашей пищи и если сыта, то

проявляет брезгливость и никогда не садится на нечистоты. Как мы несправедливы к этому крылатому домашнему другу, без которого слишком стерильно и неуютно наше жилище”.

Вот какой оборот приняли мысли Человека, физически ощутившего только что свою смерть, ибо мы никогда не умираем мгновенно, если смерть не катастрофична, не насильственна, а всегда умираем по частям, по периодам. И, идя за гробом со своими восемью покойными годами, он отдавал должное любому живому существу, оказавшемуся рядом и участвовавшему в похоронах.

“Мир праху твоему. Вечная память”, — пропел он, дурачась, поскольку среди тоски вдруг возникло желание подурачиться — желание, тоску отнюдь не уменьшающее, но придающее ей более личный и конкретный смысл.

Где-то далеко, в самом центре Земли, кто-то тронул струны, и чудесная мелодия сопровождала плавный полет мухи. Потом чей-то голос сказал: “Утри слезы. Плач по умершему должен быть без слез”.

“Я схожу с ума”, — подумал Человек, сердце которого продолжала грызть и сосать тоска, уже в виде остромордого зверька, похожего на мохнатую ящерицу. Он слышал чавканье и причмокивание беззубого ротика, отрывающего живые куски не зубами, а мягкими челюстями, отчего становилось еще больней.

“Скорей на улицу, — подумал Человек, — надо позвонить Сане, пусть сведет меня с Аптовым”.

Саня был его друг, Александр Валентинович Сапожковский, личность светская, шумная, “многоженец, находящийся в отставке”, как он сам себя рекомендовал. Среди многочисленных знакомств Сани был известный психиатр Аптов, и уже состоялся разговор месяцев семь-восемь назад о необходимости свести

Человека с этим психиатром частным путем. Но затем, после развода, наступило улучшение, нервы укрепились, сон стал спокойней, и Человек решил, что потребность в психиатре отпала. Это обрадовало его и еще более укрепило нервы, которые расшатывала дополнительно мысль о необходимости лечиться, может быть, даже в психиатрической клинике, то есть стать за рамки людей нервных (а кто в наше время не нервный?), однако допустимо нормальных, и, по сути, оказаться в неволе уже не в переносном, а в прямом смысле.

Ведь были надежды, были желания жить, не считаясь ни с чем, жить только для себя, отдаться своей любимой работе, своему радостному призванию, свободно ездить по земле, зная, что никто нигде тебя не ждет и все тебе открыто, жить с романтическими увлечениями, но без бытовых последствий.

И вот это дымное утро. Неспроста он проснулся от адского запаха серы... Эта капля чая на столе. И эта муха, которая кружила под звуки струнного квартета. Теперь он понял: то, что кричала из такси бывшая жена перед тем, как погаснуть, не был ни добрый совет, ни искреннее пожелание. Опять его подвел дух современного гуманизма, мало общего имеющий со своим родоначальником из Ренессанса. Дух, ведущий не к укреплению, а к разрушению личности через раздачу себя хитрым нищим, через коллективизацию мировых ценностей, дух, обрекающий на поражение сильных и обрекающий на победу слабых, дух вырождения.

Темной, лесной головой своей жена Человека поняла тенденцию времени и использовала ее до конца. Ослабевшие нервы Человека были растянуты извилистыми линиями на ее штабной карте, и она, угадав слабое место, прорвала фронт. Она выиграла последний

бой и тем выиграла восьмилетнюю битву. Угасая, она издала крик победителя, и муха кружила теперь вместо воронья над полем битвы, напившись не соленой крови, а сладкого чая.

“Нет, — подумал Человек, — торжествовать преждевременно. Я ранен, но не убит. Мои нервы разорваны, но я осознаю себя. Я мыслю, следовательно, я существую. Кто это сказал? Кант? Гегель? Белинский? Или, может, это сказал я, едва родившись и издав первый крик? Я мыслю, и у меня достаточно сил и влияния в этом мире, чтоб приказать струнному квартету замолкнуть. А без музыкального сопровождения полет мухи лишается какого-либо опасного для меня смысла”.

Человек встал со стула, сжал кулаки, набрал побольше воздуха в легкие и, побагровев, крикнул: “Прекратить! Игру!”

И тотчас же мелодия оборвалась. Глубокая тишина воцарилась вокруг, и в тишине этой послышался мерный плеск воды. Он увидел чистую реку, текущую в Святой Палестине, куда его бывшая жена собиралась отправиться с черноусым. “Бедная Палестина, — подумал он, — бедная Палестина. Впрочем, до этой Палестины ей не добраться. Эта Палестина — не только в пространстве, но и во времени. Какой это век? И началась ли уже наша эра? И какой это период? Период ли это ранних дождей, которые смачивают землю, делают ее пригодной для восприятия семян, для пахоты? Или это период обильных зимних дождей, пропитывающих землю, наполняющих водохранилища и водоемы, питающих источники? Или это период поздних дождей, весенних дождей, которые дают зерну налиться и помогают пшенице и ячменю вынести сухую жару в начале лета?”

Человек подошел к реке и опустил в нее кисти рук, ощутил на коже приятную прохладную ласку воды.

И тотчас голос, ему знакомый, но неузнанный, тихим полушепотом сказал:

— Не смотри на воду, потому что вода уходит и не возвращается, а смотри на солнце. Оно уходит и возвращается. Когда ты будешь уходить, поверни направо... Там колодец с тихой, как слеза, водой. Там сможешь ты отдохнуть...

Нет, судя по речитативу, это не Палестина, а Византия. Это четвертый век. Это гибель язычества. Это осквернение языческих храмов. Толпа монахов, вооруженных дубинками, врывается в святилища. Разбивают мраморные статуи, топчут языческое искусство. За ними — христианская чернь, предтеча крестоносцев, жаждущая добычи, жгущая, грабящая деревни, подозреваемые в нечисти, в язычестве... Какие лесные лица, как проста и ясна их звериная злоба, совершенно лишенная злобы современной, неврастенической. И как мягок, как спокоен, как по-звериному благороден плач по убитым, плач без слез под языческими звездами.

“Не знаю, кто тебя научил по этой дороге идти и умереть. Но, когда придешь на место, собери мертвецов, и поговори, и скажи им, как мы живем здесь. А потом возвращайся, обедать приходи ко мне. А после обеда возьми меня с собой...”

Однако в дальних горных деревнях Малой Азии еще властвуют язычники, а христиане — в меньшинстве и страхе... В одной такой языческой деревне жил красавец пастух, христианин...

“Как хорошо, — подумал Человек, — какая музыка”. Ибо опять звучала музыка, но не назойливый струнный квартет, а мягкое целомудренное пение, не оскорбляющее мысль.

“Надо все записать... Все эти слова, все эти видения... Где бумага? Где же бумага?”

Он начал искать глазами бумагу. Она лежала на углу кухонного столика, частично уже исписанная родным клинообразным почерком. А он стоял у кухонной раковины, и вода из крана текла, журчала, ударяясь о невымытые ложки и тарелки.

Человек взял губку, намылил и начал по-холостяцки мыть ложки и тарелки. Он вылил недопитый чай в раковину и помыл стаканы. Ничто больше не играло и не звучало, стихли слова, и вместо увиденного в воздухе застыла лишь черная дыра. Человек почувствовал слабость в ногах и желание сесть, а еще лучше — лечь. Но он заставил себя домыть посуду, сложить ее горкой и лишь потом уселся на стул.

— На улицу, — сказал Человек, — на улицу... В иную стихию...

Человек надел соломенную шляпу и вышел на улицу. Было одиннадцать часов, старушечье утро. Великое множество старушек передвигалось в разных направлениях, главным образом за покупками продовольствия. В автобусе тоже были пассажиры-старушки, но не без пьяного. По крайней мере, одного пьяного всегда можно застать утром в городском транспорте. Пьяный боролся со своей лысой головой, однако, когда автобус встряхивало, окончательно терял над ней власть, и лысина билась о стекло, как муха.

— Кто ходит на “антибиотиках”? — спросил в микрофон водитель.

Человек сошел на “антибиотиках” и пошел домой пешком, поскольку окруженная забором медицинская организация, почему-то именуемая “антибиотики”, располагалась недалеко. Он проехал всего две остановки, однако очень устал, возвращаясь, и, придя домой, сразу же уснул, уронив соломенную шляпу на пол.

2

Во сне шел дождь, было темно, грязно и сыро. Человек шел по какому-то незнакомому городу, возможно, расположенному даже не в России. Он вышел на огромную площадь, заросшую травой, что-то вроде стадиона, но без трибун. Просто большая лужайка. И это как будто бойня. Лежат туши забитых быков, уже ободранные, но размеры их — с доисторическое чудовище. Лежащие на боку горы мяса и костей, а вокруг них копошатся маленькие люди. Человек пошел быстрее, чтоб миновать неприятное зрелище. Он шел навестить школьного товарища, умершего еще в школьные годы. Вот дом, где находится этот товарищ. Человек вошел, поднялся по лестнице. Коридорная система, как в общежитии. Вот и комната, где живет товарищ. Убрано просто, по-студенчески. Товарищ встречает и начинает разговор. Каждое слово в отдельности непонятно, но смысл ясен. Это касается причин его ранней смерти. “Если б не то да не это (что именно, непонятно), то я бы не умер”. Товарищ расстраивается и начинает плакать. Человеку это неприятно, и он хочет уйти. Товарищ замечает это и просит его остаться, но не словами, а видом своим. Садится печально на стул в углу, опустив плечи, и пла-

чет. Человек подходит к двери, открывает и в этот момент чувствует, как будто у запястья крепко взяла чья-то рука и не пускает. Никакой руки не видно, товарищ по-прежнему сидит в углу, но Человек чувствует, как запястье сильно жмут и не пускают выйти. Человек начинает борьбу, он силой преодолевает чье-то сопротивление и прорывается в коридор. Но и в коридоре держит невидимая рука и чувствуются чьи-то пальцы, которые жмут запястье. А за закрытыми дверьми плачет товарищ. Борясь с невидимой рукой, Человек уходит по коридору, и чем дальше уходит, тем тише плач и тем более слабеет сила, сжимающая запястье.

Проснувшись и вспомнив сон, Человек пришел в смущение и расстройство. “Какая буйная и мрачная фантазия — подумал он, — все люди во сне сумасшедшие. Но сумасшедшие — это те, кто спят наяву. Нервы мои расстроены до предела, однако если у меня хватило сил вырвать у одиночества руку из мертвых пальцев, то неужели здесь, наяву, где столько друзей, у меня не хватит сил выздороветь или хотя бы заставить себя лечиться?”

И, встав с постели, Человек позвонил другу своему Сане, то есть Александру Валентиновичу Сапожковскому. Человек позвонил и тотчас же поехал, ибо Саня этого потребовал: “Немедленно... У меня общество... Будет и Аптов”.

“Да, немедленно, — решил Человек, — ехать и лечиться. Прогнать болезненные сны, болезненные видения, болезненные воспоминания... Стоит миновать коридор — и уйдешь на незатейливую, крепко сколоченную землю. Жить, чтоб дышать. А вместо больных фантазий — скептические афоризмы”.

Сапожковский жил и дышал за городом, на богатой даче, в богатом привилегированном подмосковном поселке, и Человек добрался туда только вечером.

Проснулся он, оказывается, довольно поздно, да и дорога неблизкая. Сначала до вокзала на городском транспорте, а затем от вокзала полчаса пригородной электричкой.

Колеса электрички выпевали мелодию: “Ах, Настасья, ах, Настасья, отворяй-ка ворота”. Лица пассажиров были Человеку скучны, и, наверно, его лицо было для других скучным предметом, который приходилось разглядывать. Вдруг кого-то ударили. С криком: “За что бьешь?!” — ушибленный упал.

— Вчера меня тоже ударили, — поделился какой-то, — принял удар на правое ухо, но устоял.

— За что? — продолжал кричать ушибленный.

“Какая тебе разница, за что, — с раздражением подумал Человек, — ответь ударом или убегай... Нет, Россия еще не преодолела родового сознания... Все мы родственники... Деремся и беседуем...”

Человек, как и всякий нервнобольной, быстро раздражался и принимал позу философа и мыслителя, которая могла бы стать спасительной для него, если б зрелища российского быта не расцветали в его сознании тропически пестро.

Россия, по крайней мере сердцевинной своей, расположена в средней полосе. Ее краски умиротворяющи, природа классична, образы ее пейзажа воспринимаются не как процесс, наподобие гор или плещущего моря, а как готовое и ясное. Спокойно текут реки, спокойно шумят леса. Ужасы российской истории и тяготы российского быта были бы непереносимы в Испании или Италии, где все сочно и преувеличенно. Недаром же, стоит русскому сойти с ума, как он становится испанцем, наподобие гоголевского Поприщина. Однако же испанцем без Испании, где крайности радости и страдания имеют свою национальную психологическую основу.

И человек наш, наш “воздушный испанец”, выйдя на темную дачную платформу, первым делом посмотрел не на тропку вдоль лесопосадки, идя по которой, можно было достичь дачной улицы с богатыми поместьями. Первым делом он посмотрел на луну, встретившую его тотчас же. И подумал, что луна похожа на дыру в черном небе. И стоит очистить эту черноту, как над землей засияет золотое небо, кусок которого видно в эту дыру. Тем не менее, хоть взор и мысли его были прикованы к этому испанскому видению, ноги его пошли по слабо освещенной российской земле, поминутно ударяясь туфлями о ее камни. Так дошел Человек до шлагбаума, повернул направо и очутился между крепких заборов, опутанных во многих местах колючей проволокой, которым совместно с собаками было что охранять.

Привилегированный поселок этот, особенно после муравьиной Москвы, выглядел мертвым. Население его было немногочисленно и обычно держало своих гостей внутри поместий, где за заборами было достаточно пространства, чтоб прогуливаться, а в некоторых дворах попросту были настоящие участки частного леса с высокими деревьями, под которыми, если позволяла погода, стояли хлебосольные столы. Ибо среди богатых были и широкие хлебосольные души, к числу которых относился Сапожковский. И он кормил и поил людей, имени которых часто не помнил или даже не знал, поскольку один знакомый гость приводил гурьбу незнакомых и хозяину, и друг другу. Все они напивались, наедались, нагтели, говорили хозяину и друг другу “ты”. Иногда возникали маленькие скандальчики, дамы визгливо смеялись или плакали, но к утру, к первой электричке, все затихало. Человек не любил эти компании и редко бывал в них, тем более что два-три особенно буйных ночных скан-

да­ла быв­шая его же­на за­ка­ты­ва­ла имен­но по­сле со­вмес­тных по­се­ще­ний Са­по­ж­ков­ско­го. Не­смот­ря на внеш­не эпи­че­ский раз­мах, скан­да­лы эти бы­ли мел­кие, ж­ли­вые, с мо­но­тон­но по­вто­ряе­мы­ми в раз­ной то­наль­но­сти об­ви­не­ни­я­ми, и вспо­ми­нать о них бы­ло стыд­но. Но и в те­че­ние по­лу­го­да воль­ной жи­зни Че­ло­век бы­вал здесь раз­а два, а воз­вра­щая­ся, вся­кий раз был се­бе про­тив­ен, вспо­ми­ная, как он жад­но ел и ка­кие раз­го­во­ры вел. К то­му же да­ча рас­по­ла­га­лась в зе­ле­ном ту­пич­ке, ка­ких здесь бы­ло мно­же­ство, и он все­гда пу­тал­ся, сту­чал не в те во­ро­та, ему не от­во­ря­ли, он злился, и ко­гда на­ко­нец на­хо­дил, то был раз­дра­жен.

Ни­не, во ть­ме, он во­об­ще не был уве­рен, на­й­дет ли да­чу. Он шел в пол­ном оди­но­че­стве, и со­ба­ки из­за за­бо­ров тот­час от­кры­ли по не­му пал­ь­бу в за­ви­си­мо­сти от при­ро­ды: пу­шеч­ную — ба­сом, пу­ле­мет­ную — те­но­ром. За­бо­ры ви­ли­сь, тя­ну­лись, уг­ро­жа­ли ко­лю­чей про­во­ло­кой, ус­тро­ен­ной по то­му же прин­ци­пу, что и злые со­ба­чьи кль­ки. Со­ба­чий лай раз­дра­жал, вы­зы­вал апа­тию, то­ску, и страш­но хо­телось вер­нуть­ся на­зад, до­мой, лечь на род­ную по­стель, за­ду­мать­ся в но­чной ти­шине. “Куда я иду, за­чем я иду? — при­чи­тал в ду­ше Че­ло­век. — Как ужас­но, как вра­ждеб­но все во­круг”.

Он пы­тал­ся отыс­кать лу­ну, обе­ща­ю­щую зо­ло­тое не­бо над зем­лей, но не мог на­йти. Она пря­та­лась где­то за де­ре­вья­ми или за туча­ми. Чтоб бы­ст­рей все это ми­но­вать, Че­ло­век по­бе­жал, пы­таясь не смот­реть на за­бо­ры, про­из­во­дя в ти­шине шум, ко­то­рый его са­мо­го до­пол­ни­тель­но пу­гал. Со­ба­ки же би­ли по не­му те­перь ос­тер­венелы­ми зал­па­ми. Если не весь по­се­лок, то по край­ней ме­ре ули­ца, по ко­то­рой бе­жал Че­ло­век, была воз­буж­де­на. По­слы­ша­лись ша­ги, го­ло­са, ко­ман­ды со­ба­кам, пе­рек­лич­ка.

Мно­гие из жи­ву­щих здесь не лю­би­ли друг дру­га, но их спла­чи­ва­ла не­дви­жи­мая соб­ствен­ность, и они

всегда были готовы к совместной обороне. У некоторых были охотничьи ружья, зверского вида ножи и кортики, которые, впрочем, более служили декоративным целям. А один мужик-помещик, побывав в составе официальной делегации за границей и зная, что он недоступен таможене, купил в оружейном магазине вороненый красавец кольт, который хранил в ящике письменного стола, запертом от сына, что не мешало ему самому, оставшись наедине, доставать револьвер и забавляться им. Сейчас, услышав опасный шум за забором, он вынул револьвер, но из кабинета не вышел, собираясь в крайнем случае пугнуть злоумышленника выстрелом в открытую форточку.

Виновник же шума, наш Человек, наш “воздушный испанец”, метнулся к какому-то забору и застыл, вглядываясь в силуэты с фонарями. Остановившись, Человек несколько успокоился, да к тому ж в одном из силуэтов он, к счастью, узнал толстяка-гурмана Сапожковского с охотничьим ружьем. Рядом с ним вышагивал какой-то поджарый, сухой с палкой.

— Ты, — обрадовался Сапожковский, увидав Человека. — Я думал, уже не приедешь. Видишь, что у нас здесь творится. До прошлого года покой и тишина царили, пока управление железной дороги за рекой в бывшем санатории свое общежитие не устроило для путевых рабочих. В прошлом месяце дачу Цвибельзона-Лукина обокрали, Цвибельзон-Лукин с семьей в Ялте был.

— Ну что, Александр Валентинович, — окликнул Сапожковского какой-то силуэт в кожанке и резиновых сапогах, держащий на поводке огромную овчарку, рвущуюся и облаивающую Человека.

— Наверно, к оврагу побежала, — сказал Сапожковский. — Подонки, — выругался он, добавив еще несколько ругательств, на которые мастер наш интелли-

гент и которых путевые рабочие ни придумать, ни произнести не умеют.

После чего Сапожковский с владельцем собаки подробно начали обсуждать, куда, в какие инстанции следует писать и почему до сих пор борьба богатого поселка с управлением железной дороги не увенчалась успехом.

— Писать надо Пшеничному, — говорил Сапожковский, — Ковбасюк ничего не решает.

Обсуждение этих социальных проблем, при котором Человек присутствовал, а следовательно, принимал в нем участие, его окончательно успокоило, и он как бы забыл, что вся тревога была поднята именно им, испугавшимся темных заборов с колючей проволокой, возбудившим собак, а затем и их хозяев. Никто из хозяев собак и их гостей не догадывался о его подлинной роли в тревоге. Никто, кроме...

Между нервнобольным и психиатром всегда существует незримая связь. Каждый психиатр — в какой-то степени нервнобольной, а каждый нервнобольной — в какой-то степени психиатр. Человек сразу угадал Аптова, а Аптов — клиента, о котором ему говорил Сапожковский. Они разговорились без слов еще до того, как Сапожковский представил их друг другу. Внешний вид Человека не вызывал сомнения у опытного психиатра и указывал на симптомы его болезни. А надо ли нашему “воздушному испанцу” представлять Аптова? Прежде всего трость... В руках он держал не палку, как ошибочно показалось в темноте, а трость: старинную, необычную в современном обиходе, с серебряным набалдашником-головой. И голова Аптова удивительно напоминала набалдашник, который, возможно, был подобран, а то и заказан не без умысла. Серебристо-седой короткий волос вокруг масляно-желтой полированной лысины, сере-

бристая борода полумесяцем, сухой с горбинкой короткий носик...

— Вот, Леон, — сказал Сапожковский Аптову уже за столом, — это мой друг, жертва семейного империализма. Ему надо помочь.

— Поможем, — сказал Аптов, и уверенный тон успокоил и обнадежил.

“По сути, я уже приступил к лечению, — подумал Человек, — перемена обстановки... И медицина... В Аптове есть, конечно, что-то для меня тревожное, что-то еще пока непонятное... Но, наверно, это просто реакция, просто волнение больного человека при встрече с врачом, который вынужден проводить определенные манипуляции с моим телом, которому даже разрешено мучить мое тело, а также ставить диагноз, то есть выносить приговор”.

Вокруг, как всегда, было немало знакомых, уже несколько раз виданных лиц, имя и профессия которых, однако, оставались неизвестными. Хлебосольный, добрый Сапожковский всё подкладывал на стол дорогие дефицитные закуски, выставлял нерусские бутылки с импортными этикетками и русские с этикетками на импорт. О, это русское имперское застолье! Царица — водка “Московская”, и челядь ее — украинское сало, болгарский перец, венгерская колбаса, польская ветчина, грузинская зелень, узбекские томаты, эстонская рыба и прочие дары союзных республик, союзных государств, международного социалистического сообщества.

— Граждане и гражданки, — говорил Сапожковский, стараясь заглушить трудолюбивое сопение и жадное чавканье, — может быть, ради этого стола стоит все-таки сохранить нашу родную империю. Конечно, без ее печальных крайностей, империю с человеческим лицом. — Он уже выпил и собирался говорить много. — Если каждый из нас выносил, а некоторые продолжают

выносить тяготы семейного империализма, то империализм политический не так уж страшен и предоставляет нам по крайней мере гораздо больше возможностей. Его стены не так узки, его гнет не так монотонен, его замыслы не так коварны и беспощадны. Вот здесь, кстати, за столом сидит наш общий друг, недавно освободившийся. — Сапожковский рассмеялся, тяжело дыша водкой, бужениной и какой-то грузинской приправой прямо в лицо Человеку, к которому дружески наклонился. — Друзья, — продолжил Сапожковский, — я так обращаюсь к вам, ибо сейчас скажу мысль, которую можно произнести только в тесном кругу близких людей, — настолько она еретична. Но почему бы иногда не выслушать еретика с большим личным опытом? Вот эта мысль, эта истина: хочешь нажить в женщине врага — женись на ней. Конечно, есть немало отвратительных мужчин. Но от отвратительного мужчины гораздо легче освободиться, чем от отвратительной женщины. Большинство больных семей держится женщинами, сохраняется женщинами, боящимися потерять семью, как боится потерять партию профессиональный революционер... Я понимаю, что наживу подобной мыслью слишком много врагов. Наш мир — это мир государства и семьи, мир закона и брака. Мне не простят подобных обличений, а особенно те, кто тайно со мной согласен, особенно те, кто понял, что они всю жизнь пролежали не на тех женщинах...

Аптов что-то говорил на ухо Сапожковскому, но Сапожковский отстранил его широко, ибо, как многие добрые русские люди, в опьянении становился буен.

— Пойдемте, — шепнул Человеку Аптов, — здесь слишком скандально для ваших нервов.

“У Сапожковского и моей бывшей жены, — подумал Человек, — есть общая черта. Выстрадавшую исти-

ну или то, что кажется им истиной, оба умеют потребительно использовать в своих бытовых целях. Это все равно, как если бы искренне уверовавший и выстрадавший веру в Бога использовал эту веру для удачной покупки дачи или ловких денежных операций”.

— Пойдемте, — сказал Аптов, — я вас осмотрую.

— Сейчас? — удивился и испугался Человек.

— Да, сейчас. Чего откладывать, времени у нас мало. Не знаю, найду ли свободный час в ближайшую неделю.

Человек поднялся вслед за Аптовым на второй этаж дачи и вошел в комнату, которая, в противоположность другим, была заперта и которую Аптов отпер своим ключом. Здесь когда-то был кабинет Сапожковского, висели две-три картины соотечественников-нонконформистов и даже какая-то карандашная зарисовка — подлинник Пикассо; лежало на письменном столе и стояло на полках множество дорогих книг и скромно ютились две пишущие машинки, настукавшие и эту дачу, и эту привилегированную местность, и эти дорогие угощения, которые не иссякали, хоть их годами поедала жадная саранча. А ведь раньше, не так уж давно, лет двадцать назад, но как будто вчера, когда Сапожковский еще не доверился вольному стрелку пишущих машинок, когда он писал и черкал в блокнотах, ему приходилось искать кредит в пять рублей, подходить к знакомым и не очень знакомым со знаменитым: “Как у тебя с деньгами?” — причем по-собачьи глядя в глаза. Но ему давали все реже, ибо он был известен как “невозвращенец”, то есть брал и не возвращал. А где взять, чтоб вернуть? Двое детей, жена, нищая зарплата в многотиражке. Где теперь эта многотиражка, где теперь эти дети, где их мать, бледная нервная студентка филфака, бросившая в Сапо-

жков­ско­го го­ря­щий при­мус и про­кляв­шая его? Во вся­ком слу­чае, эта се­мей­ная жизнь Са­пож­ков­ско­го про­те­кала е­ще до зна­ком­ства с на­шим Че­ло­ве­ком, ибо Са­пож­ков­ский уже до­ста­точ­но дав­но стал хо­зяи­ном это­го ро­скош­но­го ка­би­не­та.

Ап­тов сде­лал в ка­би­не­те не­ко­то­рые пе­ре­ста­нов­ки. В дру­гие ком­на­ты пе­ре­коче­ва­ли кни­ги, пе­ре­коче­вал стол с пи­шущи­ми ма­шин­ка­ми. Те­перь сто­ял стол по­мень­ше, с не­боль­шой гор­кой ме­ди­цин­ских кни­г, бу­ма­гой, брон­зо­вой че­р­ниль­ни­цей. В углу тах­та — ви­дно, Ап­тов ино­гда оста­вал­ся здесь но­че­вать. Ко­гда они во­шли, Ап­тов плот­но при­крыл д­ве­ри и два ра­за по­вер­нул ключ.

— Чтоб нам не мешали, — ска­зал он и по­ста­вил трость со сво­ей ма­лень­кой се­реб­ря­ной го­ло­вой в угол. Вто­рая же го­ло­ва, укре­плен­ная на ше­е, тор­ча­щей из ту­го­го чи­сто­го во­рот­ни­ка, по­вер­ну­лась к Че­ло­ве­ку. — Сна­ча­ла по­гово­рим, — ска­зал Ап­тов, — я бу­ду с ва­ми от­кро­вен­ен. Да­же пред­варитель­ный взгляд ука­зы­ва­ет на на­лич­ие у вас тя­же­лых сим­пто­мов нер­вной дис­то­нии. Ко­неч­но, пол­ный диа­гно­з мож­но бу­дет по­ста­вить толь­ко по­сле ос­мо­тра, вер­нее, по­сле ос­мо­т­ро­в. Но я хо­чу, чтоб вы по­няли: я не врач, а вы не боль­ной. От­ны­не мы парт­не­ры. Нуж­ны, до­ро­гой, со­вмес­тные ус­и­лия. Нуж­на от­кро­вен­ность. И, ко­неч­но же, в от­вет на от­кро­вен­ность — со­хра­не­ние вра­чеб­ной тай­ны. Нач­нем с ме­ло­чей. Ну, на­при­мер, это ведь вы ус­тро­и­ли шу­рум-бу­рум здесь, пе­ре­по­ло­ши­ли по­се­лок? Пу­те­вые ра­бочие ни при чем?

— Я, — как про­ви­ни­в­ший­ся школь­ник стро­го­му учи­те­лю, от­ве­тил Че­ло­век.

Он чув­ство­вал, что во­ля его все силь­ней по­дав­ля­ется этой се­реб­ря­ной го­ло­вой-на­ба­лдаш­ни­ком, и от сво­ей пол­ной без­за­щит­но­сти, от за­пер­тых д­ве­рей,

отдавших его во власть этой серебряной голове, стало холодно. Человек даже не подумал о том, что физически он легко может справиться если не с чужой властной душой, то с чужим костлявым телом, ударить, опрокинуть, сломать о колено дорожную трость. Наоборот, он жадно ловил любые проявления милости со стороны Серебряного Набалдашника и охотно шел им навстречу.

— Я обращаюсь не к вам, — говорил Аптов властно, спокойно-внушительно, как гипнотизер, — а к остаткам вашего еще не умершего сознания. Соберитесь с силами, помогите мне спасти вас от необратимого, от духовной смерти, от потустороннего мира психиатрической лечебницы. Для этого нужны жертвы с вашей стороны. Это главное, что вы должны понять. Дорогие жертвы. А что самое дорогое для нас на этом свете? Наша душа и наше тело. Трагедия многих нервных больных состоит в том, что они предпочитают отдать это свое богатство болезни, но не врачу. Для того чтобы спасти вас, врач должен владеть вами. Я считаю себя хирургом-психиатром. Звучит на первый взгляд нелепо, многие коллеги со мной не согласны. Но, если болезнь зашла далеко, нужна пересадка нервов. Больные нервы надо удалять и пересаживать новые. Если существуют опыты по пересадке сердца, то почему бы не попытаться пересадить нервы? Вы должны быть откровенны, — повторил Набалдашник, — откровенны. Скажите, чего вы испугались по дороге на дачу? Вас кто-нибудь испугал?

— Заборы, — тихо пробормотал Человек, — тесно вокруг. Заборы и колючки. Острая проволока...

— Так я и думал, — сказал Набалдашник. — Вы когда-нибудь были в тюрьме, концлагере? Были под арестом, в плену?

— Никогда, — ответил Человек.

— Ваша болезнь известна в психиатрии, — сказал Набалдашник, — это боязнь колючей проволоки. Характерна для бывших военнопленных, узников концлагерей. Определена профессором Вишером еще в 1918 году. Тоска, замкнутость, апатия, ослабление или раздвоение памяти. Вы личность нерешительная, малоинициативная, поэтому особенно подвержены болезни Вишера в сочетании с нейровегетативным синдромом. Вы не обижайтесь на меня, дорогой. Многие коллеги оспаривают мой метод. Впрочем, в условиях официальных, в условиях клиники применение его затруднительно. Но частным образом — почему бы не поэкспериментировать, тем более что я почти уверен в успехе. Психиатрия — это мост, соединяющий науку и художественное творчество. Так вот, тем концом, который... — он чему-то улыбнулся, — тем концом, который проникает в творчество, я могу вас вылечить. Вы будете абсолютно здоровы, вы станете полноценным человеком. От вас требуется лишь одно: доверьтесь мне. Я знаю, что в психиатрических лечебницах больные в большинстве не доверяют и ненавидят врачей. Но меня они уважают, потому что я отношусь к ним как к партнерам. Вообще среди них попадаются трогательные, милые экземпляры. Например, недавно ко дню моего рождения один ветеран психбольницы сочинил даже песенку в мою честь. Милый старичок. Он в больнице уже пятьдесят четыре года за убийство своей сестры. Пишет с буквой “ять”. О давно умерших старушках спрашивает как о гимназистках. Еще недавно была жива его мать, древняя старуха. Приходила навещать. “Мама, — говорил он, — этой гадины, Натали, теперь нет, — это об убитой им сестре, — поселимся, мама, вместе, нам будет так хорошо”. Вот такие экземпляры. И среди них вам, человеку культурному, серьезному, глубокому, придется провести мно-

гие годы, может, до смерти. Тем не менее, хоть постоянное пребывание с ними тягостно, даже невыносимо, но общение как с клиентами бывает забавно. Вот этот старичок, убийца сестры, с которым я бываю строг и не балую его, сочинил в мою честь песенку и пропел ее вместе с еще двумя больными — цыганом Казибеевым, который ставил своей простуженной матери на грудь горчичники и в результате изнасиловал ее, а также молодым художником, страдающим пигмалионизмом, то есть влечением к статуям. У нас клиника особая — больные с разного рода половыми извращениями. Так вот, это трио пропело в мою честь песенку. — Набалдашник привстал, уселся, как за рояль, и, барабаня пальцами по краю стола, как будто играя, пропел неожиданно приятным тенором:

На планете много доброго,
Славного, мягкого.
Пожелаем счастья доктору
Нашему Аптову.

Человек, забыв о своих страхах, засмеялся. Песенка была смешная, и Набалдашник смешно ее исполнял.

— Ну вот, уже лучше, — сказал Набалдашник, — а то совсем скисли. Вы нужны мне в активном виде. А активность — это творчество разного рода. В нашей клинике я, например, горячий сторонник поощрения творчества в среде больных. Творчеством умалишенных в двадцатые годы весьма много занимались. Была даже выставка, кажется, в Ленинграде или Харькове. Творчество умалишенных, дикарей и детей. Построена была на сопоставлении, открывала непознаваемое, открывала истоки... Я кое-что записываю, — он порывлся в бумажках, — теперь это все заброшено, забыто. А жаль... Например, такие стихи:

Муха у капли чая

В окне показался какой-то бандит,
Ему девятнадцать, не боле, на вид.
Он весело тычет в меня пистолет,
Он хочет, чтоб я превратился в скелет.
Я громко заплакал, я топнул ногой,
Я крикнул: бандит, убирайся домой... —

и так далее... А вот было даже напечатано в стенной газете “Надежда”. Я издавал стенную газету, пока она не была прикрыта цензурой в лице главврача психбольницы, хотя в ней печатались более чем идейные материалы.

Товарищ, рыдая под звуки маршей,
Запомни это: не тетя Маша, не дядя Коля,
А маршал Ленин создал единство из настроений.

Здесь Ленину присвоено звание маршала, что в поэзии допустимо. Вообще, многие сумасшедшие любят рифмовать, и это доказывает, что сама поэзия — явление не совсем нормальное, противоречащее здравому уму. Но, может, в этом и ее главное назначение. Может, признанный поэт — это сумасшедший, которому воздают почести люди нормальные, а все сумасшедшие — это просто непризнанные поэты... А чем занимаетесь сейчас вы? — спросил вдруг Набалдашник и, взяв свой стул, поставил его совсем рядом со стулом Человека, так что между ними, Набалдашником и Человеком, произошел телесный контакт, соприкосновение бедрами.

— Я? — переспросил Человек, почувствовав, как лицо его покраснело. — Я... пишу скульптуру.

— Пишете скульптуру? — с искренним интересом и удивлением переспросил Набалдашник. — Разве бывает такой род творчества? Впрочем, интересно, очень, очень... Расскажите...

— Это еще проект, это эксперимент, это в начале, в зародыше, — начал говорить Человек, все более возбуждаясь и увлекаясь. — Современные скульптуры должны быть сначала созданы на бумаге, то есть созданы во времени, а уже потом в пространстве.

— Какая же это скульптура? Какова тема? — спросил Набалдашник-Аптов.

— Это скульптура в память о неизвестном человеке, — сказал Человек.

— И вы можете ее описать? — спросил Аптов, делая в записной книжке, которую он достал из кармана, какую-то пометку.

— Да, конечно, — ответил Человек, — могу описать, но в общих чертах.

— Тогда пожалуйста, — сказал Аптов, — каков ее облик?

— Облик не нужен, — ответил Человек. — На пьедестале — сердце, из которого растет рука... Нет, даже не рука, а кисть... Нет, даже не кисть, а пальцы... Сердце, говорят, у человека размером с ладонь... Так вот, из сердца-ладони растут пальцы, и эти пальцы сжимают перо...

— Почему перо? Значит, это памятник писателю? — спросил Аптов. — Неизвестному писателю?

— А какая разница, — с жаром сказал Человек, — каждый неизвестный человек — это человек, не сообщивший о себе обществу... Значит, он неизвестный писатель. Может быть, неизвестный Шекспир.

— Логично, — сказал Аптов.

— Пока человек неизвестен, неясно, кто он: Шекспир или дрянь. Когда заговорил, тогда понятно. А пока молчит, его надо уважать только за одну неизвестность. Молчание ведь может быть разное.

— Молчание — металл драгоценный, — улыбнулся Аптов.

— Да. Золото, — отозвался убежденно Человек. — Пока мы молчим, то сродни гениям. Конечно, только гении, заговорив, таковыми остаются. Но ведь и многие другие могли бы сказать значительное, если б обстоятельства или судьба не заставляли их говорить невыношенное, говорить слова-ублюдки, слова-выкидыши. Если б у них хватило времени и сил помолчать. Ибо в молчании — созревание. Поэтому молчащий человек, неизвестный человек, созревающий человек достоин памятника. Каждый из нас в момент нашего молчания достоин такого общего памятника, и только отдельные гении достойны индивидуальных памятников за произнесенные ими слова.

— А какое сердце, — спросил Аптов, — в какой манере исполненное?

— Ну уж не такое, — презрительно улыбнулся Человек, — каким его рисуют на открытках или делают пряники в форме сердечка. Не розово-золотое, не пряничное. Сердце анатомическое, кровавое, мясное.

— Требуха, — сказал Аптов, — сердце-требуха... То, что лежит на рынках на цинковых прилавках.

— Да, требуха, — с жаром сказал Человек, — только требуха способна испытывать боль от разорванных клапанов, от обрубленных сосудов... Вот такое сердце... С обрубленными сосудами.

— А материал? — спросил Аптов.

— Красный мрамор с белыми прожилками. Камень с кожей и жиром, — уверенно сказал Человек, точно не раз обдумывал проблему материала, — карельский мрамор. И пальцы, растущие из сердца, с суставами, с ногтями, судорожно сжаты, сжимают перо последним усилием, остатками крови, дошедшей к ним по артериям. А в воздухе — незримое, ненаписанное послание к нам, какие мы сейчас и какие будем через сто, двести лет... Кровь, которая молчит... И алтарь... Веч-

ный огонь... Свеча... Свеча, которую на грудь покойнику ставят... Свеча из белого уральского камня кохонга... И надпись скромной вязью: могила неизвестного человека.

— Это нечто из Жуковского, — сказал Аптов, — помните, “Надгробье юноше”, — и продекламировал на память:

Плавал, как все вы, и я по волнам ненадежных жизни.
Имя мое Аноним. Скоро мой кончился путь.
Буря внезапно восстала: хотел я противиться буре,
Юный, бессильный пловец; волны умчали меня.

Именно вязь, — улыбнулся Аптов, — не внезапно, а внезапно... Значит, имя мое Аноним? — еще раз улыбнулся Аптов.

— Да, может, и так...

Вдруг слезы потекли у Человека, тихо, но обильно, как вода из продырявленного ведра. Он пытался сдержать их вначале усилием воли, потом пальцами. Но пальцы стали мокрыми, и слезы капали сквозь них.

— Извините, — сказал Человек, — сегодня я похоронил свои восемь лет. Муха подвела итог... Как вернуть, как вернуть, как вернуть их... За что? Кто меня заставил? Почему?

Он плакал, уже не скрываясь, как ребенок, безудержно, и жалость к себе была единственной силой, а слезы — ее оружием.

Аптов между тем снял пиджак и надел халат, вынул его из платяного шкафа. Потом из маленького флакончика он смазал руки. Запах был волнующий, юношеский, весенний.

— Раздевайтесь, — сказал Аптов.

Человек снял пиджак.

— Нет, совсем раздевайтесь, — сказал Аптов, — догола.

— Зачем?

— Мы ведь с вами договорились, — сдерживая недовольство, сказал Аптов, — я должен вас спасти. Именно так. Поэтому я полностью владею вами. Никаких вопросов.

— Нет, как же, — сказал Человек, — как же... Это нехорошо... В крайнем случае, я могу расстегнуть рубашку.

— Этого недостаточно, — сказал Аптов, — снимите брюки и трусы. Вообще догола.

— Так я не могу, — сказал Человек, капризничая, — а если кто-нибудь войдет?

— Дверь заперта на ключ, вы ведь видели.

— Но зачем же догола? — вставая со стула, сказал Человек, глядя почему-то мимо Аптова на его трость с серебряной головкой-копией. — Я болен ведь не кожной болезнью и не простудой...

— Сядь! — вдруг властно и на “ты” крикнул Аптов, и Человек, напуганный этим внезапным криком, прозвучавшим как выстрел, сел и начал торопливо раздеваться. — Носки не снимайте, — сказал Аптов помягче и опять на “вы”, — ложитесь сюда, на тахту, лицом вниз.

Человек покорно лег, уже не веря в себя, униженный и весь в чужой власти, которую он сам же призвал владеть собой. В голове было пусто, сердце стучало тревожно, но тоже бездумно. Пальцы Аптова скользили по его коже, приятно щекоча и даже успокаивая, как вдруг коснулись, сжали, причинив боль, правда, незначительную. Человек сильно и брезгливо отбросил руку Аптова и вскочил. Простая догадка все объяснила. Человек всегда испытывал неприязнь к людям с подобными особенностями, хоть знал, что среди

них были и выдающиеся личности. Но неужели положение столь безвыходное? Клиника или стыдный грех как плата за спасение.

— Одевайтесь, — спокойно и деловито сказал между тем Аптов, присев к столу и выписывая рецепты. — Это в аптеке, — закончив писать, сказал он, — а это ни в какой аптеке не купите, — он достал бутылочку с темной жидкостью, — четыре раза в день по чайной ложке. Примите перед сном. Должен вам сказать, истязанием своего здоровья вы занимались долго и упорно. Ваша нервная система — это тряпье, лохмотья. Все надо делать заново. Позвоните мне через неделю. Нет, не получится, через десять дней, по этому телефону часов в семь вечера. Одевайтесь, одевайтесь. Теперь я уже не врач, а собеседник, и, если вам неловко, я отвернусь к окну.

Он повернулся и стал глядеть в темное окно.

Одевшись торопливо, Человек спросил, ибо не знал, о чем говорить:

— Сколько я вам должен за визит?

— Это потом, — глядя на часы, сказал Аптов. — К Сапожковскому не заглядывайте, увеселения сейчас не для вас. Быстрей домой и в постель. Спите вы, наверно, тяжело? Наверно, с кошмарами?

— Да, бывают неприятные сны.

— А галлюцинации? Голоса?

— Нет, это не бывает, — солгал Человек.

— А муха? Вы говорили про муху.

— Муха — это не галлюцинация, а реальный факт, — ответил Человек, — обыкновенная комнатная муха.

— А в переселение душ вы верите?

— Об этом слышал и читал... А верю ли — не знаю...

Не задумывался.

— Если что-нибудь произойдет, — сказал Аптов, — и вы окажетесь в клинике помимо своей воли, дайте

Муха у капли чая

мне знать. Хотя, я думаю, не должно. Принимайте из бутылочки. Ну и аптечное тоже.

Они попрощались, и Человек ушел. Домой он добрался под утро. Засыпал долго. Снилось, будто его, спящего, душат. Кричать не может. Бился, рвался, хотел жить и спастся, проснувшись.

Была глубокая ночь; значит, он день проспал. Сильно болело горло, и занавеска, которую он задернул перед сном, была отдернута. Окно, которое он запер, ибо был дождь, распахнуто настежь. В полусне вдруг вспомнилось, как Аптов сжал ему, причинив незначительную боль. Странное чувство, античное чувство. Как оно живуче, его невозможно забыть. Как оно реально, точно это случилось секунду назад, а уже минули сутки... Пока не поздно, бежать... Куда? Бежать от греха и одиночества в общество... А общество — это клиника... Нет, я окружен, голое тело мое опрокинуто, распластано лицом вниз... Я в западне... Хитрость женщины, тяжелый символ мухи, ясная тайна Аптова... Умереть, убить себя, какой это чудный выход... Но недостижимый... Жить хочется...

Он понюхал темную жидкость, выпил чайную ложечку приятного, похожего на портвейн напитка. Лег на спину. Остаток ночи он спал спокойно, без снов.

3

Ему стало лучше. Лекарства помогали, он поправлялся. Темную жидкость, похожую на портвейн, он пил экономно, по две ложечки в день, ибо решил Аптову больше не звонить, а деньги за визит передать Сапожковскому. Какой простой выход, и как нелепо было недавнее отчаяние. И многое из того, что он делал раньше, теперь осознавалось им как нелепость. Далеко заткнуты с глаз долой исписанные, разрисованные, перечеркнутые листочки с проектом памятника-сердца, памятника неизвестному человеку, памятника молчанию. Мятые, надорванные листочки, ибо он хотел их порвать, однако все-таки передумал.

После жаркого, измучившего лета наступили осенние праздники — иначе нельзя назвать эти лазурные позолоченные дни и свежие, безветренные ночи. Человек много гулял в одиночестве и читал много старых книг из своей богатой библиотеки. Как всегда, осенью появились полчища мух, жирных, тяжелых, носящихся по комнате и пулями бьющих в стекло. А есть ли среди них та жалкая летняя мушка, которая подвела итог восьми лет семейной жизни, — уже не казалось столь важным и существенным. Он по-прежнему не всегда хорошо спал, однако не огорчался этим, ибо на-

учи­лся чи­тать но­чью кни­ги та­ким об­ра­зом, что про­сы­пал­ся ут­ром от их чте­ния со­вер­шен­но бо­дрым, как от кре­пко­го, пол­ноцен­но­го от­ды­ха.

Од­на­жды но­чью он чи­тал ста­рую кни­гу, где опи­сы­ва­лась жи­знь чет­вер­то­го ве­ка на­шей эры, ко­гда язы­че­ство и хри­сти­ан­ство звер­ства­ми и хи­тростью пы­та­лись вос­тор­же­ство­вать друг над дру­гом. Глав­ным по­лем их бит­вы бы­ло те­ло че­ло­ве­ка, ко­торым мож­но бы­ло за­вла­деть, лишь влив в его ме­хи свое ви­но и вы­плес­нув чу­жое.

“Хри­сти­ан­ская мораль, — пи­сал Че­ло­век без по­ма­рок, — это спасе­ние че­ло­ве­ка от язы­че­ской ра­до­сти, от по­еда­ния слад­ко­го яб­лоч­ка зем­но­го Эде­ма. Ибо ес­ли не­бес­ный рай су­ще­ствует и соз­дан Бо­гом, то зем­ной рай мож­ет быть вос­соз­дан каж­дым лишь в те­ле сво­ем. На­ка­за­нием за по­хи­щен­ное не­бес­ное яб­лоч­ко бы­ло из­гна­ние на зем­лю. На­ка­за­нием за по­хи­щен­ное зем­ное яб­лоч­ко мож­ет быть толь­ко из­гна­ние в не­бы­тие. Вот про­тив че­го бо­ро­лось хри­сти­ан­ство, и борь­ба его бы­ла бла­го­род­на. Но жерт­вы, ко­торых оно тре­бо­ва­ло за спасе­ние, бы­ли ужас­ны, и по сей день древ­ний за­мы­сел со­би­рает кро­ва­вую жа­тву. Иде­алом хри­сти­ан­ства бы­ло вос­со­еди­не­ние те­ла, рас­се­чен­но­го на муж­чи­ну и жен­щи­ну, в Еди­ное. В этом иде­але бы­ло да­же не­что, вно­ся­щее по­прав­ку в за­мы­сел Бо­жий, вер­нее, вно­ся­щее зем­ную по­прав­ку в Не­бес­ный за­мы­сел. «Не­по­ро­ч­ное за­ча­тие» — Сам­со­на и Иису­са — как вер­шина. «Же­на да при­ле­пит­ся к мужу», как его повсе­днев­ное, бы­то­вое от­ра­же­ние. Те­ло до­ступ­но всем, дух до­ступ­ен немно­гим. Не­сча­ст­ли­вой хри­сти­ан­ской жи­зни те­ла языч­ни­ки про­ти­во­по­ста­ви­ли его счаст­ли­вую по­ги­бель. Хри­сти­ан­ско­му вос­со­еди­не­нию тел — язы­че­скую раз­лу­ку муж­ско­го и жен­ско­го, их обо­соб­лен­ную жи­знь, пре­вра­ще­ние их в два раз­ных зем­ных су­ще­ства, об­ре­чен­ных на борь­бу. Кто спо­со­бен на лю­

бовь? То есть продолжительное время любить не себя? Единицы. Кто способен на наслаждение, которое всегда непродолжительно, но всегда оставляет память и стремление пережить его вновь? Каждый. Язычество недаром многобожье. Каждый, вкушая земное яблочко, становится богом. Но рассеченное тело — это наслаждение-борьба, это Троянская война. И хитрый, миролюбивый античный человек находит третий путь — путь влюбленных сатиров. Вот запись: «Один жаждет коснуться груди юноши, другой — обнять за шею, третий желает сорвать поцелуй. Они усыпают его цветами и поклоняются ему, словно кумиру».

В язычестве — свобода выбора. Хочешь самое сладкое яблочко — получай взамен самую быструю гибель. Принцип язычества прост: никого нельзя заставить жить, разве что сумасшедших. Но христианская мораль заставляет жить. У нее свое понимание бытия. Она знает, в противовес язычникам, что человек не волен распоряжаться чужим, а жизнь каждого человека — это чужое, ибо не им она создана. Самоубийство христианская мораль приравнивает к воровству. Да и такая ли уж большая разница между сумасшедшим и неразумным? Разум — это продукт духовного труда. Многие ли на него способны? Духовный труд — это долгое молчание, это вызревание. Многие ли способны молчать? Нет, массовый человек разговорчив. Он требует опеки, требует морали, требует семьи с крепкими решетками на окнах. Дохристианская семья была единицей рода, христианская семья стала идейной единицей... Но где же выход? Особенно сегодня, когда современные сатиры забросили свои флейты и стали психиатрами?"

Человек перестал писать и посмотрел в окно. Рассветало, и рассвет этот показался утомленным глазам

Человека истинно языческим. Небо было того цвета, которого достигали варвары, когда они лили пурпурные краски на раскаленную медь. Именно такое расцветное небо было над горной языческой деревней, где жил красивый юноша-христианин, пастух. Небо четвертого века после Рождества Христова.

Человек начал листать книгу, пытаясь найти легенду о нем, но не мог. Где он прочел эту легенду? От кого он слышал? Или видел во сне? О зеленый стебель легенды! Кто назвал тебя так? Где же, где же я видел это сочное растение? Может, в нем ответ, который мучает меня?

Человек пошел на кухню и открыл кран. Журчала, текла вода, заглушая остальные звуки. Человек еще слышал свое дыхание, но река уже неслась, необыкновенно прозрачная и приятная на вкус. Человек напился с наслаждением, но тут же стало холодно. Пресная вода всегда холоднее морской, и нравы людей морского побережья не так суровы. Здесь же, в горной языческой деревне, — зима. Река несла на себе льдины, будто куски белого мрамора. Глубокий снег завалил дороги, и поселяне заперлись в домах. Одни пряли лен и козью шерсть, другие мастерили птичьи силки. Лишь затем выходили, чтобы в ясли мякины быкам подложить, в стойла козам и овцам — веток, свиньям — желудей. А виноградники и смоковницы были надежно укрыты от холода и ветра соломой.

Но за селом, в скале, была пещера, и иней покрывал камни. Тлела лампадка, крошечный огонек, который не согревал, а лишь позволял читать и писать. Здесь жил христианский отшельник, который писал против язычников и которого не убили еще только потому, что над ним смеялись и потешались жители деревни, называя его немывтым аскетом. Дети деревни показывали голые задницы, когда он шел к ключу

за водой; он же в ответ грозил неверным чумой и концом света, тыча сухой палец в святой свиток. Ночи отшельник проводил на твердом ложе из неструганных досок, один, в писаниях и борьбе с собственным желудком, который требовал пищи. Отшельник ненавидел свой желудок. Он знал, с какой радостью он переваривал бы жирную баранину и сладкие смоквы. Он ненавидел свое тело, которое готово было молиться Пану, готово было плясать в общем хороводе с нимфами. Однажды он увидел на камне высеченный в давние времена рисунок. Нимфы плясали. Ноги босые, руки обнажены, кудри вились по плечам, пояс на бедрах, в глазах — улыбка... Так ли все было изображено, или картину дополнило воображение? Всю ночь просидел он тогда, вцепившись нестриженными, длинными, как у зверя, ногтями в свалявшиеся всклокоченные волосы. Борода же была жестка, и из нее можно было свить морской канат.

Но сегодня в пещере не один был отшельник. Ученик его был с ним. Сиротой взял отшельник мальчика, воспитал его, окрестил, научил святым молитвам. Всею душой полюбил мальчик Бога и Сына Божия. Но он был красив, и когда подрос, то полюбил также и красоту свою телесную до того, что захотел стать еще красивее, чем был. Он проводил часто время, любуясь своим отражением, и выщипывал даже волосы на груди своей, чтоб кожа была чистой и гладкой. И срёзал раскаленным ножом бородавку с левой ягодицы своей, ибо многие женщины и девушки села искали с ним связи; он же боялся, что руки женщины в страсти найдут бородавку. Тогда впервые после долгой разлуки увидел отшельник ученика своего, который пришел просить зелья для примочек, ибо рана на ягодице не заживала. И хоть отшельник давно прогнал и проклял его, как отступника, он все же дал ему

зелья. Он взял мальчика сиротой, воспитал его, это было его неразумное дитя, которое он любил и о котором позволял себе иногда думать с нежностью. И вот сегодня ночью он опять пришел и принес с собой горсть горячих углей, чтоб согреть жилище. Отшельник позволил это себе, и они сидели среди пара от ставшего с камней инея. Он принес с собой и еду. Конечно, не мясо, не рыбу, не дичь, с которыми отшельник не пустил бы его в пещеру. Немного сушеных смокв, печеного хлеба, молодого вина.

— Улыбнись, отец, — сказал ученик, ибо по-прежнему звал отшельника отцом, — перестань сердиться, пусть твои глаза опять подарят радость.

Они помолились перед едой, и отшельник видел, что ученик молится так же сердечно.

Ученик был деревенским пастухом и хорошо исполнял свое дело, потому его терпели в деревне, хоть он был христианин. Сильно помогало также заступничество богатых женщин. Особенно Ариадны, жены старосты деревни. Но мужчины ненавидели его и искали повода, чтобы погубить.

— У меня на спине много забот, — сказал отшельник, — зачем пришел ты, объясни. Ибо я знаю, что ты приходишь лишь за надобностью.

— Правда, отец, — ответил пастух, — скоро весна. Надо будет угонять овец в горы, на луга. Научи меня молитве, чтоб все девушки и молодые женщины деревни превратились в овец и я угнал их вместе со стадом так далеко, в такое место, где никто не найдет нас. Ибо я люблю их всех, и хочу их всех, и буду пасти их всех.

И отшельник, поевший досыта сушеных смокв, согретый горячим углем, размякший от созерцания неразумного дитя своего и возбужденный коварным демоном, дал такую молитву.

Вот наступает весна, все цветы расцвели, в воздухе — жужжание пчел, пение птиц, барашки скачут по траве. И помолился пастух молитвой, взятой у отшельника. Но не Бог, а диавол был хозяином той молитвы. За грехи отдан был христианин-пастух в руки диаволу. И было ему знамение, что молитва принята. Все жилище осветилось блеском и сиянием, точно внесли факел. И упал пастух навзничь, дрожа от радости, содрогаясь от наслаждения, ибо страдал он болезнью Геркулеса, как в древности именовалась эпилепсия.

На рассвете в тишине, как в гробу, спало село. Погнал пастух в горы стадо, сторонясь людных мест. А женщины и девушки, обращенные в овец, шли отдельной кучкой, тогда как другие овцы не принимали их, чувствуя чужаков, и били их. Потому женщины и девушки, обращенные в овец, старались держаться возле пастуха, который защищал их своим посохом. Ближе всех к пастуху, у ног его, шла большая красивая белая овца. То была Ариадна, жена старосты, богатая и страстная любовница пастуха. А далее всех шла маленькая рыжеватая овечка, которую оттерли другие овцы. Имя ее было Деметра, и у нее был жених, солдат, которого она ждала из похода. Но пастух соблазнил ее своей красотой и, проведя с ней две ночи, забыл ради новых наслаждений. Однако Деметра не забыла его. Юная и нежная, она смотрела на юношу своими зелено-золотистыми овечьими глазами и радовалась его красоте и ловкости. А пастух был действительно весьма умелый и знал все тайны своей профессии. Как нужно пасти до полудня и как стадо снова выгонять, когда спадет жара, когда к водопою водить, как обратно в загон отводить, когда посох в ход пускать, а когда лишь прикрикнуть. И местность дальнюю, мало кому известную, выбрал он умело. Вблизи пещеры бил

ключ, образуя ручей. Перед пещерой был свежий луг, и на нем — влажная, густая, вкусная трава. Здесь они паслись, здесь они жили, и здесь пастух гладил густую мягкую шерсть обращенных женщин, скотоложествуя. Иногда же он любовался и собственным телом, ласкал его, сидя у ручья, где плавало отражение, и, подобно юноше-красавцу Нарциссу, влюблялся в себя все более. Ему было хорошо, но время шло, и овцы, в том числе женщины, обращенные в овец, тосковали по дому и ждали освобождения. Только Ариадна не ждала и Деметра не ждала. Когда пастух позволял Деметре, она нежно терлась рыжей шерстью о его бедра и язычком касалась лица.

Между тем их искали родители женщин, мужа, женихи и прочие владельцы украденного скота. Долго искали, пока не нашли в момент, когда пьяный от любви пастух наслаждался с Ариадной, белой овцой.

Ариадна прежде, будучи женщиной и обладая острым умом, часто беседовала с любовником о христианстве и видела, как он молится своему Богу из Галилеи.

— Правда ли, — спрашивала она, — что христиане употребляют в пищу людскую кровь, особенно кровь нехристианских младенцев?

А пастух объяснял ей, что язычники возводят на христиан кровавый навет, пользуясь тем, что Христос сказал: вино — кровь Моя, хлеб — плоть Моя... Ешьте плоть Мою и пейте кровь Мою...

И Ариадна слушала, все более соглашаясь с учением галилеян. Пастух надеялся, что со временем она станет христианкой и вовлечет в христианство своего мужа, старосту. Ибо обращение главного врага было бы победой над языческой деревней.

Но вот схватили пастуха язычники, владельцы скота, мужа и женихи. Самые нетерпеливые, ревни-

вые и обиженные хотели его тут же растерзать, другие предлагали отвести его в театр языческого города, где он был бы разорван на части обезьянами или лисицами на глазах у всего народа. Однако муж Ариадны, староста деревни, сам изнывая от ненависти и ревности, тем не менее сказал:

– Пусть этот вор-христианин публично признается, что в коварном учении галилеян нет ничего божественного, а есть лишь злобный людской вымысел... Тогда, может быть, мы накажем его не до смерти.

Но пастух ответил:

– Пусть святой отец – отшельник, над которым вы потешаетесь, – прочтет вам сладкозвучный Псалтырь, пусть прочтет он вам сверкающие сапфирами песни из Исаяи, и вы поймете, что истина там, где красота духа, а не красота тела... Мой же грех телесен, и не вами, а телом я удушен...

Последние слова он говорил уже с трудом, ибо сплетенная из гибких ветвей веревка-удавка перетягивала жилы на его шее. Он был еще жив, когда подожгли на нем одежду. Он еще не совсем умер, когда отсекали ему руки и ноги. И едва он умер, как все обращенные в овец женщины вновь обрели свой прежний облик. Все, кроме Деметры, которая предпочла лучше остаться беззащитной овцой, чем принадлежать другому мужчине. А Ариадна выпросила себе тело растерзанного пастуха, которое хотели бросить в ров, чтобы никто даже не помнил о его гибели. Муж-староста, безумно любящий свою красавицу жену, не смел ее слушаться. Она положила тело в кипящее вино и в последний раз помолилась своим языческим богам, чтобы несчастный грешник был принят в рай. Ночью она погрузила тело на мула, отвезла его на тот дальний луг у пещеры и похоронила по-христиански. Сама же ушла в долину и вскоре стала одной из самых ярких пропо-

ведниц христианства и беспощадных гонительниц язычников. Вместе с другими победителями язычества она разоряла, предавала огню их деревни и оскверняла их храмы, разбивая мраморные статуи богов-идолов.

Деметра же, оставшись рыжей овечкой, начала жить одна у могилы пастуха. Часто теплой мордочкой своей прижималась она к ней и мягким язычком вылизывала ее, как ягненка своего. Любое насилие было властно над ней, нож ли бродяги, клыки ли волка или просто насилие безразличной природы, холодного дождя и ледяного ветра, ибо время шло к осени. Когда минет зима и сойдет снег, который в этой местности бывает так же глубок, как скифские снега, когда солнце опять станет теплым и прогреет воздух, найдет ли случайный путник нечистый, поедаемый птицами труп овцы или чистый, обглоданный еще с осени скелет ее? Что защитит, что спасет беззащитную невинность? Ничто, кроме зеленого стебля легенды.

Император язычников Юлиан в своем слове против христиан пишет: “Оно (христианство) сумело воздействовать на неразумную часть нашей души, по-ребячески любящей сказки, и внушило ей, что эти небылицы и есть истина”.

Заржавела и рассыпалась в прах булатная сталь, этот символ истинной реальности, растаяли, как галлюцинации, всемирные империи, а зеленое растение, выросшее из зерна, брошенного в сухую палестинскую землю, выстояло, объединяя тех, кто жил, тех, кто живет, и тех, кто будет жить. Люди булатной стали, люди реальностей — император Юлиан, царь Иван Грозный, вождь Сталин — для ныне живущих не более чем символы. Они не реальней галлюцинаций. Но живы вековые, ослепшие от старости патриархи, живы побитые камнями пророки, жив распятый Галилеянин.

Все они — реальные современники еще не родившихся поколений. Жив, плодоносен и языческий миф, телесный миф эллинов, над которым также насмеяется Юлиан, отдавая, однако, ему предпочтение. Отчего же? Оттого что Единобожие, явление человеку Бога незримого, впервые превратило миф в учение, адресовав его не телу, но душе. Где же сердцевина этого учения, что делает его столь прочным? Самоотверженность желчного отшельника-схоласта, распятого язычниками вблизи пещеры своей и помертвевшими губами повторяющего гимн в честь Сына Божия и проклятия в адрес Его врагов? Или телесная стихия грешника-пастуха, обузданная лишь петлей на шее и последние судороги жизни тратящая не на спасение тела, а на спасение души, на раскаяние и славу Господу? Или ярость новообращенных, вливших в христианское учение старую языческую кровь, кровь Зевса, сочетавшегося со своей матерью, и Крона, проглотившего своих детей? В день святой Пасхи с пением “аллилуйя” Ариадна с другими обращенными строили новую обитель. Они испровергли античную статую Аполлона, молотами разбили алтарь, чтоб на месте святилища Аполлона возвести часовню. Все это было, и без этого не понять ни дикости прошлого, ни беспмятства настоящего. Однако вечная зелень старой легенды, ставшей учением, была бы невозможна без кротких золотистых глаз рыжей овечки у могилы любимого, ибо истинная любовь — чувство не краткое и изменчивое, как жизнь, а вечное и крепкое, как смерть.

Человек все это увидел и услышал, и все было рядом, его можно было бы коснуться рукой, но оно было отделено прочной стеклянной стеной, стеклом, которое замечаешь, только ударившись об него. Не от подобного ли удара Человек очнулся?

Муха у капли чая

Творения больного мозга, наподобие ласточкиного гнезда, строятся из комочков земли-реальности, где-то прежде увиденной, услышанной или прочитанной, и выделений собственного организма, в момент творчества склеивающих эти комочки в причудливые, но живые картины. Эти картины исчезают, как возникли, мгновенно, иногда с третьим криком петуха, иногда с урчанием автомобильного мотора и шарканьем метлы, убирающей осенние листья.

Человек остановил поток воды, льющейся из крана, и посмотрел в окно. Горела обычная московская утренняя заря. Все исчезло, но золотистые глаза рыжей овечки остались по эту сторону стекла, разделяющего четвертый и двадцатый века, как крупницы золота после того, как промыта и отброшена в отвал горная порода бытия. И Человек бережно завернул эти золотистые овечьи глаза в тряпочку, которую спрятал у себя на груди.

4

Наконец Человек выкарабкался окончательно, так он решил. Галлюцинации больше не повторялись, головные боли почти полностью пропали. Он понимал, что рецидивы возможны, но верил, что кризис позади. Он физически окреп настолько, что решил даже восстановить прерванные болезнью связи с приятелями.

Была между тем уже зима, настоящая, серебряная, солнечная, с обжигающими морозами и красногрудыми снегирями на заснеженных ветках.

Как-то незадолго до Нового года Человеку позвонил его приятель, инженер, и пригласил на новоселье. Инженер этот родился и вырос в старой Москве, на Большой Полянке, ныне же переехал в Москву социалистическую, смявшую окрестные деревни и построенную по типовым проектам.

Общество на новоселье было интеллигентное, служилое, но песни — блатные.

— Ой, мама, — пел под гитару доцент, специалист по радиоэлектронике, — ой, мама, ты совсем уже седая, зачем же ты у папы на груди... — А потом ударил по деке гитары и припадочно закричал: — Примем меры против Веры, заявили милиционеры...

— Сулейман, — визгливо хохотала, перегнувшись через стол, крашенная блондинка, — Сулейман, налей между собой и Коганом коньяк, чтобы между вами протекал Суэцкий канал...

Кто-то рассказывал:

— Не знаю, пойдет ли она за меня в огонь, но в воду пойдет, конечно морскую, и если это, конечно, Сочи.

Человек запоздал и приехал, когда уже не говорил, а кричали и хохотали. Ели и пили много. Вкусна чужая еда и выпивка. От сигаретного дыма и выпитой рюмки коньяка у Человека началось сердцебиение. Он невпопад совал вилкой, чтоб получше закусить, как вдруг увидел, что за противоположным концом стола сидит Сапожковский, делает ему какие-то знаки и улыбается. А рядом с Сапожковским — Аптов. “Как нехорошо, — подумал Человек, — надо бы подойти, объяснить”, — но не подходил, а пил рюмку за рюмкой, чокаясь неизвестно с кем. Какие-то лица лезли к нему в друзья, и он уже поцеловал в шею крашеную визгливую блондинку. Говорил он и с Сапожковским, но это был легкий пенистый разговор. Однако когда Сапожковский появился в распахнутой дубленке, очевидно, чтоб проститься, и ведя под руку Аптова, одетого в пальто с бобровым воротником, Человек всполошился и вдруг предложил свою помощь. Аптов явно перепил, шел спотыкаясь и волоча трость.

— Да, да, — сказал Аптов, медленно подняв голову с груди своей, — пусть проводит... А то скрылся... — И он незаметно подмигнул Человеку.

Чем-то романтически-опасным повеяло на Человека, и воспоминание о несильной боли, которую причинил ему Аптов, ожило... Танцующие босые нимфы, с одной грудью — слегка прикрытой, другой — обнаженной, люди-кентавры с лошадиными бедрами, ангелочки с толстыми розовыми попками... “Надо все пережить, все ис-

пытать... античный человек понимал это... Не было ни гражданских, ни товарищеских судов, а было судилище в форуме. Там осуждали за богохульство, но не за наслаждение, совершенное по доброму согласию”.

Страшен соблазн, когда все совпадает, все решается само собой и все боковые тропки ведут к нему... Когда все телесно... Когда коньяк обманул разум, вкусная еда возбудила желудок, когда все набухло, все разрыхлено... Когда привлекают не плоды дерева жизни, а его корни. Живые корни, подобно змеям, копошатся во тьме. Между змеей и сладким яблочком греха — прямая связь. А погибель-изгнание — за горизонтом, до которого еще надо дойти-дойти...

На улице, на освежающем морозе, Сапожковский шепнул Человеку, перед тем как усадить его и Аптова в такси:

— Вот удружил. У меня тут дама червей, а я козырь. Надо покрыть. — Потом он обернулся к Аптову: — Ну как, Леон?

— Немного перебрал, — ответил Аптов, шумно дыша, — давно так не излишествовал. Но иногда надо...

Такси поехало, выбралось на шоссе и понеслось сквозь косую толщу снега.

— Обожаю поизлишествовать, — сказал Аптов, — но не всегда это возможно. Ограничен степенью изношенности сердца... Ну, как ваш проект памятника сердцу? — спросил он вдруг. — Ваша скульптура на бумаге в стиле Жуковского? Надгробье юноше по имени Аноним?

— Давно в мусорной корзине, — ответил Человек. — Чувствую я себя гораздо лучше.

Разговор волновал его, как и то, что они несутся во тьму, сквозь снег.

— Напрасно, — сказал Аптов, перебирая пальцами серебристую копию своей головы, — кое-что следует

брать оттуда сюда, даже когда мы возвращаемся... Сердце — это бомба замедленного действия, заложенная в нашу грудь... Нет боли сильнее сердечной. Я испытал всякую боль. На фронте был четыре раза ранен. Два раза тяжело. Первый раз из крупнокалиберного пулемета правую руку прострелили. Я в авиации был. Потерял управление, упал. Мне повезло, сбили свои по ошибке. Вылечили, опять повезло. Попал в ночные бомбардировщики. Это теперь приборы ночного видения и прочее, а тогда ночью сбивали гораздо меньше. Пока тебя прожектор поймает да звукоулавливатели расслышат... Все-таки был еще трижды ранен... Но сердечная боль гораздо сильнее... Настоящая сердечная боль... Вот сейчас тоже колет сердце, но это не то. Приму лекарство — пройдет. У меня дома хорошее лекарство... Но не для настоящей боли. Настоящая сердечная боль, настоящий инфаркт — это непередаваемо... Начинается в области сердца, потом в левой руке, потом в правой. Неимоверно сильно болит голова... Я возвращался с работы, поднялся на третий этаж по лестнице... Чувствую, кольнуло сердце... Принял валидол. Не проходит, принял опять. Вдруг кольнуло совсем сильно, тогда незнакомо... Я быстро к дверям, не позвонил, а позвал жену... Была у меня тогда жена, была пятилетняя дочка... Позвал жену... Она услышала, открыла... “Что с тобой, — говорит, — ты бледный”. “Что-то с сердцем”, — отвечаю. Вдруг боль стала предельной. Я упал, потерял сознание. Три часа не могли снять боль, когда очнулся. Лежал много дней на спине, медленно шевелил руками. Вот что такое сердце... А мы не щадим себя, все хотим острого соуса...

Этот разговор был гораздо неожиданней, чем если б Аптов вдруг залаял. То, что Аптов был летчиком, воевал, имел ранения, пережил инфаркт, был же-

нат, сделало его менее интересным, точно разоблаченным, и Человек пожалел, что оставил ради него общество.

Когда приехали, Человек взял из рук Аптова бутфорскую трость и помог войти в лифт.

Аптов жил в маленькой однокомнатной квартире, небогато обставленной. Единственная ценность — большой цветной телевизор, тогда редкость в советской квартире. Не снимая пальто, Аптов взял из аптечки какие-то таблетки, принял.

— Сейчас станет лучше, — сказал он и улыбнулся жалкой больной улыбкой. — Хорошо, когда в доме есть нужные лекарства...

Сняв пальто и положив его тут же, на пол, он уселся на диван.

— Вот, купил цветной телевизор, — сказал он, — радость одинокого... Нет, что-то я сегодня лишнее перепил, тошнит... Пойду в ванную...

Он ушел, а Человек уселся на стул и стал ждать. Где ты, серебряный сатир, где ты, ночь одуряющих ощущений? Человеку было обидно, ибо он считал, что уже согрешил, решившись... Но согрешил, не получив награды. Человек услышал стук в ванной — видно, Аптов что-то уронил. Прошла минута, другая. Аптов не возвращался. Он уже некоторое время корчился и хрипел на полу ванной, но разочарованному Человеку казалось, что это хрипит плохо закрытый кран. Потом, пытаясь вызвать по телефону "скорую помощь", Человек обнаружил, что не знает адреса... Пока бегал к соседям, пока приехала "скорая", Аптов уже затих.

Так умер бывший летчик, позднее сатир-психиатр Аптов, и так змея съела яблочко, перед самым носом у обманутого Человека. С этого момента Человек перестал верить в грех как в творчество, а начал искать в нем лишь забаву. Это значит, что он практически

был здоров и способен выполнять свои обязанности перед обществом. Он обрел уверенность в себе, начал ходить на плавание в бассейн, занимался гантельной гимнастикой и за черным кофе поучал: “Отношения в семье должны быть не психологической драмой, а опереттой”.

Так вместе с чувством греха ушло и чувство святости, ибо грех есть тень, которую отбрасывает святость. Над античным миром солнце все время стоит в зените. Космогония античных чувств предельно ясна, и свет там отделен от тьмы. Вот почему возмущается император язычников Юлиан библейской версией о сотворении мужчины и женщины. “Бог говорит: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему», — а эта «помощница» решительно ни в чем не помогла ему, обманула его и стала причиной того, что и он, и она были изгнаны из рая и лишились райского блаженства”. Причем под блаженством античный характер всегда понимает наслаждение красотой. Мир же современного “античника” — это мир, где гармоничная красота заменена негармоничным эстетством.

Человек наш на новой, нынешней спирали своей опять сошелся с “античником-эстетом” Семовым, приятелем, который появлялся в его жизни, когда он уставал от размышлений и чувствовал необходимость поглупеть. Семов, не очень красивый, бедный парень, привлекал женщин легкостью отношений, которых многие женщины жаждут как отдыха от бесконечных обязанностей. Семов понял: для того чтоб не бояться жизни, надо над ней насмехаться. Собственно, Семов понял то, что в один из прошлых периодов общения ему подсказал Человек. Но он хорошо усвоил урок и развил это учение так, что самому учителю приходилось идти в подмастерья к бывшему ученику.

Они проводили дни, прогуливая друг друга по бульварам, особенно по Тверскому, лучшему бульвару Москвы. Они прогуливали друг друга и смеялись над немощными стариками и старушками на скамейках, растратившими силы за годы, деленные на пятилетки. Смеялись над некрасивыми, слишком тонкими, спичечными или слишком толстыми, рояльными ногами проходивших девушек, которые явно жаждали любви или хотя бы знакомства. Однако для знакомства существовали другие, волоокие, с распущенными волосами, мелкозубые, с маленькими носиками, цыганистые украиночки, татаристые уралочки и прочие дамы полутьмы, лучшего времени для знакомства на панели.

Май был очень теплый, и улица Горького, бывшая Тверская, стада вдруг похожа на южную набережную. В полночь она все еще была заполнена шумной, цветастой, сочинской толпой. Появилось много красивых полураздетых девушек и липких юношей. Похоть витала в теплом ласковом воздухе, особенно у фонтанов. Однажды Человек видел, как у фонтана стоял слепой с букетом белой сирени, видно, ожидая женщину, и этот образ запомнился, несколько утяжелив происходящее. Человек остановился неподалеку и стал наблюдать, отказавшись идти с Семовым, который познакомился с двумя литовскими циркачками. Семов махнул рукой и ушел. Они повздорили. Семову накануне отказала женщина, которой он давно добивался. Было и такое с ним. Теперь Семов планировал пустить в определенных кругах слух, что у женщины этой на спине большая бородавка. Но это удовлетворило его лишь отчасти, и он был раздражен. Человек в одиночестве просидел у фонтана и ушел при погашенных фонарях одновременно со слепым, выбросившим букет белой сирени в урну, которую нащупал палкой. Однако происшествие это промелькнуло лишь мимолет-

ным облачком, вернее, грозовой тучкой, дурным сном, давно не беспокоившим. Пришла покойная мать, начала мыть ноги из шланга в саду, потом полил сильный дождь (Человеку часто снился дождь), полил дождь, который, падая на землю, превращался в пар, потому что земля раскалялась сильнее и сильнее. Все заполнилось паром, и мать сказала: “Сынок, это конец света”. Тогда материальное серое исчезло, и во сне возник цвет. Ярко- и густо-голубое небо.

“Нет, хватит Шопенгауэров, — вспоминая сон и жуя завтрак, думал Человек, — хватит диалогов с покойниками... Жить надо в другом жанре”.

Он позвонил Семову, и они продолжали прогуливать друг друга, ища добычу. Вот что стало с “воздушным испанцем”, когда лопнули его шарик, наполненные снами, и он опустился на бренную нашу землю, обманутый и истинной любовью, и истинным грехом. А как же завернутые в тряпицу золотые овечьи глаза, вынесенные им из краткого проживания в веках давно минувших? О них он сейчас не думал, как бедняк не думает о золотых монетах, далеко запрятанных на случай последней беды. Однако до последней беды, как ему казалось, далеко, ибо он был практически здоров. Вернее, практически выздоровевшим, что не одно и то же. Кто хоть раз покинул нашу тучную кормилицу-землю, тому уж не вернуться. Он может выбраться рядом на зыбкую землю, он может существовать невдалеке, на болотистой почве, но нога его более не коснется того, что дается один раз. Здоровый, целинный разум, здоровое бычье сердце, здоровый полнокровно-молочный инстинкт продолжения рода... А потерял — спасайся духовным... Это два берега. Один — наш, близкий, людской, второй — далекий, Божий... Но редкий смельчак отважится далеко заплывать. Большинство плещется на отмели. А бывает, доберется че-

ловек до середины, и силы оставляют его, и понесет течение, стремнина... Пропал, погиб человек...

— Погиб человек, — говорил Сапожковский, — талантливый, умный — и погиб. Умер в пятьдесят девять лет.

После смерти Аптова Сапожковский исчез надолго, и, когда вдруг позвонил, Человек уже отвык от его голоса и с трудом узнал. Они встретились в привилегированном ресторане, куда вход был по пропускам.

— Погиб Леон, — говорил Сапожковский, — до сих пор не могу поверить.

— Ты точно в чем-то меня упрекаешь, — сказал Человек, — но я сделал все, что мог. Я даже адреса не знал.

— Нет, все мы виноваты, — вздохнул Сапожковский, — тем более — второй инфаркт. Врач сказал — если б даже вовремя “скорую” вызвали, все равно не спасти было. Погиб талантливый ученый, замечательный врач-психиатр, погиб многое переживший и перестрадавший человек. У него, говорят, были слабости, дурные наклонности определенного качества. Может быть. У нас вообще видят преступления там, где просто несчастье или слабость... Ах, боже мой, боже мой...

Сапожковский как-то уж слишком постарел и обабился. Говорил со вздохами, с причитаниями, прижимал ладони к груди и изрядно надоел Человеку, пока перешел наконец к делу, по которому, собственно, звонил. Оказывается, Леон Аптов незадолго до смерти составил завещание (знал, что тяжело болен, готов был к смерти), и по этому завещанию трость с серебряным набалдашником в виде головы предназначалась Человеку.

— Не пойму почему, — говорил Сапожковский, — общался он с тобой мало. А я за эту трость готов любые деньги...

— Нет, зачем же нарушать волю покойного, — ответил Человек.

Трости у Сапожковского с собой, разумеется, не было. Поехали на дачу. Кабинет, где когда-то принимал Человека Аптов, опять был переоборудован Сапожковским для своих нужд. Над письменным столом висела большая литография, на которую Человек сначала глянул мельком, а потом остановился и долго ее разглядывал.

Была изображена дикая скалистая местность. Высокие орлиные места. Камни. Мускулистый, в одеянии античных времен мужчина стоял, крепко упираясь ногами, в боевой позе гладиатора, сжимая длинный острый нож. Чуть выше его, тоже в боевой позе, приготовилось к прыжку существо, которое можно было бы назвать женщиной, если бы вместо рук у нее не было широко распростертых орлиных крыльев. Тело амазонки было тоже мускулистым, но по-женски изящным. Одна нога согнута в колене, другая вытянута для толчка. Длинные, огненно-рыжие, почти красные волосы. Лицо не злое, ибо в злобе есть хоть какой-то контакт, а скорее безжалостное. Черты лица правильные, женские, но птичьи. Впрочем, такие женские лица бывают и в быту. На зеленоватой коже — хищные, неподвижные, целеустремленные глаза. А вокруг — другие орлы, обычные орлы, возможно, из одной стаи с этой женщиной, однако они заняты своими делами. Кружат, чистят перья. На смертельную схватку мужчины и женщины-орлицы не обращают внимания. Всё напряжено, всё за секунду — до крови, до смертельного удара. Вонзится ли отточенный нож мужчины в упругое соблазняющее тело, или, сбив врага ударом крыла, женщина полакомится его глазами и печенью?

— Что это? — спросил наконец Человек у Сапожковского, поднявшегося снизу с тростью.

— Ах, это, — улыбнулся Сапожковский, — не правда ли, символично? Но непонятно, что она защищает. То ли гнездо, то ли тело... Какой-то немецкий экспрессионизм... Немцы любят эстетизировать ужасное... Большие деньги заплатил...

Человек взял трость из рук Сапожковского и молча вышел.

И с тех пор трость стояла у него в углу комнаты, в специальной подставке, недалеко от ложа, и он вешал на нее трусики своих любовниц, самую, как он считал, прекрасную часть женского туалета. Легкие, как паутинка, шелковые, гладкие, как атласная кожа на животах и попках, с волнующими кружевами телесного, голубого, розового цвета. Серебряный профиль исчезал под волшебной тканью, а когда появлялся вновь, едкий серебряный рот, растянутый в улыбке, был чуть-чуть более округл, как у насытившегося гурмана.

Так шло время, и Человеку все более и более нравилось жить. Казалось, еще немного — и он увидит над собой истинно античное солнце, застывшее в зените. Однако мешали происшествия с насекомыми. Надо сказать, что из прошлой, проклятой им жизни он унаследовал привычку разговаривать сам с собой. Привычку эту можно было бы считать не вполне здоровой и нормальной, если б ей не было подвержено слишком большое число людей разного возраста и звания. По крайней мере, в многомиллионной Москве можно часто встретить человека, идущего по улице и при этом беседующего с собой. Причем беседы эти иногда сопровождаются жестами, движениями рук, плавными или резкими в зависимости от темы.

Так вот, однажды, в довольно приятном настроении Человек шел по улице и беседовал с собой о своих взаимоотношениях с тростью, которая постепенно

становилась все требовательней и не всегда удовлетворялась качеством повешенных на нее женских трусов, что видно было по форме рта, который вместо округлости приобретал линию острую, наподобие лезвия.

Кстати, творческая жизнь Человека, которая ранее подвергалась критике, теперь вполне удовлетворяла общество, ибо не все виды психического расстройства для общества опасны, а некоторые даже полезны. Когда Человек написал большую проблемную статью под названием “Без трусов”, то ее мигом напечатала солидная газета, правда, под названием “Наращиванию мощностей легкой промышленности — высокие темпы”.

Постояв в короткой, приятной очереди к окошку кассы, где солидная газета выплачивала солидный гонорар в надежные руки, и нанюхавшись денежных запахов, вопреки утверждению о том, что “деньги не пахнут”, Человек вышел на улицу и затеял очередную беседу с собой. Сегодня вечером он надеялся повесить на трость высококачественные импортные кружевные трусики волнующего черного испанского цвета и тем помириться с серебряным партнером. Так беседовал он, идя полуденной, обдуваемой свежим ветром столицей, как вдруг неизвестная муха пулей влетела в его открытый рот, и он ее мигом проглотил, от неожиданности не успев выплюнуть. Брезгливость, стыд, жалость к погибшему насекомому, которое прощекотало нежными лапками по гортани, тщетно пытаясь удержаться, спастись, и теперь жадно заглотивалось его питоном-кишечником, весь этот сонм чувств овладел Человеком, заставил его остановиться и в усталости сесть на скамейку. Где прежняя легкость, еще минуту назад наполнявшая его? Где античное солнце в зените? Где овеваемая прохладой уютная Москва? Перед

ним опять был город его недавнего прошлого, с нервными, дурно одетыми, усталыми прохожими, с громяющими самосвалами, полными липкого грунта, с разрытыми, постоянно перестраивающимися улицами, где посреди мостовой нередко можно увидеть труп убитого животного, собаки или кошки, лежащий так же привычно на виду у прохожих, как и тела алкоголиков. Ему стало внезапно плохо до обморока, и он впервые за много дней полез под рубашку проверить, хранился ли неприкосновенный запас: золотые овечьи глаза, завернутые в чистую тряпицу. Они были на месте, и Человеку полегчало.

В этот вечер трость не получила обещанных ей кружевных испанских трусиков, и, лежа без сна, Человек видел, как она скалится из темноты в углу комнаты.

— Перестаньте злиться, Аптов, — говорил Человек, — вы обманули меня гораздо сильнее в тот вечер вашей смерти... И посмотрите, чем я стал теперь... Я растрочен мелкой монетой... Медью, которую раздают нищим... Можете вы мне помочь? Только без всякой философии... Нет или да?

— Да, — ответила трость.

— Как? — спросил Человек. — Что мне делать?

— Завтра иди на рынок и купи себе груш...

— Груш? — удивленно переспросил Человек.

— Только хороших, дорогих, пахнущих медом груш...

— Это значит — сорт “бере-боск”? — пожелал уточнить Человек.

Однако трость более ничего не ответила.

5

Было третье июля, сезон для груш в средней полосе России не совсем подходящий. Но можно было купить груши привозные — крымские, кавказские или из южномусульманских республик. Человек наш знал толк в грушах и, покупая, поедал их сознательно, то есть понимал, какой сорт употребляет.

Когда жива еще была его мать и Человек существовал далеко отсюда, в местах иных, на другой планете, в саду возле их дома было два грушевых дерева — одно породы “бере-боск”, второе породы “сен-жермен”. Было и несколько сливовых и вишневых деревьев, росли кусты малины... Сад был маленький, в пределах допускаемой социализмом частной собственности, но ухоженный и любимый... Жив был и отец, агроном с загорелой лысиной и в вышитой рубахе. Мать тоже носила платье с вышивкой, домотканое, льняное...

Детство наше, пахнущее маринованными грушами. Почему мы не умираем пятилетними ангелочками? Зачем нас изгоняют оттуда, где мы предмет для любви, туда, где мы предмет для потребления? Зачем идем мы по следам отцов своих? И почему, мама, ты

украли Божье яблоко, когда вокруг столько людских медовых груш?

Человек сразу увидел то, что искал. Конечно, это не были те груши его детства, большие, мягкие — масло с медом... Да и не “бере”, пожалуй, а “дюшес”... Однако в период вторжения мичуринской науки в природу и на том спасибо.

Груши продавала веселая баба с большим ртом, куда она клала, очевидно, ею по-хозяйски выпеченные и привезенные с собой блины. Загорелой рукой с темными бронированными ногтями она брала очередной блин из алюминиевой миски, макала его в алюминиевую миску со сметаной и клала в рот, ловко отирая пальцами губы. Второй рукой она отгоняла ос, стаей носящихся вокруг и садящихся на груши.

— Мелковаты груши-то, — вступил в торговые отношения Человек, также отгоняя ос, которые начали виться возле его лица.

— Самые подходящие, — охотно отозвалась баба. — Вот тюрьма велика, а кому она в радость...

“К чему о тюрьме, — подумал Человек, — какое отношение имеет тюрьма к покупке груш?” И в этот момент он почувствовал сильный укол в затылок. Место вокруг укола начало тут же чесаться и пухнуть.

— Что, — засмеялась баба, — уже укусила?

Она сказала так, словно была хозяйкой не только груш, но и ос, и гордилась их ловкостью и умением, как гордятся в хозяйстве хорошим сторожевым псом.

Человека давно не кусали осы или пчелы, он и не помнил когда, так что этим укусом он был удивлен и встревожен. Купив груш и вернувшись домой, он даже записал в блокнот: “Сегодня, 3 июля, меня укусила в затылок оса. К чему бы это?”

Он еще не знал, что третье июля — это день рождения его будущей жены, с которой он познакомится че-

рез тридцать три дня. Он не знал, что впереди его ждут не телесно-античные удовольствия, а новый труд и новая борьба. Неужели умрут и эти годы нашего Человека, последние годы, отпущенные ему перед старостью? Неужели вереница дней и ночей будет подытожена осой у капли меда или варенья? О том не знает и серебряный набалдашник Аптов, не простивший Человеку черных испанских трусиков Афродиты из кордебалета. “Чем окончится — неизвестно, но пусть теперь трудится, — злорадно думал Аптов, — пусть вместо солнца в зените горит над ним электрическая лампочка ночных семейных отношений, пусть выбежит он босыми ногами на ночной снег, как выбежал когда-то я вслед за женой, собравшей свой чемодан, пусть свалится он после этого в психозе. Но не в психозе не-офрейдистов и экзистенциалистов, а в нашем советском психозе профессора Мясищева, изгнавшего из советской психиатрии буржуазные теории и считающего, что психоз есть результат пренебрежения человеком коллектива, каковым является и советская семья. И пусть после этого жена, пользуясь связями папы генерала, сдаст Человека в привилегированную кремлевскую больницу с черно-красной икрой к завтраку, в кремлевскую психлечебницу, где лечатся перенапрягшиеся на партийно-советской работе шизофреники. Пусть вылечат его там шведскими препаратами, после чего они с женой поедут туристами за границу на Олимпийские игры, где, дружно аплодируя, будут кричать «нашим парням»: «Мо-лод-цы!»”

Да, так оно произойдет, так свершится, как задумал злопамятный покойник. Что защитит, что спасет беззащитного Человека? Опять ничто, кроме зеленого стебля легенды.

Нет, не побежит он босыми ногами по снегу, унижаясь перед беломясой, грудастой, попастой гене-

ральской дочерью-сударыней, красавицей-барыней. Сам уйдет он в ночь, не взяв с собой ничего, с легкими руками, унося лишь золотые овечьи глаза на груди, завернутые в тряпицу. Будет искать он суженую свою повсюду и наконец найдет овечку свою, идущую мимо из-за слепоты своей. Тогда вытащит Человек тряпицу, развернет ее и вставит живые золотые глаза в пустые овечьи глазницы, в обглоданный волками овечий череп. Мигом покроется овца вновь мягкой шерстью, и увидит его, и скажет:

— Вот он, суженый мой. Пятнадцать веков я сидела у могилы твоей, где ты лежал, давленный, растерзанный на части за грехи твои и за беснование твое. Но разверзлась темница твоя, могила твоя, и пришел наш час. Вот солнце вечное, неподвижное горит над нами в зените...

Так шелестит зеленой листвою легенда. Мы, однако, знаем, что живем в мире, где восход солнца связан с его закатом. Удлиняются тени, кончается жизнь. Сдержим же и мы дыхание, глядя, как жизнь выходит за пределы вероятного, за пределы своего конца, туда, где затихают волны бытия и кроткая тишина нарушается лишь чудесным свадебным гимном в честь двух душ, мужской и женской, которые, пройдя через мучения, нашли друг друга.

*Январь-февраль 1982
Западный Берлин*

Ступени



Григорий Алексеевич взял с фарфоровой хлебницы кусок хлеба и поднял его, вытянув руку вверх и несколько назад.

— В историческом законе противостояния великих равнин, производящих хлеб, и бесхлебных народов, завоевывающих себе хлеб, Россия всегда была великой хлебной равниной, — сказал он. — Древний Рим, Германия и Англия, напротив, всегда себе хлеб добывали... И пойми, Юрий, тут не национальная спесь, но только мы, люди хлебных равнин, особенно широко открыты таким понятиям, как добро, счастье, правосудие, ибо мы не ущербны.

Григорий Алексеевич бросил кусок хлеба назад на хлебницу и допил свою рюмку коньяка.

Юрий Дмитриевич тоже допил свою рюмку и хлебнул из стакана подкрашенную чайной заваркой сладковатую холодную воду. Его начало подташнивать от сладковатой бурды, и возникло знакомое посасывание под левым ребром, несильное, но вызывающее раздражение.

— Мы часто цепляемся за какие-либо цели, — сказал Юрий Дмитриевич, — не из-за сути, а из-за литературного оформления, удачно нами найденного...

Впрочем, я устал... Ночью я всё время просыпался от грозы... Сверкали молнии... Мне приснился или просто вспомнил, лежа без сна... удивительная вещь... Свой детский бред... В детстве я как-то заболел... Покойная мать подошла, пощупала лоб и спросила, что у меня болит. Я ответил: копьё... “Какое копьё?” — испуганно спросила мать... И я ответил: которым зверей колют... Потом я потерял сознание, но эти слова мне врезались глубоко в мозг... Начало бреда... Время от времени я вспоминаю...

Юрий Дмитриевич грузно встал и подошел к окну. Был конец мая. Листва начала уже терять весеннюю свежесть, парило с утра, словно в полдень. Среди булыжной мостовой тяжело полз в гору трамвай. В расположенном неподалеку, но скрытом крышами домов соборе ухали колокола.

— Гриша, я живу у тебя уже полторы недели, — сказал Юрий Дмитриевич, — мне надо подыскать квартиру... Твоя Галя с Шуркой приезжают не раньше середины июня?

— Это не важно, — сказал Григорий Алексеевич, — у нас три комнаты... Ты меня не стесняешь... Дело не в том...

— Но ты меня стесняешь, — сказал Юрий Дмитриевич. — Я тебя люблю... Но мне надо заняться делом, а не вести бесплодные споры... Какая чепуха... Сейчас время студенческих каникул. Надо воспользоваться свободным временем...

— Юра, — сказал Григорий Алексеевич и тоже встал; он был в русской домотканой рубашке, вышитой на груди у ворота, и в шелковых пижамных штанах (в последнее время Григорий Алексеевич отрастил русую бороденку и начал носить русские домотканые рубахи, приобретенные где-то в глухой северной деревушке, куда ездил в экспедицию собирать фоль-

кзор). — Юрий Дмитриевич, ты меня извини... Я не понимаю... Вернее, не чувствуешь ли ты, что твой бракоразводный процесс нелеп... И даже юмор... Ах, юмор, юмор... Ты извини, я прошу тебя напрячься и найти рациональное зерно в моей сбивчивой болтовне... Тебе сорок шесть лет, Нине — сорок четыре... И это прискорбное происшествие случилось так давно...

— Нет, — крикнул Юрий Дмитриевич, — она изменила мне не двадцать лет назад, она изменила мне сейчас... сегодня... месяц назад... Она изменила мне не в тот момент, когда спала с другим мужчиной, а в тот момент, когда я об этом узнал. — Он вдруг обмяк, сел у стола как-то боком и глубоко вздохнул несколько раз. — Я ведь знаком с ней с пятнадцати лет, — сказал он тихо, — это была моя первая девочка, а потом первая девушка и первая женщина... Мне сорок шесть лет, но я не знал других женщин... Она уезжала в экспедиции... Я месяцами, я годами не знал женщин... В меня влюблялись... У меня была ассистентка-красавица... А ночи... Ночной человек не тот, что дневной... Это знает каждый... Дневной свет делает ночное чувство позорным и нелепым... Днем человек может холодно рассуждать, быть ироничным... Но ночь съедает иронию... Когда Нины не было, я воображал ее образ, представлял ее до малейших подробностей и, лежа в постели, целовал предплечья собственных рук...

Высказавшись, Юрий Дмитриевич притих и потупился, словно совершил какой-то стыдный поступок. Григорий Алексеевич тоже молчал, глядя в окно.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал Юрий Дмитриевич после нескольких минут молчания, — мне к юристу...

— У тебя болезненный вид, — сказал Григорий Алексеевич. — Ты б зашел к Буху. Это ведь твой коллега по институту...

— Зачем мне Бух, — сказал Юрий Дмитриевич, почему-то криво улыбаясь. — Бух со жмеринским акцентом... Бенедикт Соломонович... Если я сойду с ума, то начну, пожалуй, петь древнееврейские псалмы... — Он думал, что удачно пошутил, но Григорий Алексеевич не улыбнулся в ответ, а посмотрел на него испуганно.

Юрий Дмитриевич надел пиджак, вышел на лестничную площадку, постоял там некоторое время в недоумении, спустился на несколько ступенек, потом быстро вбежал назад, открыл дверь и принялся рыться в отведенных ему ящиках письменного стола.

— Гриша, — позвал он.

— Я в ванной, — глухо отозвался Григорий Алексеевич.

— Ты не подумай, что я Буха хотел оскорбить, — сказал Юрий Дмитриевич. — Если я сойду с ума, то воображу себя не раввином, а Дон Кихотом... Впрочем, — уже погромче и чувствуя, что ему делается жарко, сказал Юрий Дмитриевич, — впрочем, современные донкихоты так же неинтересны, как и современные бюрократы. Единственное преимущество донкихотов — в том, что они смешны и непризнаны... В медицине донкихотство именуется *delirium*, или делирий... Отражение реального мира приобретает искаженный характер... Страх, восторг, умиление и благодушие сменяют друг друга... Ах, милый Гриша... Главным врагом современных донкихотов являются не ветряные мельницы, а препараты купирования возбуждения... Появись Христос сейчас, его б не распяли, а сделали б ему инъекцию аминазина с резерпином и со своевременным введением средств, стимулирующих сердечно-сосудистую деятельность. При современном уровне невропатологии великие заблуждения невозможны...

Юрий Дмитриевич напялил тубетейку с кисточкой и вышел, по-прежнему сильно возбужденный, но

с выражением не растерянным, а скорее сосредоточенным.

Он пошел вверх по улице; она была настолько крута, что тротуар был сделан ступенями. Чем выше он поднимался, тем громче становился звук колоколов, словно в каком-то сне на библейские темы он шел прямо к небу. Юрий Дмитриевич оглянулся назад, на преодоленные уже им бесчисленные ступени. Он был совершенно один на раскаленных солнцем асфальтовых ступенях. Заросли колючей акации были по обеим сторонам, прижимаясь с одной стороны к решетке сада, изрезанного оврагами, а с другой — скрывая поросший травой склон, спускающийся к булыжной мостовой. Сверху по-прежнему бил колокол, а в промежутке, пока не замирал тяжелей медный звук, торопливо позвякивали колокола помельче. Юрий Дмитриевич поднялся еще на несколько ступеней, и вдруг незнакомое блаженное чувство появилось в нем, словно ему вскрыли грудную клетку и одним вдохом он насытился жизнью до предела так, что жизнь потеряла цену. Он пережил самого себя и посмотрел на себя со стороны с мудрым бесстрашием, не лишенным, однако, некоторой грусти по недоступным теперь человеческим слабостям. Он был не человеком, а человечеством, но всё это продолжалось не более мгновения, так что осознать что-либо в подробностях или запомнить нельзя было. Он сел на ступени; они были липкими и едко пахли битумом. Он ощутил такой упадок сил, что не решился искать в карманах носовой платок, чтоб вытереть мокрое от пота и слез лицо. Он сидел в тени куста, и за живой изгородью акации внизу под склоном со скрежетом проносились трамваи. Очевидно, потому и пуста была лестница-тротуар — никто не хотел взбираться пешком на гору в такую жару.

— Я все-таки заболеваю, — сказал Юрий Дмитриевич, — надо зайти к Буху... Как некстати... Впрочем,

это даже оригинально. Обычно ненормальные воображают себя великой личностью: Наполеоном или Магометом, — а я вообразил себя сразу всем человечеством... Из инстинктов, с которыми рождается человек, самый великий и самый печальный — это страстная жадность жить... В этом — главное противоречие между человеком и человечеством... Для человечества смерть — благо, гарантия вечного обновления.

Колокол сверху умолк, Юрий Дмитриевич поднялся, вынул носовой платок и насухо вытер лицо. Последний лестничный пролет был огражден чугунными перилами. Юрий Дмитриевич шел, считая ступени и постукивая ладонью по горячему чугуну.

Когда после пустынной лестницы Юрий Дмитриевич очутился на многолюдной площади, то в первое мгновение испытал испуг и растерянность; однако очень скоро он привык к людям и вернулся к своим прежним ощущениям, забытым или, вернее, подавленным на пустой лестнице во время боя колокола. Чтоб проверить себя, он подошел к киоску и купил фруктовое мороженое в вафельном стаканчике. Он испытывающе посмотрел на продавщицу в белом халате, который был надет прямо на комбинацию без платья, это было заметно, но продавщицу его взгляд не смутил. Сам же он, очевидно, тоже не произвел на нее никакого впечатления.

“Значит, всё в порядке, — подумал Юрий Дмитриевич, — обычный невроз... Душевная травма плюс четыре бессонные ночи... Надо заканчивать дела и ехать на юг”.

Он попробовал мороженое, но оно показалось ему кислым и одновременно приторно-сладким.

“Как это может быть?” — в недоумении подумал Юрий Дмитриевич, однако не стал долго размышлять — выкинул мороженое в дымящуюся урну.

Площадь была окружена старыми многоэтажными из серого кирпича домами, а всю левую от Юрия Дмитриевича сторону занимал собор, расположенный в глубине двора, огражденного низким гранитным забором. Собор был белый, с многочисленными решетками и портиками на крыше, покрытой оцинкованной жстью, а позолоченные купола его тонули в небесной синеве. В соборном дворе множество старух продавали цветы, было шумно и многолюдно, а сквозь распахнутые двери-ворота что-то поблескивало, и слышалось пение. И рядом с пыльными горячими троллейбусами, с ленивыми, скучными от жары лицами пассажиров и прохожих собор показался Юрию Дмитриевичу единственным местом, где можно было продлить свое необычное сегодняшнее состояние и если не вновь ощутить, то хотя бы ярко вспомнить свои ощущения на ступенях лестницы, которые манили, как сладострастный ночной грех, чистота которого одним неосторожным движением или взглядом может быть убита и превращена в непристойность.

“Кстати, – подумал Юрий Дмитриевич, – в соборе ведь прекрасные картины Врубеля... Григорий Алексеевич говорил... А я ни разу не был... Стыдно, все-таки образованный человек...”

Юрий Дмитриевич вошел во двор и поднялся на паперть, где стояли нищие. Какой-то нищий в телогрейке, надетой на голое тело, подошел к Юрию Дмитриевичу и протянул руку, крестясь и шепча что-то распухшими губами. Это был парень лет двадцати пяти, но с желтой, морщинистой, как у старика, кожей. Ключицы у него были худые, выпирали, а живот жирный, повисал, и бедра жирные, по-женски круглые.

– Тебе, братец, лечиться надо, – сказал Юрий Дмитриевич. – У тебя нарушена кора надпочечников и, очевидно, пониженное кровяное давление...

Парень икнул и произнес что-то нечленораздельное. Под глазом у него был синяк, и от него несло сивухой. Юрий Дмитриевич торопливо сунул ему рубль и прошел мимо. Мерцание свечей, блеск парчи и позолоты, прохладный полумрак, в котором откуда-то сверху, из-под купола, доносилось пение, успокоил его и притупил неприятное впечатление от встречи с нищим.

Юрий Дмитриевич поднял голову. Стены были слабо освещены, и библейские фрески едва проступали из сумрака. В одном месте он видел лишь часть человеческой руки и прекрасные чувственные пальцы. В другом — голову юноши, в которой, однако, было больше осенней беспричинной тоски, как при циклофрении, чем неземного, безгрешного.

“Особенности тоски при циклофрении — в том, что больные не могут плакать, — подумал Юрий Дмитриевич, — как это ужасно... Больной часто жалуется, что сердце его превратилось в камень, но эта бесчувственность причиняет ему тяжелые страдания... Иногда даже самоубийство... Да, среди циклофреников особенно высокий процент покушений на свою жизнь...”

— Снимите головной убор, — сказал кто-то, дыхнув коротко в упор чем-то прокисшим.

Перед Юрием Дмитриевичем стоял остроносый лысый мужчина и смотрел злыми глазами прямо в переносицу.

— Тут татары-половцы были, — сказал мужчина. — Немцы были, комиссия из Москвы была, и то шапки снимали.

— Ах, простите, — сказал Юрий Дмитриевич, — я задумался, забылся. — И он стащил тюбетейку.

За спиной прыснули. Там стояли какие-то мальчишки в спортивных костюмах с цветными спортив-

ными сумками. Они подталкивали друг друга локтями и подмигивали. Мужчина со злыми глазами метнулся к ним и принялся толкать, но мальчишки ловко увертывались и хихикали.

— Не надо, Сидорыч, пусть их, — сказала какая-то старушка. Юрий Дмитриевич огляделся и увидел, что в соборе много праздного народа, зашедшего сюда просто из любопытства. Народ стоял толпой, но в толпе этой были пустоты, как бы проруби, и, потолкавшись, Юрий Дмитриевич увидел и понял, что в пустотах этих лежали, скорчившись на каменном полу, верующие. Особенно поразили Юрия Дмитриевича старик и девушка. Седая голова и узловатые руки старика упирались в пол, лицо налилось кровью, как у акробата. На девушку Юрий Дмитриевич едва не наступил, испуганно отшатнулся. Она была в платке и босоножках, в руке — цветы, и, казалось, не замечала никого, была наедине с собой, не видя столпившихся вокруг и мелькающих у лица ее чужих ног. Юрий Дмитриевич осторожно выбрался из толпы и пошел по затоптанной ковровой дорожке среди мраморной витой лестницы на второй этаж. Навстречу ему спускалась монашка с урной, какие приносят больным во время голосования на дом, но не красного, а черного цвета. На урне было написано: “Пожертвования на содержание храма”. Монашка вопросительно посмотрела на Юрия Дмитриевича, он вынул пять рублей и сунул их в отверстие урны, как бюллетень. Монашка перекрестилась и пошла вниз, а Юрий Дмитриевич поднялся на второй этаж, который был выложен хорошо навощенным паркетом. В углу у образов шепотом молилась пожилая женщина в черном платье и пенсне, положив ладони на витое мраморное ограждение. Чуть ниже того места, где женщина держала левую ладонь, Юрий Дмитриевич прочел выцарапанную гвоздем или но-

жиком надпись с твердым знаком: “Жоржъ + Люся = любовь. 1906 г.” Юрий Дмитриевич невольно улыбнулся и торопливо отошел к противоположному ограждению, откуда толпа внизу и лежавшие в ней верующие напоминали театральный партер.

“Действительно, — подумал с некоторым даже раздражением Юрий Дмитриевич. — Как все-таки много общего с театром... Обычное зрелище...”

Справа от него, на балконе, расположился хор. Он увидел пюпитры с электрическим освещением, ноты. Седой сухой человек в очках — регент — взмахивал палочкой. Хор состоял из еще не старых женщин в вязаных кофточках. Один мужчина лет тридцати был в нейлоновой рубашке с красным галстуком. У него были выбритые сытые щеки. Другой мужчина был в вышитой рубашке. В перерыве между молитвами они переговаривались между собой, зевали, перед одной из женщин на блюдечке лежали засахаренные фрукты, а перед регентом стояла откупоренная бутылка нарзана.

Сначала снизу раздавался бас, потом хор на балконе звонко подхватывал. Внизу, на подмостках, появлялись гривастые молодые люди и старик в парчовой одежде. Обойдя подмостки, они скрывались, и задергивался шелковый занавес с крестом.

“Однако, — с досадой подумал Юрий Дмитриевич, — театр... И не бог весть какой талантливый... Почему эти валяются на полу?... Эта девушка... Не пойму”.

Он вновь пошел вниз. Навстречу ему поднималась другая монашка с черной урной, на которой было написано: “На содержание хора”. Когда монашка остановилась перед Юрием Дмитриевичем, он уже был сильно раздражен, потому монашка, едва посмотрев на него, быстро отошла, крестясь. Пение смолкло, и началась проповедь. Старичок в парчовой одежде стоял у края

помоста и, скрестив руки на груди, говорил что-то. Юрий Дмитриевич начал прислушиваться.

— Сила затаенных обид очень велика и живуча и лишь в молитве излита может быть полностью. Но все ли умеют молиться? Некоторые даже обижаются: вот я молился, просил у Господа, а он меня не услышал, и молитва не помогла. Молитва должна быть от самой души, и если в тот момент молящийся таит в себе хоть каплю корысти или озлобления, Господь не услышит его...

Далее старичок начал повторяться, говорить монотонно, как нудный лектор, скучные истины. Юрий Дмитриевич перестал его слушать. Он с удивлением смотрел на девушку, лежавшую ранее на каменном полу. Было ей лет двадцать восемь, одета она была в ситцевую кофточку, из-под которой на груди виднелся косячок кружевной рубашки. На шее были крестик и дешевые бусы-стекляшки, а в руке — цветок, несколько примятый и увядший. Лицо у нее было, пожалуй, на первый взгляд некрасивым, но, приглядевшись, Юрий Дмитриевич почувствовал, что в лице ее, так же как и в фигуре, есть что-то пока не разбуженное, но привлекательное и обещающее. Удивляла же его главным образом та детская непосредственность, та сосредоточенность и вера, с которыми девушка слушала нудные и маловыразительные слова проповеди, становясь изредка даже на цыпочки и боясь пропустить хоть слово. Это было особенно заметно, потому что вокруг праздная публика зевала, оглядывалась и перешептывалась, некоторые же проталкивались к выходу. После того как смолкло пение и началась проповедь, толпа заметно поредела.

— Своими молитвами и добрыми делами вы боретесь за мир во всем мире, — говорил проповедник, — и, хорошо трудясь на отведенном каждому из вас по-

прище, вы совершаете богоугодное дело во имя мира на земле, против войны и во славу нашего правитель-ства.

— Молодец батя, — сказал какой-то гражданин в тенниске, — сознательный. Полезное дело совершает...

Потом снова запел хор, и верующие вновь опустились, образовав в толпе провалы. Опустившись, девушка подобрала под себя, прижала к животу колени, и стали видны стоптанные подошвы ее босоножек. Хор гремел всё громче, трещали свечи, колебались парчовые занавесы, поблескивало золото икон, и девушка молилась всё горячее, всё неистовее, с просветленным, счастливым лицом. А Юрий Дмитриевич стоял поблекший и потухший, и то, что случилось с ним на ступенях, вызывало теперь лишь злобную иронию и стыд. Но вдруг произошел эпизод крайне неожиданный, о котором позднее многие говорили и слухи о котором до сего времени ходят в тех местах, приобретаая всевозможные фантастические оттенки.

В то самое мгновение, когда на хорах запели, в глубине собора, там, где в полумраке мерцали иконы, возник неясно силуэт обнаженного тела. Силуэт медленно поплыл вдоль стены, правая рука его была поднята, словно он благословлял всех. Страшная тягостная тишина воцарилась в соборе; слышно было лишь, как трещали свечи да кто-то тяжело, со всхлипом, дышал. Напряженная тишина длилась минуты две, а потом гривастый молодой человек в облачении, стоявший рядом со старичком, читавшим проповедь, завопил:

— Кондратий! Кондратий, хватай его... В милицию, в милицию звонить...

Кондратий — плечистый молодец в монашеской рясе — кинулся к силуэту, который начал плавно скользить в сторону. Завопила какая-то старуха, что-то с хрустом упало, начались толчея и шум.

— Кондратий! — кричал гривастый. — Справа заходи, в нише он.

— Товарищ монах, — кричал гражданин в тенниске, — вон он... Вон выпрыгнул...

Кондратий метнулся, поднял пудовый кулак, но девушка в ситцевой кофточке вдруг кинулась между обнаженным телом и Кондратием и приняла на себя удар, предназначенный голому. Она упала, но сразу же вскочила и вцепилась Кондратию в рясу у горла. Юрий Дмитриевич начал торопливо протискиваться к ней. Лицо ее было залито кровью, бровь рассечена, и глаз заплывал, наливался синевой. Кондратий тщетно пытался оторвать ее пальцы от своего ворота, пытел, потом, злобно крикнув, замахнулся локтем, но Юрий Дмитриевич оттолкнул его и принял девушку к себе на грудь. Пальцы ее обмякли и разжались, а голова в сбившемся платочке завалилась. Стекланные бусы сползли с порванной нитки и тихо цокали о каменный пол. Кондратий сердито засопел и побежал в другой конец собора, где теперь мелькал обнаженный силуэт. В храм, неловко озираясь, со смущенными лицами вошли два милиционера. Один из милиционеров, помявшись, даже снял фуражку. Вместе с Кондратием они скрылись в соборном полумраке и вскоре показались вновь, ведя голого мужчину. Они вели его, растянув ему руки в стороны, захватив милицейским приемом, один милиционер держал его за левую руку, а второй за правую, и издали это было очень похоже на распятие Христа. Юрий Дмитриевич чувствовал, что девушка на груди у него дрожит, словно в лихорадке, лицо ее побледнело, а висок, которым она прижималась к подбородку Юрия Дмитриевича, был холоден и влажен. Когда милиционеры вывели задержанного на свет, он оказался парнем лет восемнадцати, коротко стриженным, хорошо загорелым

и в шерстяных белых плавках. Он криво, нетрезво усмехался. Его провели совсем рядом, и Юрий Дмитриевич, увидав наглые, веселые глаза, почему-то испытал испуг и одновременно чувство гадливости, которое испытываешь при виде крокодила или стаи крыс. Из-за икон показался Кондратий, брезгливо, на вытянутой руке неся найденный им трикотажный спортивный костюм.

— Это атеисты, богохульники, нарочно подстроили, — сказал Сидорыч, тот самый лысый, который сделал ранее Юрию Дмитриевичу замечание за неснятую тубетейку, — это они чтоб над чувствами верующих посмеяться. Нет, верно сказано: с врагами надо бороться сперва крестом, потом кулаком, потом и дубиной.

Сидорыч ходил со списком, выискивал свидетелей. Подошел он и к Юрию Дмитриевичу как непосредственно замешанному в стычке, и Юрий Дмитриевич как-то машинально сказал фамилию и место работы. Потом Юрий Дмитриевич пошел к выходу, держа девушку за плечи и прижимая к ее рассеченной брови свой носовой платок. Девушка покорно шла с ним рядом, она была в полуобморочном оцепенении. Они пересекли двор, и Юрий Дмитриевич усадил девушку на гранитный парапет забора ограждения, там, где нависающие ветки деревьев кидали тень. Бровь была рассечена неглубоко, но синяк наливался всё сильнее, приобретая фиолетовый с желтизной оттенок.

— Надо бы холодную примочку со свинцовой водой, — сказал Юрий Дмитриевич. — Тут, кажется, недалеко аптека.

— Холодно, — шепотом сказала девушка.

Она так дрожала, что каблук ее босоножек постукивали. Юрий Дмитриевич пересадил ее из тени на

солнце, но и сидя на раскаленном граните, она продолжала дрожать.

— Они опять убили его, — сказала девушка.

— Тише, — сказал Юрий Дмитриевич, — вам нужен покой, вам нужно лечь... Где вы живете?

— Вот здесь колет, — сказала девушка. Она взяла руку Юрия Дмитриевича и положила ее себе на грудь у левого соска. Грудь у нее была упругая, девичья, и Юрий Дмитриевич невольно отдернул пальцы.

— Это сердечный невроз, — сказал Юрий Дмитриевич. — Вы не волнуйтесь, это просто нервы... Вы не ощущаете боли в руке или лопатке?

— У меня ладони болят, — сказала лихорадочным шепотом девушка, — и ступни... Где ему гвоздями протыкали... — Девушка замолчала и вдруг неожиданно слабо, но счастливо улыбнулась. — Любовь, любовь, — повторяла она. — Как жаль, что я никогда не увижу свое сердце... Я хотела б его расцеловать за то, что оно так наполнено любовью ко Христу.

Пальцы у девушки были холодные, пульс учащен.

“Надо бы вызвать «скорую помощь»”, — подумал Юрий Дмитриевич. Он оглянулся, ища глазами кого-либо из прохожих, чтоб попросить позвонить, и увидел, что к ним торопливо приближается какой-то странный старик. У него были лохматые седые брови, длинные седые волосы и седая длинная борода. На голове — старая фетровая шляпа, глубоко натянутая. Издали Юрию Дмитриевичу показалось, что он в рясе, но это оказался просто старый потертый плащ, который старик носил несмотря на жару. Ноги старика были обуты в спортивные тапочки, а на шее, рядом с крестом, — небольшой овальный портрет Льва Толстого.

— Зиночка, — закричал старик, увидав ссадины на лице у девушки, — я говорил, говорил, не ходи...

— Папа Исай, — сказала Зина, обняла старика, поцеловала его и заплакала, — они опять распяли его...

— Не распнут, — сказал папа Исай, — а распнут, он снова трижды воскреснет... Я на скамеечке, на скамеечке тебя ждал... Вы тоже в христианство церкви верите? — обратился он к Юрию Дмитриевичу.

— Не знаю, — сказал Юрий Дмитриевич, — не пойму я вас...

— Есть христианство Христа и христианство церкви... Читали Льва Толстого “Разрушение и восстановление ада”? Христос ад разрушил, а церковь ад восстановила.

— Я думал об этом, — сказал Юрий Дмитриевич. — То есть о Христе и о религии вообще... Впрочем, пока надо бы вызвать “скорую помощь”... Или, знаете, лучше я возьму такси... Поедем ко мне... Тут недалеко... Ей надо сделать перевязку... И покой... Полежать... Вы постоите около нее, я сейчас...

Юрий Дмитриевич вышел на середину мостовой и остановил такси. Вместе с папой Исаем они усадили Зину на заднее сиденье.

— Где это ее обработали? — спросил шофер.

— Упала, — ответил Юрий Дмитриевич и назвал адрес.



Когда они вышли из такси у подъезда, многие прохожие и жильцы дома останавливались и смотрели на них. И действительно, выглядели они довольно необычно. Юрий Дмитриевич был высокий, сидящий блондин с хоть и несколько похудевшим, усталым, но все-таки по-прежнему холеным лицом, в массивных в черепаховой оправе очках, в кремового цвета костюме шелкового полотна и в импортных дорогих сандалетах. Об руку он держал бедно одетую девушку с крестиком на шее, к тому ж с лицом в кровоподтеках, а с другой стороны девушку поддерживал какой-то полусумасшедший старик. Дело усугублялось тем, что в глубине души Юрий Дмитриевич стыдился своих спутников, то есть стыдился помимо своей воли, и это заставляло его еще более напрягаться, так что выскочившей из подворотни с лаем собаке он даже обрадовался, шагнул ей навстречу с таким остервенением, что громадная овчарка вдруг поджала хвост и метнулась в сторону. Юрий Дмитриевич надеялся, что Григория Алексеевича нет, но он был дома и встретил их в передней с удивлением, но сравнительно спокойно. Очевидно, он уже увидал их из окна, и первое впечатление было позади.

— Вот, Григорий, — сказал Юрий Дмитриевич. — С девушкой неприятность... Впрочем, если ты возражаешь, мы поедем в поликлинику...

— Оставь, — сказал Григорий Алексеевич. — Аптечка на кухне, ты ведь знаешь...

Юрий Дмитриевич повел Зину на кухню, усадил на стул, снял пиджак, засучил рукава, быстро и ловко обработал кровоподтеки, наложил пластыри, а к синяку — свинцовую примочку.

Зина сидела устало и безразлично; если ранее лицо ее было бледно, то теперь оно покраснело и обильно покрылось каплями пота. Юрий Дмитриевич вытер ей пот куском марли, затем провел в свою комнату и уложил на тахту, подсунув под голову подушку. Папа Исай по-прежнему стоял в передней, не раздеваясь, а против него так же молча стоял Григорий Алексеевич.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал папа Исай. — Я внизу на скамеечке посижу, Зиночку подожду...

— Нет, нет, — сказал Юрий Дмитриевич. — Мы ведь с вами не договорили... Вернее, только начали... Я сейчас говорить хочу... Я думать хочу... Снимите плащ...

Он помог папе Исаю снять плащ. Под плащом была вельветовая толстовка.

— Вы и куртку снимите, ведь жарко, — суетился Юрий Дмитриевич, становясь всё более оживленным.

Папа Исай снял и куртку. Под курткой у него была свежая белая рубаха-косоворотка. Портрет Толстого висел на чистенькой муаровой ленточке.

— Я чай поставлю, — сказал Григорий Алексеевич.

— Так о чем, о чем это вы? — сказал Юрий Дмитриевич, когда папа Исай уселся за стол. — Христианство Христа и христианство церкви...

— Не церковь, а вера свела евангельское учение с неба на землю, — сказал папа Исай. — Сделала его применимым на земле.

— А вот это интересно, — подхватил Юрий Дмитриевич, подталкиваемый вовсе не словами папы Исаи, а своими мыслями. — Христианство из религии превратилось в форму правления... Материализация идеала... Да, Григорий, ты вот смотришь удивленно, но мы с тобой почти всю жизнь прожили в эпоху, когда раздумья сменялись ясными лозунгами... Я не о лживых лозунгах говорю... Я о тех говорю, в которых истина... Не убий... Не укради... Человек человеку друг... Идеалы, вместо того чтобы парить в воздухе, твердо становились на землю, удовлетворяли сегодняшним потребностям... Допускаю, в этом была жестокая необходимость... Но это таило в себе величайшую опасность, ибо нарушало природу мышления... Я к чему это, — смешался он вдруг, приложив ладони к вискам, — ах, я об идеале начал говорить, о том идеале, который в лозунг заключен был и на землю опущен... Смысл и величие всякой мысли — в итоге, в идеале, и истина всегда проста... Верно, согласен... Смысл и величие всякой горы — в ее вершине, но попробуй сруби с Эвереста вершину и поставь эту вершину в поле... Получится жалкий бугорок... Идеал потому и называется идеалом, что он никогда не может быть достигнут, как кусок мяса или женщина... Материализуясь, он исчезает...

Юрий Дмитриевич обошел вокруг стола. Он чувствовал необычный прилив сил, в глазах был лихорадочный блеск, а лицу было жарко. Папа Исаи прихлебывал из блюдечка принесенный Григорием Алексеевичем чай.

— Земля — земля и есть, — сказал он. — Со всячинкой, с требухой... Ты спаси вон этакую, а не ту воображаемую кисельную планету, каковой просто нет... Ради этого Иисус на землю сошел...

— А вот тут-то вы и запутались, — как-то радостно, по-детски выкрикнул Юрий Дмитриевич. — Это важ-

ный момент... Это очень важный момент... Я хочу с Иисусом спорить... А чтоб поспорить, я должен его признать, хотя бы временно... Я о главном, о главной мысли спорить хочу... Возлюби врага своего... Непротивление злу насилием... На зло добром ответить... Согласен... Но только на зло утробное, еще не рожденное... Вот какое зло добра требует... Помните, у Достоевского мысль о том, что спасение всего мира не нужно, если оно куплено ценой гибели одного ребенка... В этой мысли — высшее проявление человеческого гуманизма... Идеал, без которого жить нельзя... Именно идеал, который, материализуясь, исчезает либо даже в свою противоположность превращается... Итак, я повторить хочу: главное, в чем я не согласен с Иисусом, это в трактовке им лозунга “непротивление злу насилием” не как философского понятия, а как руководства к действию... “Возлюби врага своего” не сегодняшний лозунг, а идеал, к которому следует стремиться... Когда и врагов-то не будет... Когда человек человеку друг...

Юрий Дмитриевич замолчал. Он был так возбужден, что, едва усевшись на стул, сразу же вскочил, начал расстегивать ворот рубашки.

— То, что ты говорил, интересно, хоть и спорно, — сказал Григорий Алексеевич, — но ты успокойся, выпей чаю... Ты не спишь ночами, я слышу, как ты ходишь, когда просыпаюсь... Тебе надо бы отдохнуть... Ты обрушился здесь на лозунги, но лозунг есть мысль, оформившаяся в догму... Мысль же всякого человека конечна, имеет рождение и смерть, то есть догму, как всякое живое существо. Не оканчиваются догмой лишь мысли бесплодных мечтателей. Всякий прогресс есть движение от одной догмы к другой... Впрочем, давай пить чай...

Папа Исая между тем вздремнул, разморенный чаем и жарой. Он опустил голову на грудь, и портрет

Толстого легонько постукивал о край стола. Юрий Дмитриевич подвинул к себе стакан чаю и зачерпнул варенья из вазочки, однако сразу же вскочил и, уронив варенье на скатерть, торопливо пошел в свою комнату. Зина не спала, сидела, по-детски подобрав под себя ступни, и смотрела на стену. Лицо ее несколько порозовело.

— Мне домой пора, — сказала Зина, — я неловко себя чувствую перед вами... Вы такой занятый человек... Вы на профессора похожи...

— Нет, я не профессор, — сказал Юрий Дмитриевич, — я врач, доктор... Я обязан был вам помочь...

— Вы верующий? — спросила Зина.

И вдруг Юрий Дмитриевич понял, что сейчас, стоя перед этой наивной девушкой в дешевенькой кофточке, он должен уяснить для себя какие-то очень важные понятия. Причем наивность этой девушки не давала ему возможности воспользоваться своим опытом, ответить что-либо, солгать или легко сказать одну из кажущихся правд, не порывшись в своем нутре.

— Я верить хочу, — сказал он после нескольких минут молчания, — но Бога ведь нет, девчушка... Нет, дорогая ты моя... Потому что веками человек так жаждал его, так мечтал о нем, как можно жаждать и мечтать лишь о том, что никогда не существовало и существовать не может...

Он сказал это с такой страстью, с такой болью, что девушка посмотрела ему в лицо и вдруг поняла его и поверила ему.

— Нету, — сказала она как-то жалобно, по-птичьи вытянув шею, — и не может... Никогда не будет. — Слезы лились у нее из глаз, пока она раздумывала, но это не были слезы протеста и вообще не был плач; больше не из-за чего было протестовать и не из-за чего плакать.

— Я пошутил, — испуганно сказал Юрий Дмитриевич, — я верующий... Я в церковь хожу...

Он приблизился к девушке, прикоснулся к ее волосам, и в этот момент она словно пришла в себя от шока, оттолкнула Юрия Дмитриевича, вскочила с искаженным ужасом лицом и ударила Юрия Дмитриевича кулачком в плечо, довольно больно по мускулу. Второй рукой она сбила его очки. Юрий Дмитриевич начал прикрывать лицо руками, невольно присел, сморщился, зацепив столик с вазой. Ваза грохнула, осколки заскользили по полу.

Григорий Алексеевич вбежал в комнату и несколько секунд оторопело стоял на пороге. Потом он кинулся к девушке, схватил ее за плечи и оттолкнул.

— Что? — крикнул он удивленно и испуганно. — Что здесь происходит... Что?..

— Это я виноват, — морщась, потирая ушибленное плечо и шаря на полу очки, сказал Юрий Дмитриевич, — я совершил безобразный поступок...

В комнату как-то бочком втиснулся заспанный старичок. Он сладко позевывал и крестил рот.

— Папа Исай, — с плачем сказала Зина и обняла его, — папа Исай, идемте отсюда... Быстрее идемте... Бежим быстрее...

— Да, вам пора, — торопливо говорил Григорий Алексеевич. — Юрий, я на пару слов... Пойдем, пойдем на кухню...

Он взял Юрия Дмитриевича за плечи и повел на кухню.

— Юрий, — сказал Григорий Алексеевич, — звонила Нина...

— Да, — сказал Юрий Дмитриевич, — и что же...

— Она хочет видеть тебя...

— Хорошо, — сказал Юрий Дмитриевич, — как-нибудь позже... Позже увидит... сейчас я спешу... Надо проводить...

— Они уже ушли, — сказал Григорий Алексеевич, — зачем тебе эти юродивые... Это не просто верующая, это фанатичка... Тебе не кажется, что всё это может иметь неприятный резонанс?.. Ты человек, уважаемый в обществе... Печатаешь статьи в медицинских журналах...

— Ах, оставь, — сказал Юрий Дмитриевич, с беспокойством поглядывая через плечо Григория Алексеевича на дверь. — При чем тут медицинский журнал?.. Ты ведь видишь, я спешу, я занят... у меня гости...

— Юрий, — сказал Григорий Алексеевич, — ты болен... И я обязан... как твой друг... как человек, который любит тебя... и Нину... Я не пушу тебя... и немедленно звоню Буху...

— Я не позволю себя опекать, — крикнул Юрий Дмитриевич так громко, что в груди у него заболело, — я перееду в гостиницу...

— Я не пушу тебя, — сказал Григорий Алексеевич, — хочешь драться со мной... устроить коммунальный скандал...

— Гриша, — сказал Юрий Дмитриевич неожиданно тихо, — пойми, мне надо... пойми... Я спать не буду... Я перед этой девушкой подлость совершил... Может, я и нездоров... Я сам пойду к Буху... Вот закончу дела — и на юг... Отдохнуть надо... Хочешь — вместе поедем...

— Ладно, — сказал Григорий Алексеевич, — что с тобой делать... Только умойся... Посмотри, какой дикий вид у тебя...

— Некогда, — сказал Юрий Дмитриевич. — Они уйдут... Исчезнут...

Он торопливо пригладил волосы, выскочил на лестничную площадку и не стал ждать лифта, бегом пустился вниз. Он пробежал три лестничных пролета и на площадке второго этажа столкнулся с Зиной, едва не сбив ее с ног.

— Простите, — оторопело и обрадованно сказал он, — я вас искал... Как хорошо, что я не поехал лифтом... Какая удача...

Зина посмотрела на него и вдруг наклонилась, прижалась губами к его руке, а затем опустила и поцеловала его ноги, обе пыльные сандалеты...

— Что вы делаете! — растерянно крикнул Юрий Дмитриевич. — Ради бога, встаньте, ради бога...

Сверху загоготали. Этажом выше свешивались через перила две расплывшиеся физиономии. Юрий Дмитриевич так и не понял, мужские ли, женские ли.

— Эй вы, низкопоклонники, — за руб оближите мне босоножки!

А вторая запела:

— Что случилось, что случилось, кто-то чей-то выбил зуб...

— Вы мерзавцы! — крикнул Юрий Дмитриевич.

— Он ругается, — сказала одна физиономия, — он морщится... По-моему, у него начались желудочные беспорядки...

— Не видишь, он вооруженный ненормальный, — сказала вторая физиономия, — он сейчас петушком закричит, он сейчас гармошкой заплачет...

— Более всего страшись отмщения злодейству людскому, — тихо сказала Зина. — Я виновата перед вами, и перед этими людьми, и перед всеми... Я усомнилась в Господе... Помрачение нашло... Я вам боль причинила и искупить хочу... Я служить вам буду... Я ноги вам мыть буду и пить воду ту...

— Что вы, — сказал Юрий Дмитриевич, — это я перед вами... Вы простите... Пойдемте вниз, я вас домой отвезу.

У подъезда их ждал папа Исай.

— Ну вот, — сказал папа Исай, — вижу я, лица у вас покойные теперь... Красивые у вас теперь лица...

— Я Зину домой отвезу, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Хорошо, — сказал папа Исай. — А я на электричку пойду. В лес поеду. На травке полежу, птичек послушаю...

Он снял шляпу, поклонился им, пошел вдоль стены и свернул за угол.

— Вам куда? — спросил Юрий Дмитриевич.

— Мне далеко, — сказала Зина, — на самый край города... Вам беспокойство одно... Лучше уж я к вам приду... Если пол помыть надо или постирать...

— Нет, нет, — сказал Юрий Дмитриевич, — я отдаю в прачечную. А насчет беспокойства не волнуйтесь... Мне это приятно...

Они взяли такси и поехали. Ехали они долго и всё время молчали. Лишь изредка Зина объясняла шоферу дорогу. Наконец они приехали. Это был уже загород. Невдалеке на бугре виднелись остатки какой-то деревеньки с погостом и церквушкой. Окружавшие ее ранее поля ныне были перекопаны траншеями и котлованами, среди которых уже высилось несколько пятиэтажных стандартных коробок. Поля же отступили за речку, болотистый приток большой реки, текущей через город. Слева были полуобвалившиеся стены монастыря, покрытые мхом, а также росшими прямо меж кирпичей и из бойниц веточками. В одной из башен была керосиновая лавка, стояли железные бочки.

— Я здесь живу, — сказала Зина. — Раньше я вон там, в деревеньке жила, но нас снесли и переселили в монастырь.

Они обошли вокруг и вышли к массивным, обитым ржавым железом воротам. Неподалеку среди бурьяна валялся ржавый ствол старинной пушки. В воротах была проделана небольшая калитка из свежеструганых досок, а к калитке кнопками приколоты

бумажка, на которой коряво печатными буквами значилось: “Просьба форткой не хлопать, полегше стучать”.

Они протиснулись в калитку на тугой пружине, прошли под гулко отражающей шага аркой и вышли в булыжный, поросший травой двор. Посреди двора стояла полуразрушенная серого цвета церковь со следами пожара, прошедшего давно, очевидно, еще в войну. Стрельчатые окна церкви были пусты, и из них тоже росли веточки. Застекленными были лишь подвалы, где сейчас располагались склады горторга, стояли ящики с бутылками. Ящики, мотки проволоки, бочки стояли и во дворе, под громадными, в три обхвата, дубами. Дубы были так стары, что кора на них во многих местах опушилась и на стволе образовались лысины. Под навесом у стены, на которой еще сохранилась какая-то закопченная фреска, устроили свой склад строители: стояли унитазы, газовые плиты и лежали бумажные мешки с цементом. Поодаль, в глубине двора, было белое оштукатуренное здание в два этажа, очевидно, построенное уже позднее. У входа, задрав стволы, стояли две старинные пушки на деревянных лафетах.

— Там раньше музей был, — сказала Зина, — а теперь комбинат инвалидов. Я там надомницей работаю, кофточки вяжу. У нас собрание, должно быть, будут ругать за то, что план не выполняем... Я узнать должна — или сегодня вечером, или завтра... А сейчас в цехе глухонемых собрание...

В это время возник какой-то шум, и из дверей здания появился всклокоченный человек в разорванной майке. Его вел, скрутив ему единственную руку за спину, приземистый мужчина в темных очках, полувоенном френче и синих брюках.

— Перегудов шумит, — сказала Зина, — каждый день напьется и драться приходит то за расценку, то за вычет по прогулу... Если б он не инвалид, его б давно поса-

дили... Он и жену бьет... А тот, в очках, — Аким Борисыч, член правления... Он мне комнату отдельную выхлопотал, но я его боюсь, — сказала она и вдруг доверчиво прижалась к Юрию Дмитриевичу. У нее было теперь обычное девичье лицо, немного испуганное и беспомощное, глаза голубые, кожа на щеках нежная, с легким пушком, и Юрию Дмитриевичу стало приятно чувствовать своим телом сквозь одежду теплое ее тело.

Следом за Перегудовым и Аким Борисычем высыпало несколько человек, судя по жестам, глухонемых. Они оживленно размахивали руками и улыбались. Вдруг Перегудов рванулся, выскользнул и, подхватив валяющуюся палку, кинулся на Аким Борисыча. Аким Борисыч не стал уклоняться и суетиться, а, наоборот, застыл, приподняв голову, вытянув вперед руки и расставив пальцы, как гипнотизер, слегка поворачиваясь корпусом, словно обнюхивая пальцами воздух, затем сделал молниеносное движение, выловил руку Перегудова с палкой из воздуха, зажал ее, и Перегудов беспомощно зашевелил обрубком второй руки, будто ставником, а Аким Борисыч начал хлестать его по лицу своей рукой, и от хорошо развитых чувственных пальцев Аким Борисыча оставались на шее и щеках Перегудова полосы.

Юрий Дмитриевич кинулся к ним и тут же ощутил на щеке своей удар, причинивший сильную боль, но еще более испугавший, ибо это был удар не человеческой руки, а какого-то тупого лапта.

— Это не он, — крикнула Зина, — это не Перегудов... Перегудов убежал...

Перегудов действительно, воспользовавшись суматохой, вырвался и побежал к воротам.

— Чего вы вмешиваетесь, гражданин, — сердито сказал Аким Борисыч. — Я этого хулигана хотел постовому сдать. Хватит прощать. Он в бухгалтерии чернильницу перекинул, пишущую машинку разбил.

Аким Борисыч сердито сплюнул и пошел к дверям кабинета. Глухонемые тоже ушли.

— Глупый сегодня день, — сказал Юрий Дмитриевич, — драки. Бьют нас с вами, Зина.

— Ничего, — сказала Зина. — Это, может быть, к лучшему. Это, может, Господь из нас грехи выбивает.

— Он слепой? — спросил Юрий Дмитриевич, держась за ноющую щеку.

— Он слепорожденный, — сказала Зина. — Какой он инвалид, если с малых лет привыкший... Я сейчас, я только насчет собрания узнаю. — И она пошла к белому зданию.

Юрий Дмитриевич постоял немного во дворе, огляделся, где бы присесть в тени, а затем тоже пошел к белому зданию. От самой двери тянулся длинный коридор, в котором пахло разваренной картошкой. Очевидно, где-то за одной из боковых дверей была столовая или буфет. Юрий Дмитриевич невольно сглотнул слюну и вспомнил, что с утра ничего не ел. Он пошел на запах, но затем остановился, ибо подумал, что может разминуться с Зиной. Он стоял перед дверью, которая была полуоткрытой, очевидно, чтобы проветрить довольно большую комнату, чуть ли не зал, где шло собрание. На скамейках тесно сидело множество мужчин и женщин, а перед ними был стол, за которым сидели несколько человек, наверное, президиум, и стояла трибуна. На стене висел длинный транспарант, на котором аршинными буквами значилось: "Глухонемые в СССР пользуются всеми гражданскими и политическими правами наравне со слышащими". К двери было приколото художественно выполненное завитушками объявление о собрании. Первый пункт был: производственные вопросы. Второй пункт: персональное дело столяра Шмигельского. По всей вероятности, сейчас разбирался пункт второй, а стоящий у трибуны человек и был сто-

ляр Шмигельский. Он покаянно прикладывал ладони к сердцу, клятвенно стучал себя кулаком в грудь и часто прикасался пальцем то к концу своего носа, то к мочке уха. Присмотревшись повнимательнее, Юрий Дмитриевич предположил, что прикосновение к носу означает имя горбоносого седого старичка, сидевшего в президиуме. А прикосновение к мочке уха — имя председателя, тщетно пытавшегося установить порядок, ибо глухонемые на скамьях сердито жестикулировали все вместе, и, как это ни странно, или это Юрию Дмитриевичу показалось, гул висел в зале, как от множества голосов. В это время подошла Зина. От нее и узнал в подробностях Юрий Дмитриевич историю проступка Шмигельского. Если слышащий Перегудов был старый отъявленный хулиган, то глухонемой Шмигельский до этого вел себя тихо и примерно, и поступок его был для всех неожиданным. Правда, имелись обстоятельства, которые не то что оправдывали, но объясняли этот проступок. Столяр Шмигельский совершил три невыхода на работу из-за болезни жены, бюллетень вовремя не представил, и бухгалтерия не оплатила ему деньги, как за прогулы. Столяр Шмигельский пришел в бухгалтерию объясняться. Счетовод расчетного отдела Хаим Матвейч, тот самый горбоносый старичок, не был глухонемым, но довольно хорошо усвоил их речь, умел с ними разговаривать жестами, и глухонемые его любили и уважали. Однако в этот раз Шмигельский слишком горячился, размахивал в беспорядке руками, и Хаим Матвейч за пятнадцать лет работы с глухонемыми впервые не мог ничего понять, что в свою очередь начало его раздражать. Между Шмигельским и Хаимом Матвейчем возникла некая беспорядочная перепалка, в результате которой, находясь в сильном возбуждении, Шмигельский захватил пальцами свой нос и начал раскачивать его из стороны в сторону. Поскольку среди

местных глухонемых этот жест носил антисемитский характер и при этом присутствовал подошедший председатель профкома, делу был дан законный ход. Такова была предыстория бурного собрания, очевидно, приближавшегося к концу, так как после нескольких жестов председателя глухонемые единогласно проголосовали поднятием руки, а раскаявшийся Шмигельский долго обнимал Хаима Матвеича. Хаим Матвеич согнул свою правую руку в локте, большой и указательный пальцы соединил концами, образовав колечко, а тремя другими пальцами быстро пошевелил. Это вызвало аплодисменты и ликование среди глухонемых. Собрание кончилось. Гремя скамьями, глухонемые вставали и выходили, продолжая обмениваться впечатлениями. Юрий Дмитриевич и Зина тоже вышли на улицу.

— Пойдемте ко мне, — сказала Зина. — Вы, наверно, голодны... Я вас покормлю...

Зина жила в одноэтажном, с толстыми стенами строении. Комната ее была небольшой кельей с овальным, забранным решеткой окном. Стены были оклеены обоями, сквозь которые проступали сырые пятна. В комнате было довольно чисто и уютно. Стоял диван старого образца, но не потрепанный, со свежей клеенкой. На полках, вмонтированных в верхнюю часть спинки дивана, располагались всякие безделушки: целлулоидные уточки, фарфоровые слоники, две одинаковые фарфоровые узбечки в тюбетейках и шароварах, сидящих поджав ноги. Причем одна узбечка была цветная, а вторая некрашеная — очевидно, брак или второй сорт. В углу, под иконой, лежали на специальной подставке мотки шерсти, спицы и кофточка с недовязанным рукавом. На стене висела репродукция картины "Явление Христа народу". Стол был импортный, финский, полированный, белый с черной полосой по краям. В противоположном от икон углу, за ширмой, рас-

полагалось некое подобие кухни. Там стоял кухонный столик, прикрытое дощечкой эмалированное ведро с водой, висели на вбитых в стены гвоздях кастрюли.

Юрий Дмитриевич уселся на диван, вытянув ноги, похрустывая суставами, и с наслаждением вдохнул запах жареного лука из-за ширмы, где Зина возилась с керогазом.

В дверь постучали два раза, потом через промежуток еще три раза. Зина торопливо пошла к дверям, вытирая о передник мокрые руки. Юрия Дмитриевича поразила происшедшая с ее лицом перемена. Оно было испуганным, растерянным, и маленькие уши стали пунцовыми. На пороге стоял Аким Борисыч, свежестриженный, надушенный, с букетиком цветов.

— Заходите, Аким Борисыч, ужинать будем, — съелась Зина. Аким Борисыч сунул ей букетик прямо в лицо и потрепал ладонью по щеке; правда, первоначально он чуть-чуть ошибся и пальцы его скользнули по затылку, потом быстро нащупали щеку. Аким Борисыч улыбнулся, но сразу же улыбка погасла, он тревожно, неестественно твердо и четко для живого человека выпрямился, как тогда перед Перегудовым, и черные очки его, словно окуляры какого-то кибернетического механизма, начали ощупывать комнату, пока не застыли на Юрии Дмитриевиче. Юрий Дмитриевич почувствовал, как по спине пополз от пояницы к лопаткам легкий ночной холодок.

— Это Юрий Дмитриевич, — торопливо сказала Зина, — мой знакомый...

Лицо Аким Борисыча, словно повинувшись новому сигналу изнутри, мгновенно утратило механическую твердость, расплылось в улыбку.

— Я вас нечаянно ударил, вы простите, — сказал он и, шагнув точно по направлению к Юрию Дмитриевичу, протянул руку.

Юрий Дмитриевич растерянно посмотрел на свою ладонь, а затем с отчаянием выбросил ее вперед, точно просовывал ее в шкив машины. Пожатие Аким Борисыча было мягким, эластичным, слишком мягким и нежным для живого человека — просто машина работала в другом режиме, и это еще более испугало Юрия Дмитриевича.

— Вы тоже религиозный? — спросил Аким Борисыч.

— Я, собственно, врач, доктор...

— Понятно, понятно, — сказал Аким Борисыч. — Это хорошо, что у Зины появляются такие знакомые... А то ее окружают какие-то церковники... Надо бы вырвать ее из религиозных пут...

— Аким Борисыч, — сказала Зина. — Я ведь план выполняю... Вера моя работе не мешает.

— Да я не о работе, — сказал Аким Борисыч. — Религия тебе жить мешает. Тебе надо встретить хорошего человека, семью иметь... Я ей комнатенку выхлопотал, хоть промкомбинат и недавно организовали... Глухонемых, слепых и прочих инвалидов соединили вместе. Правильное мероприятие... Управленческий аппарат сокращает...

Он присел к столу, вынул из плетеной корзиночки, которую держал, бутылку водки и банку маринованных помидоров. Зина поставила большое блюдо со свежими нарезанными огурцами и луком, политыми подсолнечным маслом, блюдо вареной молодой картошки, пересыпанной шипящими шкварками, и нарезанное толстыми ломтями светло-коричневое копченое сало. Они выпили по первой за Зину. Юрий Дмитриевич закусывал всем вперемешку: пожевал кусочек сала, пару ломтиков огурцов, две картофелины. Он быстро охмелел, а после второй рюмки уже запросто подвинулся к Акиму Борисычу и спросил:

— Вы слепорожденный?

— Да, — сказал Аким Борисыч, движения которого потеряли четкость. — Я часто думал про вас, — он презрительно усмехнулся, — про зрячих... Несчастные вы... Я ваши книги читаю... Специального чтеца нанимаю... Все несчастья ваши оттого, что вы видите... Глаза — это орган порабощения человека внешним пространством... Вот, например, такое понятие — красота... Недоступна она вам... Вы ей принадлежите, а не вам она... Красоту взять только на ощупь можно...

— А зачем ее брать, слепорожденный, — сказал Юрий Дмитриевич, начавший испытывать почему-то сильное сердцебиение, как при оскорблении национальной чести, — может, потому она и красота, что недоступна... И как только доступна станет, — испарится... Вы когда-нибудь видали... Вернее, вы когда-нибудь представляли себе звезды... Не в январе, когда они маленькие и неприятные, а в августе, когда они густо висят? — Он понимал, что задавать подобный вопрос жестоко, и все-таки задал его, потому что слепорожденный его сильно раздражал. Однако слепорожденный в ответ только весело рассмеялся.

— Я знаю из учебника астрономии, — сказал он, — звезды — это тоже жара или холод... Внешний вид — обман... Реальность — это прикосновение... Иногда я вижу сны, и мне снятся только прикосновения... Мне снятся твердое или мягкое, жаркое или холодное, мокрое или сухое...

— А форма, — спросил Юрий Дмитриевич, испытывавший уже совсем новое чувство, вернее, предчувствие чего-то неизведанного, хоть и находящегося рядом, — вы ведь ощущаете линию плоскости...

— Вы пугаете меня с ослепшим, — сказал Аким Борисыч. — Это совершенно жалкие люди... Хуже зрячих... Они тоскуют по своему рабству... Меня воспитала мать, которая тоже была слепорожденной...

А отец мой был ослепший... Это был жалкий человек... Просыпаясь утром, он ругался и плакал... Он кричал, что ненавидит темноту, а напившись пьяным, путал меня вечной темнотой... Глупец... Единственное, что я не могу себе представить даже приблизительно, это темноту... Форму же я представляю себе, линию, выпуклость, но всегда она должна быть либо теплой, либо острой, либо мокрой... Однажды я тяжело заболел и представил в бреду три линии, пересекающиеся между собой концами, и эти линии лишены были ощущений... Мне показалось, что они с трех сторон сдавили мне голову... И мне показалось, что я либо умер, либо разом понял нечто великое...

— Это треугольник, геометрическая фигура... — сказал Юрий Дмитриевич. — Вы увидели его в бреду, как зрячий... — И вдруг он подумал, что перед ним сидит не человек, а какое-то другое мыслящее существо, просто приспособившееся к жизни среди людей и перенявшее их привычки. Минуту-две Юрий Дмитриевич смотрел на Аким Борисыча с напряженным вниманием, пока тот не протянул руку и не зачерпнул салат, правда, неловко, рассыпав по скатерти, — он был в некотором волнении.

— Со мной тоже такое бывало, — тихо сказал Юрий Дмитриевич, — сегодня утром на ступенях... Знаете эту крутую улицу, которая упирается прямо в небо... Тротуар там сделан асфальтовыми ступенями... А сверху гремит соборный колокол...

Аким Борисыч зачерпнул новую порцию салата, уже потверже, — видно, он справился со своим волнением, а рассказ Юрия Дмитриевича об асфальтовых ступенях не тронул его.

— Тут в деревне в церквушку один слепой ходит, — сказала молчавшая до этого Зина, — святой человек... Истоцил себя, молитвой да хлебом живет...

Ступени

— Это ослепший, — сердито сказал Аким Борисыч, — я уверен, это ослепший, а не слепорожденный... Слепорожденный весь внутри себя живет... На что ему Бог... Бога зрячие выдумали, чтоб оправдать порабощение свое... Пройдут тысячелетия или миллионы лет, и человек слепым рождаться будет...

— Возможно, — сказал Юрий Дмитриевич, — только глазницы останутся, как копчиковые позвонки от хвоста. Но это будет не человек, а какое-то другое мыслящее существо... Целиком погруженное не во внешний мир, а в свой мозг... И каждому ребенку среди этих существ будут понятны такие глубины, какие недоступны и Эйнштейну. Но внешний вид треугольника они увидят мозгом в результате тысячелетних усилий лучших умов, и, может быть, это и будет пределом развития их цивилизации... Ибо они будут двигаться в противоположном от человеческой цивилизации направлении... От познания к разглядыванию... И, может быть, это и есть антимир и античеловек...

Кончив говорить, Юрий Дмитриевич вдруг с удивлением заметил, что не сидит, а лежит, упираясь лбом в острый край стола, и на лбу у него образовался щемящий пролежень. Аким Борисыч же не слушает его, он давно рассеялся и шепчется с Зиной.

— Я провожу Аким Борисыча, — сказала Зина, правда, с каким-то беспокойством, точно нехотя. — Вы водой лицо сбрызните, совсем раскисли...

Аким Борисыч встал, вежливо кивнул и пошел к дверям немного нетвердо, так что зацепился даже плечом о косяк. Зина накинула платок и вышла следом.



Юрий Дмитриевич сидел, испытывая легкое головокружение, которое, как казалось ему, было вызвано беседой со слепорожденным. Под окном зашумели, завопили, раздалось даже нечто похожее на слабый вскрик. Юрий Дмитриевич посмотрел туда с тревогой, но быстро забылся, снова погрузившись в мысли. Он взял маринованный помидор и сидел так, посасывая прохладный, приятно горчащий помидорный сок. Вошла Зина. Платье на груди ее было разорвано.

— Совсем осатанел, — сердито сказала Зина. — Страх бы имел Божий, слепой ведь... Выходи, говорит, за меня... Брось кофточки вязать... У меня дом свой, сад... Не пойдешь, я тебя как паразитический элемент... Милиция к тебе давно присматривается, ты молодежь в секты втягиваешь... А разве я сектантка?.. Я в церковь хожу. — Зина присела к столу и заплакала.

— Ничего, — сказал Юрий Дмитриевич, обойдя вокруг стола и присаживаясь рядом, — мы с ним справимся... Не бойся... Я позвоню завтра же... Я поставлю в известность... Он скрыл происхождение... Это античеловек... Это существо другой цивилизации...

Юрий Дмитриевич осторожно погладил Зину по волосам: волосы у нее были мягкие, каштановые, они

приятно щекотали шею и подбородок Юрия Дмитриевича.

— Котеночек ты мой маленький, — сказал Юрий Дмитриевич, — дай я потрогаю твои ушки, дай я поглажу твой хвостик... — Он говорил долго и произнес много глупостей, но, странно, ему было приятно чувствовать себя глупым и восторженным, как влюбленный дурак десятиклассник.

— Ты старый уже, — сказала Зина, — седой совсем... Но ты мне нравишься... Ты добрый... И лицо у тебя красивое... — Она поцеловала его в щеку и выскользнула из-под руки, мгновенно как-то из богомолки превратившись в озорную девушку. — Я тебе сейчас погадаю, — сказала Зина весело, от прежнего страха не осталось и следа, — сейчас узнаем судьбу...

Она нашла в углу старое одеяло и завесила окно, достала из комода коробочку, в которой была чистая просеянная зола пепельно-серого цвета, насыпала эту золу в неглубокую фарфоровую тарелку ровным слоем, налила чистой воды в стакан и поставила стакан этот посреди тарелки на золу, а вокруг тарелки укрепила три свечи. Потом она взяла толстое червонного золота кольцо и бросила его в стакан.

— Сиди тихо, — шепотом сказала она. — Не оглядывайся, смотри на свечи.

Юрий Дмитриевич, чтобы доставить ей удовольствие, сидел тихо, внутренне скептически улыбаясь; хмель прошел, голова была ясная и пустая, словно после сна, но постепенно Юрием Дмитриевичем вновь начала овладевать дремота, свечи трещали, пахло угаром, и над головой вдруг зазвенели тоненько колокольчики, раздался мощный удар, затем второй, но не удар уже, а легкое царпанье, точно языком колокола лишь провели по меди, и сразу всё заглохло.

— Смотри, — шепотом сказала Зина.

Юрий Дмитриевич наклонился и без особого теперь удивления, как само собой разумеющееся, увидел в кольце домик. Домик стоял на бугорке, в нем были два окошка, и переднее окошко светилось.

– Домик на горке, – сказала шепотом Зина, – видишь... И переднее окошко светится...

– Вижу, – ответил тоже шепотом Юрий Дмитриевич, – и мне приятно... А это колокол бил... Странно...

– Это старые часы на крыше, – сказала Зина, – они сломаны, но иногда начинают бить... Иногда я просыпаюсь ночью от их звона... – Она быстро задула свечи, и в темноте Юрий Дмитриевич обнял ее.

– Я хочу с тобой встретиться завтра, – сказал он, – я женат, однако развожусь с женой... Она изменила мне двадцать лет назад, это теперь достоверно установлено.

– Приходи, – ответила Зина, – днем я дома бываю... Я в деревенскую церковь с утра хожу, в собор я редко езжу... Ты Аким Борисыча берегись, он про тебя спрашивал.

– Ничего, – сказал Юрий Дмитриевич и поцеловал Зину куда-то мимо губ, в подбородок.

Когда он вышел на улицу, была уже глубокая ночь, очень теплая и лунная. Он чувствовал себя сильным, помолодевшим и шел, упруго отталкиваясь от земли. Легкий ветерок, имевший свободный доступ со стороны реки сквозь кусок рухнувшей стены, приятно освежал лицо и шелестел ветвями дубов. В глубине двора виднелась худая фигура глухонемого столяра Шмигельского. Шмигельский стоял среди мешков с цементом и унитазов, подняв обе руки к голове, и с наслаждением натирал свой нос, раскачивал его из стороны в сторону. Запрокинутое лицо Шмигельского было освещено луной, глаза закатились, рот был полуоткрыт, лишь короткие мучительные и сладострастные вздохи вырывались время от времени из груди его.

Некоторое время Юрий Дмитриевич пребывал в состоянии неясном для себя, затем вспомнил что-то, прикоснулся пальцем к концу своего носа.

— Рукоблудие, — сказал он. — Манутация... Искусственное раздражение с целью удовлетворить чувство... Антисемитизм, приносящий половое наслаждение... Половой расизм... Это для патолога-физиолога... Патология вскрывает суть...

Юрий Дмитриевич понимал, что Шмигельский глух, и все-таки он говорил, протянув к нему ладони, освещенные луной. С протянутыми же ладонями остановился он на перекрестке, это было уже в другом мире, маленький палисадник был окружен забором из кирпичных тумб, меж которыми закреплены были металлические трубы. В палисаднике сильно пахло влажной землей и цветами. Юрий Дмитриевич лег на траву, опираясь на локти, чтоб не помять цветы, сунул голову в клумбу и закрыл глаза, испытывая наслаждение не только от запаха, но и от прикосновения лепестков и листьев к своей коже. Потом он шел по пустым улицам, в домах освещены были только подъезды, изредка его обгоняло такси, одно даже остановилось, выглянул шофер, но, очевидно, приняв Юрия Дмитриевича за пьяного, поехал дальше. Уже начало светать, когда Юрий Дмитриевич вышел к центру, к улицам, на которых он бывал ежедневно. Он постоял перед библиотекой республиканской Академии наук со старинными фонарями перед входом. Здесь он часто работал, писал диссертацию. Теперь же он просто остановился и вздохнул, сам не поняв о чем. На улицах начали появляться первые прохожие, дворники шуршали метлами, прополз трамвай, но было всего половина шестого, и Юрий Дмитриевич решил еще немного погулять, чтоб не будить так рано Григория Алексеевича. Он подошел к дому, когда не только

крыши, но и верхние этажи уже были освещены солнцем. Он позвонил, и за дверью сразу же послышались шаги, не шаги, а топот, словно кто-то бежал. Дверь стремительно распахнулась, и Нина кинулась ему на шею, обняла и заплакала.

— Зачем, — крикнул Юрий Дмитриевич подходящему из глубины коридора Григорию Алексеевичу, — что здесь происходит? — Ему приходилось запрокидывать голову, чтобы отстраняться от поцелуев жены. — Мне неприятна эта женщина... А теперь вообще... Я, кажется, люблю другую... Боже мой, когда я кому-нибудь неприятен, я стараюсь обходить его десятой дорогой...

— Хорошо, — всхлипывая, говорила Нина, — я уйду... Но ты разденься, ложись... Я так беспокоилась... Григорий Алексеевич мне позвонил... Мы всю ночь на ногах... Мы звонили, ездили...

— Григорий, — сказал Юрий Дмитриевич, — ты ведь умный человек... Я так замечательно провел день... Ночь... Я так много нового повидал... О многом думал... Я расскажу тебе...

— Потом, — сказал Григорий Алексеевич. — Сейчас ты примешь ванну — и в постель... А потом мы поговорим...

Теплые струи воды из-под душа освежили Юрия Дмитриевича.

— Я сегодня много думал о христианстве, — сказал он, — о религии... Религия есть начальная стадия познания... Ибо придание формы человеческому незнанию есть первый шаг познания... Но она слишком рано застыла в догму...

Он слышал, как всхлипывает Нина, и ему стало стыдно, что он голый говорит какие-то серьезные слова. С этим чувством стыда он и заснул, и, может, потому ему снились кошмары. Сначала в окна, хоть жил он

на седьмом этаже, заглядывали какие-то подростки, а потом один кинул сквозь стекло, не разбив его, однако, какой-то предмет, напоминающий футбольную камеру, но только продолговатую. Потом началось вовсе нечто пуганое. Ходили призраки, и сквозь тела их просвечивали красные позвоночники. Больной товарищ, кто именно — осталось непонятным, — исчез, и в кровати у него оказалось два толстых веселых повара.

— Повара, — крикнул Юрий Дмитриевич, — любите друг друга.

И в ответ повара весело расхохотались.

Возможно, смех этот и разбудил Юрия Дмитриевича. Был уже вечер. Нина и Григорий Алексеевич сидели поодаль у стола, а у кровати сидел Бух, маленький, чистый, в свежей рубашке с перламутровыми запонками, и дышал в лицо мятными лепешками.

— Здравствуйте, коллега, — сказал Бух.

— Здравствуйте, Бенедикт Соломонович, — сказал Юрий Дмитриевич и привстал на локте. — Что, *delirium?*..* Или уже *amentia?***

— Юрий Дмитриевич, — сказал Бух, — я глубоко уважаю вас как талантливого патологоанатома, как умного и интересного собеседника... Однако сейчас я прошу вас быть благоразумным... Вы переутомлены, и если вы не пройдете курс лечения, то можете заболеть тяжело и серьезно.

— Ну и что же, — сказал Юрий Дмитриевич. — Допустим, я заболею... Или уже заболел... Но ведь я постиг вещи, недоступные вам... Что мы знаем о человеке? Наши познания о человеке — на уровне представления философов прошлого о земле как о плоском предмете... Например, можете ли вы себе представить мои

* Безумие (*лат.*).

** Бессмыслие (*лат.*).

ощущения на асфальтовых ступенях, когда я шел к небу и гремел колокол... Или кольцо... Я сам видел, как в кольце, опущенном в стакан с водой, возник домик на холме, и переднее окошко светилось...

В комнату вошла медсестра – очевидно, ранее она сидела в кабинете Григория Алексеевича. Сестра вынула ампулу и вставила в шприц иглу, о чем-то тихо разговаривая с Бухом. Потом медсестра взяла Юрия Дмитриевича за руку, приподняла рукав рубашки, Юрий Дмитриевич почувствовал запах проспиртованной ваты, почувствовал, как игла мягко вошла в тело, и покорно опустил на подушку.

Ночь он проспал спокойно. Лишь перед самым пробуждением ему приснилось, что Бух не ушел, по-прежнему сидит, правда, не на стуле, а прямо на кровати поверх одеяла, в пиджаке и белых кальсонах. Это развеселило Юрия Дмитриевича, и, проснувшись, он долго лежал и улыбался. Несмотря на слабость и головокружение, чувствовал он себя хорошо. Завтракал Юрий Дмитриевич, сидя на постели в пижаме. Нина подала ему чашку жирного бульона, в котором плавала куриная печенка, и, поскольку из-за слабости Юрию Дмитриевичу трудно было удерживать чашку на весу, Нина поддерживала пальцами донышко. В одиннадцать пришла медсестра делать укол. У медсестры были мягкие, нежные пальцы, и Юрий Дмитриевич спросил ее почему-то:

– Вы замужем?

– У меня уже дочка замужем, – сказала медсестра, – студентка... Вам экзамен сдавала...

– Это интересно, – сказал Юрий Дмитриевич, – наверно, красивая девушка... Знаете, я подумал, все-таки человек должен часто влюбляться... Любить он может одну, но влюбляться часто... Это ведь такое очищение, такое обновление... А как же мораль, спросите

вы. Но в конце-то концов бром оказывает вам неоценимую услугу... Микстура Бехтерева и так далее... Несмотря на то что бром — яд и ведет к удушью, ожогу легких при неумелом обращении...

— Лежите спокойно, — сказала медсестра, — я сломаю иглу...

Пришел Бух.

— Ну, молодцом, — повторял Бух, осматривая его. — Ну, молодцом.

Бух торопился на какое-то заседание и был, несмотря на жару, в черном костюме с белым платком, выглядывающим из кармана. В угол Бух поставил свой тяжелый портфель с чемоданными замками. Юрий Дмитриевич вспомнил, как Бух сидел на постели в белых кальсонах, и расхохотался. Бух вытер руки платком, не белым — декоративным, — а клетчатым, который он достал из бокового кармана, отошел и начал что-то тихо говорить Нине.

Обедали сидя у стола. Юрий Дмитриевич отказался обедать в постели, встал и даже натянул поверх пижамных штанов серые брюки. На обед был очень вкусный овощной суп, отварная телятина, свежие парниковые помидоры и клубника.

Григорий Алексеевич сегодня побывал с комиссией где-то за городом, где разваливалась старинная церквушка двенадцатого века, приспособленная под склад. Он начал было делиться впечатлениями, возмущаться, но Нина мигнула ему, и он перевел разговор на какие-то пустяки. Перед концом обеда позвонил телефон. Григорий Алексеевич снял трубку и сказал:

— Да. Но он болен... Он не может...

— Это меня, — крикнул Юрий Дмитриевич и кинулся к телефону, опрокинув блюдо с клубникой, — это Зина...

— Это не Зина, — сказал Григорий Алексеевич.

Но Юрий Дмитриевич вырвал у него трубку и крикнул:

— Зина, я думал о тебе... Я мечтал о тебе... Ты хорошая девушка, но у тебя тело не разбужено... И ты не права... Ты ошибаешься... Угасание человеческой жизни должно быть физиологическим... Человек должен изжить себя, по ступеням приближаясь к чему-то высшему, тому, что ты именуешь Богом, а я отказываюсь как-либо конкретно именовать, ибо не в наименовании суть... Человек должен пройти грех, искушение, страсть, боль, не минуя ни одной ступени... Легче всего быть праведником либо злодеем...

Нина пыталась вырвать у него трубку, однако он отталкивал ее и замолк, лишь услышав на другом конце провода какие-то тревожные голоса... Видно, там положили трубку, но не на рычажок, а, очевидно, на стол. Потом в трубке щелкнуло, и женский голос сказал:

— Юрий Дмитриевич, это говорит Екатерина Васильевна, секретарь замдиректора. Здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответил Юрий Дмитриевич.

— Вы извините, мы вас потревожили... Вы нездоровы...

— Нет, ничего, говорите, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Николай Павлович просит вас зайти, но я доложу, что вы нездоровы...

— Нет, я зайду, — ответил Юрий Дмитриевич. — Легкое недомогание... Завтра зайду...

Он повесил трубку и сел, прикрыв лицо ладонями...

— Странная все-таки со мной произошла история, — сказал он. — Григорий, тебе никогда не приходила мысль, что слепорожденный в любой момент может коснуться рукой Большой Медведицы или Кассиопеи?.. Собственно говоря, что такое для слепо-

рожденного звезда... Это раскаленное газообразное вещество, которое можно получить в любой лаборатории... И надев специальное предохранительное приспособление... Но это уже технические подробности... Спорожденный не может жить по нашим законам, ибо наш идеал для него — быт, а наш быт для него — идеал... Он хитрый. Он приспособился... Это лазутчик... И если через тысячу лет они овладеют землей, то проявят по отношению к нам меньшую терпимость... Они нам будут попросту выкалывать глаза... Григорий, наша цивилизация слишком беспечна... Человек — это зрячее существо, и он должен бороться за свои глаза...

Сильная боль возникла вдруг в глубине черепа и ослепила Юрия Дмитриевича. Нина опустила на колени и, глотая слезы, расстегнула, стащила с Юрия Дмитриевича брюки. Вдвоем с Григорием Алексеевичем они перенесли Юрия Дмитриевича на постель. Григорий Алексеевич позвонил Буху. Бух приехал через пятнадцать минут, он вернулся с заседания буквально перед самым звонком, не успел даже пообедать, и Нина сделала ему несколько бутербродов с семгой и колбасой.

— Приступ вызван внешним раздражителем, — сказал Бух, щупая пульс. — Главное — покой. Окно должно быть затянуто плотной шторой. Ночью свет луны не должен падать на постель.

Бух дал еще несколько советов и ушел. Григорий Алексеевич постелил себе в кабинете на диване, а Нина в одежде прилегла на раскладушке у постели Юрия Дмитриевича. Проснулся Юрий Дмитриевич от шума. Над потолком что-то гудело, будто самолет, но звук не удалялся: изредка он обрывался сразу, потом вновь возникал с той же силой в том же месте, точно самолет, подобно большому жуку, зацепился за

крышу и мучился там, теряя силы. Юрий Дмитриевич привстал, и тотчас же поднялась Нина. Лицо у нее было усталое, помятое от бессонницы.

— Что, — спросила она тихо, — хочешь выйти?

— Там самолет, — сказал Юрий Дмитриевич, — зацепился за крышу и мучается... Надо отцепить... Ведь там экипаж, люди...

— Это ветер, — сказала Нина, — ветер гудит...

Из соседней комнаты пришел Григорий Алексеевич и зажег свет. Григорий Алексеевич, босой, в пижамных штанах, майке и с русой бородкой, напоминал оперного бродягу.

— Григорий, — сказал Юрий Дмитриевич, — зачем меня обманывать... Я болен, но к чему этот обман... Я не могу, когда мучаются... Я не переношу физическую боль не потому, что боюсь ее, а потому, что она меня унижает. Физическая боль — удел животных. Человек же рожден для преодоления более высокой нравственной боли.

— Дай ему порошок, — сказал Григорий Алексеевич Нине. Нина налила в стакан воды и высыпала порошок в ложку. Юрий Дмитриевич покорно выпил, вытер ладонью рот и сказал:

— Сдайте меня в клинику... Я не имею права вас мучить...

Он посмотрел в окно. Оно было плотно затянуто шторой, но за шторой была глухая глубокая тишина, которая бывает в разгаре ночи.

— Хотя бы скорее день, — с тоской сказал Юрий Дмитриевич, — помните библейское проклятие... И ночью ты скажешь: скорей бы пришел день. А днем ты скажешь: скорей бы пришла ночь...

Он задумался и сидел так минут пять, пока лицо его несколько прояснилось. Вместо тоски на нем была лишь задумчивая грусть и даже появилась легкая улыбка.

ка — очевидно, началось действие порошка. Юрий Дмитриевич потянулся, лег и закрыл глаза. Вторично он проснулся перед рассветом, потому что за окном слышалось шарканье метлы дворника. Нина спала, прикрыв глаза рукой, согнутой в локте. Она была в юбке, но кофточку сняла, и в темноте белели ее полные плечи, перетянутые шелковыми шлейками комбинации.

“Она и в сорок четыре года еще привлекательна, — подумал Юрий Дмитриевич, — а какой же она была двадцать лет назад... Когда я уезжал в командировки, то лучшими книгами для меня были железнодорожные справочники, аэровокзальные справочники... Я изучал маршруты к ней...”

Он встал неслышно, чтобы не разбудить Нину, пошел, ступая с носка на пятку, и отодвинул край шторы. Солнце еще не взошло, но на улице уже было светло, и сквозь отворенную форточку сильно пахло молодым летом. Сердце Юрия Дмитриевича забилося с тревожной радостью — то ли от этого запаха, то ли от того, что после душной бредовой ночи он встал бодрым, свежим и, как ему показалось, абсолютно здоровым. Он собрал в охапку свою одежду, чтоб не шуметь, одеваясь, и не разбудить Нину, на цыпочках пошел в коридор. Проходя мимо кабинета Григория Алексеевича, он прислушался. Оттуда доносились легкий храп и посвистывание. Много хитрости и смекалки проявил Юрий Дмитриевич, открывая замок. Вначале он пошел на кухню, оделся, сунул сандалеты в карман, затем взял бутылку оливкового масла, густо полил замок во все щели так, что замок начал блестеть и лосниться, после этого он принялся тянуть рукоять, обернув ее ватой, найденной в аптечке, так что задвижка отошла плавно, без щелчка. По лестнице он тоже шел в носках, правда, где-то на лестничной пло-

щадке второго этажа понял, что это уже излишняя осторожность, сел и обулся. Дворник поливал подметенный сухой тротуар, изредка поднимая шланг и направляя струю на листву деревьев. Юрий Дмитриевич подумал: надо бы передать записку Нине и Григорию. Он сел на тумбу ограждения у палисадника, вырвал лист блокнота и написал: “Чувствую себя хорошо. Пошел гулять”. В действительности же на бумажке им были изображены линии и точки: схема развития малярийного плазмодия в теле комара и человека.

— Послушайте, уважаемый, — сказал Юрий Дмитриевич дворнику, — передайте в сорок седьмую квартиру...

Дворник взял записку и сунул ее в карман передника, а Юрий Дмитриевич, успокоенный, пошел вдоль улицы.

Юрий Дмитриевич решил: поеду в зоопарк. И не то чтобы он заранее планировал, а как-то сразу подумалось, и после этого Юрию Дмитриевичу показалось, что без этой мысли не стоило и на улицу выходить. Он ехал полчаса в раскаленном троллейбусе, а потом еще часа два сидел на солнцепеке, ожидая, пока зоопарк откроют.

От жары зоопарковый пруд зацвел, лебедей, уток и прочую водоплавающую птицу согнали на небольшой участок, оградив сетью, а в грязном котловане возились рабочие в резиновых сапогах. В бетонированном углублении, где изнывали заползшие в тень тюлени, валялось почему-то два разбитых торшера, очевидно, из инвентаря административного здания, расположенного поблизости. Возле клеток хищников сильно воняло. Вокруг клеток с человекообразными обезьянами собралась гогочущая толпа. Обезьяна держала на весу окровавленную лапу, и служитель с ветеринаром смазывали ей пальцы йодом. Время от вре-

мени служитель совал обезьяне в губы папиросу, она затягивалась, как заправский курильщик, пускала дым ноздрями. В соседней клетке сидела вторая обезьяна, сгорбившись и прикрыв морду лапами.

— Тоскует, — сказал служитель. — Укусила подругу и теперь переживает... Совесть мучает...

Юрий Дмитриевич подошел к киоску, купил шоколадных конфет и кинул тоскующей обезьяне. Обезьяна подобрала одну конфету, аккуратно развернула бумажку, конфету положила в пасть, а бумажку скомкала и довольно метко швырнула Юрию Дмитриевичу в лицо. Раздался дружный гогот толпы.

Юрий Дмитриевич пошел в другой конец зоопарка, где располагался змеиный террариум. Кормили удава. Живой кролик, упираясь изо всех сил, полз сам к удаву.

— Это удав его гипнотизирует.

— А закрыл бы глаза и в сторону сиганул бы, — сказал какой-то белобрысый парень.

— Ему невыгодно, — сказал Юрий Дмитриевич. — У кролика и удава общая идеология, и это ведет к телесному слиянию... Кролику даже лестно иметь общую идеологию с удавом. Кролик перестает быть кроликом и превращается в удава... За исключением, разумеется, физиологических отходов...

— Уже с утра пьян, — сказал служитель, посмотрев на Юрия Дмитриевича. — Тут третьего дня один пьяный к белому медведю прыгнул... Следи за вами...

У загородки, в которой ходили пони, зебры и ослики, Юрий Дмитриевич немного отдохнул душой. И если одна зебра и пыталась его укусить, то лишь потому, что, не обратив внимания на предупредительную надпись, он пытался ее погладить.

Юрий Дмитриевич вспомнил о вчерашнем звонке, посмотрел на часы, вышел из зоопарка, взял такси

и поехал к институту. В институтском здании, непривычно пустом и тихом, пахло известью и краской. По коридорам ходили маляры, грязный паркетный пол был устлан газетами. Юрий Дмитриевич поднялся на второй этаж и толкнул обитую кожей дверь. Здесь было чисто, поблескивал навощенный паркет, ветерок настольного вентилятора колебал опущенные шелковые шторы. Незнакомый молодой человек в хлопчатобумажной куртке, очевидно, прораб строителей, диктовал машинистке Люсе какую-то склочную бумажку, всё время делая ударение на слове “якобы”.

— “Утверждение генподрядчика, что якобы покраска нижнего этажа... — диктовал молодой прораб, — якобы покраска не соответствует установленным стандартам...”

Когда Юрий Дмитриевич вошел, Люся и Екатерина Васильевна одновременно посмотрели, и лица их стали одинаковыми: удивленными и испуганными.

— Здравствуйте, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Здравствуйте, — неуверенно ответила Екатерина Васильевна. — Я, собственно, доложила, что вы больны... Мы повестку собирались вам домой переслать...

— Какую повестку? — спросил Юрий Дмитриевич.

— Вам прибыла повестка из милиции.

— Давайте.

— Она у Николая Павловича.

Юрий Дмитриевич услышал, как за спиной Люся шепталась с прорабом, и прораб закричал, искусственно зевнул, чтоб подавить смешок.

Юрий Дмитриевич шагнул к боковой двери, но Екатерина Васильевна с неожиданной для ее грузного тела ловкостью вскочила, поспешно сказала:

— Минутку, я доложу... — и протиснулась в дверь, захлопнув ее перед Юрием Дмитриевичем, а возможно, даже прижав изнутри задом.

— Входите, — сказала она, выйдя несколько погодя и тревожно посмотрев в лицо Юрию Дмитриевичу.

Вся стена в кабинете была уставлена книжными шкапами светлой полировки, где тесно стояли книги с золотистыми корешками. В углу стоял скелет. Сам Николай Павлович, цветущий, очень волосатый мужчина, сидел не за столом, а в кресле рядом, очевидно, приняв эту позу из демократических соображений. Он был в нейлоновой японской рубашке, расстегнутой на груди; сидящие волосы густо подпирали его под самое горло. Николай Павлович во время войны был замполитом крупного госпиталя. Позднее работал в Министерстве здравоохранения, а с 52-го — замдиректора мединститута.

— Как вы себя чувствуете? — поднимаясь навстречу и улыбаясь, спросил Николай Павлович.

— Ничего, — ответил Юрий Дмитриевич. — Мне прибыла повестка?.. Это интересно.

— Да, — ответил Николай Павлович. — Кстати, выглядите вы неплохо... Я так и предполагал... Бух, как всегда, преувеличивает... В таких случаях я предпочитал бы не Буха, а Соловцева... Несмотря на опыт, Бух все-таки излишне... — Николай Павлович задумался, подыскивая слова, — излишне специфичен...

— Что вы имеете против Буха? — спросил Юрий Дмитриевич, разглядывая волосатую грудь Николая Павловича; волосы вились колечками, как у барашка. — Письмо в министерство о вас сочинил я, я был инициатором.

— Люблю откровенных мужиков, — сухо сказал Николай Павлович. — Русский человек, даже если он идет на поводу, сохраняет, пусть помимо своей воли, какие-то благородные качества.

Он обошел вокруг стола и сел, прочно поставив локти.

— Садитесь, — коротко кивнул он.

Юрий Дмитриевич сел.

— Ваш коллективный пасквиль, — сказал Николай Павлович, наклонив голову, точно собираясь боднуть, — ваш пасквиль у меня... Его переслали Георгию Ивановичу, но, поскольку Георгий Иванович болен...

— Значит, попало не по назначению, — сказал Юрий Дмитриевич мягко, точно терпеливо разъяснял непонятный вопрос студенту. — Напишем опять... Или я просто поеду... Нельзя вам, Николай Павлович, быть замдиректора мединститута. Николай Павлович, если в начале века человечество умирало главным образом от туберкулеза и заболеваний кишечника, то теперь оно умирает от заболеваний сердца, рака и болезней нервной системы... Это болезни движения... Человечество изнемогает от собственных темпов... Рак убивает миллионы беззащитных... Каждый медик, просыпаясь утром, прежде всего должен испытать чувство стыда...

Николай Павлович осторожно позвонил. Дверь скрипнула, но Екатерина Васильевна не вошла, очевидно, просто заглянула.

— Продолжайте, — сказал Николай Павлович. — Я вас слушаю. Кстати говоря, какое магическое исцеление... Еще вчера бред по телефону, а сегодня вы говорите как умелый карьерист, пытающийся с помощью склоки занять чужую должность...

— Я не претендую на должность, — сказал Юрий Дмитриевич, — но ее должен занимать опытный специалист, особенно учитывая преклонный возраст и болезни Георгия Ивановича... Он, собственно, числится директором номинально...

— Ну, конечно, — выкрикнул Николай Павлович. — Значит, Бух...

— Бух — опытный специалист, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Минутку, — сказал Николай Павлович, всем телом подавшись вперед. — А в пятьдесят втором, когда Буха разоблачили... Вернее, когда возникли всякого рода сомнения... Вы ведь тоже подписали письмо...

— Да, — сказал Юрий Дмитриевич; он сидел, прижавшись головой к высокой спинке кресла, чувствуя, как в венах около уха гудит кровь. — Я сейчас был в зоопарке, там кролик сливается с удавом... Я подписал в 52-м на Буха, а в 51-м Бух подписал на Сокольского... А Сокольский, перед тем как повеситься, оставил записку. Ни слова к жене, к детям. Одни лозунги... История знает немало палачей и жертв, но никогда еще жертва и палач не были так едины, никогда еще не было, чтоб жертва столь сильно любила своего палача...

— Я, конечно, не обладаю такими тонкими способностями в установлении диагноза, как Бух, — усмехнувшись, сказал Николай Павлович, — но симулянта я всегда определял с первого взгляда... Когда я был ротным фельдшером, симулянты все находились в строю... Они стояли по ранжиру, — крикнул вдруг Николай Павлович, покраснев. — Нам известно, что вы связаны с церковниками... Мы не можем доверить воспитание студенчества человеку враждебной нам идеологии... Вы пытаетесь очернить советскую медицину своими высказываниями... И теперь, когда вы разоблачены... когда милиция вызывает вас в качестве свидетеля по явно спровоцированному делу во время церковных празднеств в храме, вы с помощью Буха пытаетесь симулировать душевную болезнь... Вы затеяли бракоразводный процесс с женой, уважаемой женщиной, потому что связались с церковницей... И мы, как воинствующие атеисты, не позволим... Каждое ваше слово застенографировано Екатериной Васильевной и будет направлено в соответствующие инстанции... Возьмите вашу повестку.

Он метнул бумажку, видно, совсем потеряв самообладание. Та, подобно бумажному голубю, описала дугу и упала на ковер. Юрий Дмитриевич наклонился и поднял повестку, читая почему-то по складам. Потом Юрий Дмитриевич посмотрел на Николая Павловича и понял, что сейчас ударит его наотмашь, но он еще не решил, куда именно бить. Всё было привлекательно: и лобная кость, довольно развитая и бугристая, и остренький сосцевидный отросток височной кости, и верхнечелюстная кость, несколько вдавленная, на которую кулак лег бы очень удобно, перекрыв заодно и странно вдруг запрыгавшие губы. Эти губы несколько отвлекли Юрия Дмитриевича от его размышлений, они начали опускаться всё ниже и вскоре оказались на уровне стола.

— Позвольте, — сказал Юрий Дмитриевич, он боялся утратить собеседника, ибо собеседник нужен был ему, чтобы высказать какую-то важную, но ускользящую мысль, — позвольте... Минутку.

Юрий Дмитриевич протянул руку и восстановил Николая Павловича в прежнем положении.

— Знаете, чем вы опасны, Николай Павлович? Тем, что до сих пор существуете как проблема... И вы заслоняете собой от человечества подлинные проблемы... Жгучие... Вернее, нет... Я точнее скажу... Вот лестница... знаете улицу, где ступени уходят к небу... Цивилизация... Каждая ступень — проблема... Не кажется ли вам человечество безумцем, который по лестнице забирался все выше в неведомое, одновременно разбирая ее за собой... Оставляя позади бездну... Не пора ли строить ступени не только вверх к космосу, но и вниз к земле...

Юрий Дмитриевич глянул и не увидел Николая Павловича. Юрию Дмитриевичу хотелось еще говорить, но без собеседника он не мог, и поэтому начал

искать Николая Павловича. Он нашел Николая Павловича за книжным шкафом. Николай Павлович сидел там очень удобно, подобрал колени. Юрий Дмитриевич поднял Николая Павловича, просунув ему руки под мышки. Николай Павлович покорился, однако это была хитрость, потому что, едва оказавшись на открытом пространстве, он сделал обманное движение вправо, потом нырнул и побежал к дверям, куда заглядывали неясные лица, шевелящиеся, как муравьи в разрытом муравейнике. Юрий Дмитриевич легко поймал Николая Павловича и прокричал ему в нестриженный затылок:

— Пока зрячие заняты распрями, слепорожденные не дремлют...

Муравьиная куча в дверях выплюнула из себя какое-то лицо, которое, подбежав, вцепилось в Николая Павловича с другой стороны. Началась веселая возня. Юрий Дмитриевич тянул Николая Павловича к себе, а лицо — к себе. Сам же Николай Павлович сохранял нейтралитет, совершенно обессилев от страха. Вначале Юрий Дмитриевич перетягивал, но потом к лицу присоединилось еще несколько туманных очертаний. Тогда Юрий Дмитриевич отпустил, и они все сразу пропали из виду. Юрий Дмитриевич вышел из кабинета. В приемной было много народу, что-то случилось. Маляры вытягивали шеи, машинистка Люся пригнулась, кто-то стоял в дверях, однако Юрий Дмитриевич его устранил и пошел вниз по лестнице. Он шел торопливо и на улице поспешно свернул за угол, не имея, однако, определенной мысли скрыться, а повинувшись своим напрягшимся мускулам ног и своему участившемуся дыханию. Почти задышавшись, с перекошенным ртом, судорожно вздымающимися ребрами и взмокшей спиной, он упал на скамейку. Это было в тихом тенистом переулке, среди одноэтажных домиков, одном

из тех окраинных переулков, которые иногда попадают в самом центре, всего в нескольких шагах от шумных центральных магистралей и лишь в начале своем пораженные этим шумом.

Юрий Дмитриевич поднял руку и вытер холодный пот со лба и висков. Сердце сильно колотилось и болело. Он взял себя за запястье и сосчитал пульс, глядя на часы. Было сто тридцать ударов в минуту вместо нормальных семидесяти. Юрий Дмитриевич сидел в небольшом палисаднике. Метрах в пяти, на травянистом газоне, из трубы плескал, тек ручеек воды. Возле ручейка суетились воробьи. Переулок был пуст, и Юрий Дмитриевич ждал минут десять, пока на посыпанной песком аллее появился мальчишка на детском двухколесном велосипеде. Юрий Дмитриевич вынул носовой платок, жестом подозвал мальчишку и неожиданно каким-то незнакомым хриплым басом сказал:

— Намочи... Принеси...

Мальчишка взял платок, поставил велосипед и хорошо намочил платок, так что текли струи. Юрий Дмитриевич схватил платок и плеснул себе в лицо. Мальчишка стоял, смотрел с любопытством и не уходил.

— А теперь иди, спасибо, — сказал Юрий Дмитриевич.

Едва мальчишка отъехал, Юрий Дмитриевич жадно припал к платку губами, начал сосать его. Стало легче, сердце уже стучало потише, а налетевший ветерок приятно освежал. Наконец Юрий Дмитриевич встал, сам подошел к трубе и напился до отвала. Затем он намочил платок и, вернувшись на скамью, приложил платок к затылку.

IV

Юрий Дмитриевич вынул из кармана скомканную повестку, прочел, вышел к трамвайной остановке и ехал минут пятнадцать по длинной горбатой улице. От припадка остались лишь легкая слабость в пояснице и металлический вкус во рту.

Отделение милиции помещалось в многоэтажном доме, перед которым был тоже палисадник. На скамейках сидело несколько богомольных старушек, Кондратий в монашеской рясе и Сидорыч в парусиновом картузе.

Юрий Дмитриевич сел поодаль, и тотчас к нему подошел широкоплечий загорелый мужчина в куртке необычного фасона с короткими рукавами.

— Простите, — сказал он. — Я смотрел список свидетелей. Вы преподаватель мединститута?

— Да, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Рад познакомиться, — сказал мужчина и протянул руку. — Мастер спорта Хлыстов.

— Приятно, приятно, — пожимая руку, ответил Юрий Дмитриевич.

— Я также доцент, — сказал Хлыстов, — кафедры футбола... Выделен в качестве общественного бека... —

Хлыстов улыбнулся. — Однако думаю превратиться в общественного форварда...

— Я не болельщик, — сказал Юрий Дмитриевич, — я не понимаю терминов...

— Очень жаль, — сказал Хлыстов, — ну, в общем, значит, я общественный защитник... Если только эти церковные крысы доведут дело до суда, этот суд будет не над Кешей, а над церковниками... Я со следователем говорил... В конце концов, парень выражал свой инстинктивный протест против векового мракобесия... Против аутодафе... Против, понимаешь, сожжения Галилея...

— Галилея не сожгли, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Как же не сожгли, — возмутился Хлыстов, — если я сам фильм про это видал.

— Кеша ваш — сукин сын, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Допустим, — сказал Хлыстов, — парень совершил проступок. Он взял на себя самолично функцию государства... То есть я имею в виду функции борьбы с религией... Мы его за это накажем, мы его дисквалифицируем на две игры... Выпил, возможно... Поспорил с ребятами... Он же на спор это сделал... Но церковники эти... Вы ведь читаете атеистическую литературу... Ведь у них-то делишки... Вот кто уголовники. Они чем берут народ? Зрелищем... И в этом смысле наш советский футбол играет атеистическую роль, привлекая к себе массы... Так можно ли позволить, чтоб в наше время церковники судили атеиста... При советской власти...

— Я вот про что подумал, — сказал Юрий Дмитриевич, — про тех, кто защищает устои власти только потому, что механически при этой власти родился и живет... Родись он при другой власти, он так же рьяно играл бы не в советский футбол, а в какой-нибудь дру-

гой общественно-политический футбол... Кстати говоря, об атеизме... Что это — вера или безверие?

— Я не понимаю, о чем вы, — удивленно сказал Хлыстов. — Что же касается ваших намеков...

— Да я не намекаю, — сказал Юрий Дмитриевич, — я вовсе и не вас спрашиваю, товарищ футболист... Я себя спрашиваю... Религия есть вера в то, что Бог есть... Атеизм — вера в то, что Бога нет... Вера в то, чего нет... Странный каламбур получается... Если религия придает форму человеческому незнанию, то атеизм требует конкретных ответов на такие вопросы, которые человечество еще не скоро поймет... Религия говорит: человек существует по велению Божию... Атеизм говорит: человек существует для того, чтобы понять, для чего он существует... Здесь круг... Да... Подлинный атеизм не имеет ничего общего с журнальчиками, высмеивающими блудливых попикиков...

— Вы меня извините, — сказал Хлыстов. — Я тоже доцент... Даже странно... Вы тоже доцент, а у вас в голове идеологическая каша...

— Возможно, — сказал Юрий Дмитриевич, — но у человека есть только три возможности: либо религия, либо атеизм, либо игра в футбол... То есть либо ступени, либо лужайка... Вы с блудливыми попикиками бегаєте по лужайке... Зина и папа Исай счастливы тем, что зрячие и, стоя на нижней ступени, видят небо... А я, атеист, ползу по ступеням вверх, обрывая себе в кровь ладони и колени, чтоб коснуться неба... звезды... И возможно, я встречу где-либо на поддороге со слепорожденным атеистом, который ползет по ступеням вниз, ибо он не способен быть счастлив оттого, что может коснуться звезды... Он хочет ее увидеть... Это противоположная нашей цивилизация...

В палисаднике появились еще двое, доцент футбола торопливо отошел к ним, о чем-то тихо говоря.

Юрий Дмитриевич начал прислушиваться. Один из новых был стрижен под бобрик, второй — лыс, с большим родимым пятном на щеке, поросшим светлыми волосиками.

— Я смотрю, что-то не то, — говорил доцент футбола, — я ему насчет общественного долга, значит... Чтоб нашего парня выручить из лап церковников... А он мне в ответ такую антисоветчину понес, что, знаете, нормального человека надо за такие слова под статью подводить...

— Дурак ты, — крикнул Юрий Дмитриевич, — у советской власти нет в настоящее время более опасного, более смертельного врага, чем ее собственный отечественный дурак... Это опаснее глобальных ракет...

— Не надо его раздражать, — сказал доценту футбола лысый с родимым пятном, — он и так возбужден... Нам из института позвонили, он их там пораскидал... А я говорю, не поеду... Объявляйте мне выговор... Они его, понимаешь, там душевно травмировали... Вызывайте наряд милиции... За мою ничтожную зарплату чтоб мне зубы выбивали...

— Давай попробуем, милиция ж рядом, — сказал стриженный бобриком. Он приблизился к Юрию Дмитриевичу и сказал: — Здравствуйте, покажите, пожалуйста, вашу повестку.

Юрий Дмитриевич молча протянул повестку.

— Это к нам, — сказал бобрик, — поедем к нам, отдохнете. — Он кивнул на автомашину с красным крестом и прочно взял Юрия Дмитриевича за локоть. Лысый приблизился и взял Юрия Дмитриевича за другой локоть. Они подняли Юрия Дмитриевича и повели к машине.

Юрий Дмитриевич чувствовал себя таким усталым, измученным своими словами, что ему было решительно всё равно, куда его ведут. Но в этот момент

его окликнули, и он увидел Зину, выходящую из дверей милиции.

— Зина, — крикнул он, — я думал о тебе... Милая, сколько лиц было передо мной сегодня... Сколько ненужных лиц... Я хочу быть с тобой, но меня уводят...

Зина, плача, побежала следом.

— Куда тебя? — спрашивала Зина. — Почему нас мучают... Нам не дают любить... Меня спрашивали про того голого... И про Господа... И про веру... Это был не Христос, это был голый богохульник... Мне папа Исай объяснил...

— Подождите, — сказал Юрий Дмитриевич санитарам, — я должен с ней поговорить... Видите, в каком она состоянии.

Но санитары еще прочнее схватили его и повели быстрее. Тогда Юрий Дмитриевич рванулся и толкнул лысого на забор так, что тот расшиб себе локоть.

— Помогите! — крикнул Хлыстову санитар, стриженный бобриком.

— Чтоб псих мне куртку порвал? — отходя подальше, сказал доцент футбола.

Зина между тем кинулась к “бобрику” и вцепилась ему в запястье зубами. “Бобрик” охнул и отпустил руку Юрия Дмитриевича. Юрий Дмитриевич прыгнул через забор, поймал на лету свои очки, оттолкнув грудь какого-то дружинника-энтузиаста, и побежал в переулок. Зина бежала рядом. За спиной у них залились милицейские свистки. Юрий Дмитриевич увлек Зину в узкий проход между домами. Спотыкаясь о битый кирпич, перепрыгивая через не высохшие в сырой тени под сырой стеной, папахивающие лужи, Юрий Дмитриевич и Зина достигли ржавой пожарной лестницы и полезли. Зина впереди, Юрий Дмитриевич — несколько поотстав, глядя на удаляющуюся землю, чтоб не смотреть вверх на стройные ноги Зины. Чер-

дак был пыльным и большим, пахло здесь кошачьим пометом и обожженной глиной. Юрий Дмитриевич заметил, что к каблуку его прилипла, очевидно, на свалке между домами, лента “мухомора”, усеянная мертвыми мухами. Он хотел отлепить, но в это время послышался с улицы шум. Юрий Дмитриевич и Зина приблизились к слуховому окну и увидели, как мимо промчался милицейский мотоцикл, а за ним — санитарная машина.

— Поехали, — сказал Юрий Дмитриевич и злобно засмеялся.

Потом он отлепил ленту “мухомора” и уселся на деревянные стропила. Зина села рядом и уткнулась лицом в его грудь. Было жарко, и они слышали, как от жары потрескивает над головой жесьть.

— Я женюсь на тебе, — сказал Юрий Дмитриевич. — Мы уедем в Закарпатье... В здравотделе мне обещали должность главврача больницы. Впрочем, нет, я еще не поднимал вопроса... Но я обязательно подниму, и мне не откажут...

В углу, за печными трубами, виднелась куча какой-то ветоши. Юрий Дмитриевич поднял Зину, совсем не чувствуя ее веса, понес и положил на ветошь. Он начал расстегивать пиджак, но пуговицы были тугими, не лезли в петли, он отрывал их и складывал в карман. Вдруг он потерял Зину в чердачном полумраке и, чтоб обнаружить, стал на колени. Зина рванулась к нему снизу, обвила руками шею, он упал, и лицо его оказалось не на Зинином лице, а на лоснящейся от сажи ветоши, которую он чувствовал губами и в которую он тяжело дышал. Зина напряглась всем телом, вскрикнула и после сразу обмякла. И он тоже обмяк, поднял с ветоши свою голову, перенес ее на Зинино лицо, припал к ее губам. Потом они долго сидели с Зиной, обнявшись.

— Это пройдет, — говорил Юрий Дмитриевич, глядя ее шею и волосы, — всё хорошо... Ты мне расскажи, как жила... Ты мне про себя расскажи...

— Мать моя померла, когда мне восемь лет было, — сказала Зина. — Мы в другом городе жили... Такая длинная улица, а на углу банк... Начала она помирать, тетка и бабка крик подняли... Я испугалась, говорю: мама, скажи им, пусть они не кричат, мне страшно... Я к ней обращалась, точно она теперь хозяйкой всего была и всем распоряжалась... Она услышала, рукой махнула: не кричите, мол... А потом я не выдержала, убежала... Побежала к самому концу улицы, где банк, крики сюда едва долетают... Народ идет вокруг, внимания не обращает, мало ли чего где кричат. А я стою и одна знаю, почему кричат вдали... — Она выпрямилась, очевидно, увлеченная какой-то новой мыслью, внезапно пробудившейся, и Юрий Дмитриевич заметил, как в темноте блеснули ее глаза.

— Скажи, — спросила она, — когда Христу пробивали ладони, многие, наверное, слышали крики, но не знали, почему кричат.

— Есть специальная отрасль медицины, изучающая болезни древних людей, — сказал Юрий Дмитриевич. — Палеопатология... Наука, связывающая медицину с историей... Рентгенологи исследуют кости неандертальцев, хазар, половцев, скифов и обнаруживают рак, болезни суставов, туберкулез, проказу... Мне кажется, для невропатолога Евангелие есть история болезни древнего иудея из Назарета. Невропатолог, внимательно прочитав Евангелие, обнаружит все симптомы и установит довольно точный диагноз гебефренической шизофрении... Шизофрения в переводе с греческого — расщепление души... Расщепление души выделяет энергию, при соответствующих условиях — очень высокую... Вся европейская цивилиза-

ция, древняя и средних веков, построена на энергии, выделившейся при расщеплении души одного древнего иудея, родившегося в хлеву... Построена на питании этой энергией либо на борьбе с ней... Давайте обратимся к предыстории, к периоду, предшествовавшему болезни... Это очень важно для врача... Вначале это мальчик, запуганный и хилый, безвинно познавший недетский позор и унижение, ибо внебрачный ребенок считался в древней Иудее тягчайшим позором... Потом юноша, которого сторонятся девушки из-за нищеты и позорного его происхождения. Худой южный юноша, распираемый зноем и темпераментом... Семенная жидкость тиранизирует его, придает особый смысл жизненным впечатлениям... Желчь приобретает густой зеленый оттенок и под воздействием психической травмы застывает в желчном пузыре, что приводит к образованию желчных камней... К страданиям духовным, усиливая их, присоединяются страдания физические... Резкие боли в правом подребье с отдачей в правую лопатку, рвота, озноб... В этот период Иисусу необходима была диета: лимоны, яблочное пюре, компоты, виноград без косточек и кожуры... Хороши также “боржоми” и “эссентуки”... Однако возможности соблюдать диету нет в семье бедного плотника Иосифа, антибиотики и новокаин отсутствуют... К тридцати годам болезнь обычно становится хронической... Я прошу обратить внимание на возраст, — сказал Юрий Дмитриевич, протянув руку к печной трубе. — Именно этот возраст отмечен в Евангелии как начало появления Иисуса в качестве посланца Бога... Тирания семенной жидкости достигает максимума, разъедает мозг и преломляется в нем явлениями странными и призрачными, но настоящими на подлинном страдании и боли, ставшей уже привычной и необходимой, закрепленной условными

рефлексами и приносящей наслаждение. Здесь нет и тени лжи либо притворства, всё правдиво, всё выстрадано. Изменение в психике привело к изменению личности...

Юрий Дмитриевич прошелся по чердаку, спотыкаясь о какие-то ржавые обломки и черепки. Косой луч солнца, в котором плясали пылинки, проникал сквозь слуховое окно, он несколько переместился влево и освещал теперь возлюбленную, лежавшую на куче грязной ветоши...

— Словно Мария, — сказал Юрий Дмитриевич дрогнувшим голосом, — словно Мария, отдавшаяся в хлеву иудейскому пастуху... Отцу Иисуса... Беззаботному, может быть, человеку, живущему мгновением... Как надо любить, как надо уметь отдаться любви, чтоб переступить беспощадный обычай, сухие законы Иеговы... Евангелистское непорочное зачатие — мелкое цирковое чудо по сравнению с подлинной судьбой этой женщины... — Юрий Дмитриевич прикоснулся к своему раскаленному лбу. — Маша, — сказал он. — Если у нас родится сын... То есть я путаюсь... Вернее, вернемся к сыну... Оставим отца и вернемся к Сыну и Святому Духу... Ибо я вовсе не хочу опровергнуть святости происходившего... Даже ложные движения человеческого духа, если они основаны на благородстве и силе... сначала им увлекаются, потом вступают в борьбу... Европейская цивилизация построена на христианстве и на борьбе с ним... Христианство как идея существовало и до Иисуса. Иисус был одним из верующих христиан, но он так сильно поверил в Христа, что слился с ним, и на первых порах, пока ум человеческий коснел в невежестве, это сделало идею Христа более доступной и осязаемой... Однако со временем подобная материализация Христа начала давать обратный результат... Но об этом после... Об этом еще

думать надо... Да... — Он начал говорить сбивчиво, теряя фразы. — Сначала учению нужны титаны, потом оно нуждается в посредственностях, которые довели бы его до абсурда, то есть до естественной смерти, ибо учения смертны и сменяют друг друга, как человеческие поколения... Но вернемся к истории болезни... Итак, больной удаляется в пустыню... Это раннее течение болезни... Появляется замкнутость, изменяются интересы и эмоциональное реагирование... Он утрачивает интерес к своим прежним занятиям и, наоборот, начинает проявлять интерес к тому, к чему ранее он не испытывал влечения... К философии, к религии... Возможно, теперь он увлекся бы математикой, конструированием или коллекционированием... Он становится то вялым, то, наоборот, суетливым, о чем-то думает, куда-то всё время ходит один... Потом он собирает несколько таких же психически неустойчивых человек и начинает проповедовать... Это уже следующая, параноидная форма шизофрении... Больному кажется, что он приобрел какой-то смысл и все им интересуются... Появляются галлюцинации, идеи воздействия... Современному больному, например, кажется, что диктор радио говорит о нем, в газетах о нем, объявления на столбах и даже вывески о нем... Затем новый, депрессивно-параноидный период... Больному кажется, что у него появились враги, они хотят его подвести под пытки, предать, оклеветать... Один из вас предаст меня, а другой отречется ранее, чем прокричат третьи петухи... Современный больной нередко утверждает, что на него воздействуют электричеством, радиоволнами, магнетизмом, атомной энергией... Испытывает ревность к жене, проверяет ее белье... — Юрий Дмитриевич, пошатываясь, вошел в освещенные лучом пылинки, схватившись руками за ворот пиджака...

– Ты как святой, – шепотом сказала Зина. – Ты говорил... я не понимала... Но ты как святой... У тебя сияние...

– Нет, – засмеялся Юрий Дмитриевич, – в древней Иудее не было невропатологов, но были палачи... Впрочем, в тридцать три года Иисус уже страдал гебефренической формой... Он был неизлечим. Больные в этой стадии перестают есть, говорят, что у них сгнили все внутренности, что они уже трупы... Они стремятся к самоубийству, к смерти... – Юрий Дмитриевич внезапно смолк. Большой рыжий кот с ободранным боком смотрел на него из слухового окна.

– Кыш! – крикнула Зина.

Кот фыркнул и исчез.

– Таких юношей, как Иисус, было немало и позднее в черте оседлости, – сказал Юрий Дмитриевич, – в грязных местечках... Худые чахоточные мечтатели... Горе родителей... Позор семьи... Иисус мог бы быть одним из героев Шолом-Алейхема, родился он позднее. Но он родился в момент того душевного порыва, когда его народ, сам того не сознавая, приносил себя в жертву, обрек себя на распятие во имя рождения христианской цивилизации... Тут парадокс... Гибель Иудейского храма была предвестником гибели языческого Рима... Да... Христос – великий литературный образ древнееврейской литературы, литературы, которая может возникнуть лишь в моменты сильных душевных сдвигов... Впрочем, я потерял нить, – беспомощно прикоснувшись к вискам ладонями, сказал Юрий Дмитриевич и почему-то виновато улыбнулся.

– Иди ко мне, – сказала Зина и протянула навстречу ему руки.

– Странно как, – сказал Юрий Дмитриевич, – этот чердак, эти трубы, этот кот... Я ведь болен, зна-

ешь... Я пережил страшную ночь... Мне казалось, что мучаются самолеты...

— Иди ко мне, — повторила Зина.

Лицо Зины порозовело, это было лицо любящей счастливой женщины.

— Да, — сказал Юрий Дмитриевич. — К тебе и только к тебе... Ибо ты сейчас так чужда непристойности... Ты на этой ветоши...

Юрий Дмитриевич лег на ветошь рядом с Зиной и, обняв ее, приблизив губы к ее губам, принялся вдыхать ее дыхание, наслаждаясь ароматом и чистотой выдыхаемого ею воздуха. Они пролежали так до вечера. Солнечный луч из слухового окна добрался к противоположному углу чердака, затем вовсе погас, и по крыше защелкало.

— Это дождь, — сказала Зина. — Ты спал, а я смотрела на тебя... Во сне у тебя лицо изменилось... Как у младенца у тебя лицо.

Юрий Дмитриевич встал, потянулся, ударился головой о стропила.

— Полезли вниз, — сказал он.

Пожарная лестница была скользкой от дождя, они осторожно принялись спускаться, каждую секунду ожидая крика. К счастью, вокруг было тихо, в грязный закоулок между домами, очевидно, редко кто заглядывал, особенно в дождь. Они пошли по блестящему асфальту, не прячась, теплый дождь освежил их и смыл с их одежды чердачную пыль. В открытых окнах орали радиолы. Мимо, хохоча, пробежала стайка девочек-подростков, шлепая босиком по лужам и держа в руках свои модные туфельки...

— По древнеиндийской медицине, в человеческом теле сочетаются три начала — воздушное, слизь и желчь, — сказал Юрий Дмитриевич. — Ныне утверждают, что практика индийской медицины давала хо-

рошие результаты, а теория построена на фантастических предположениях... Но ведь это прекрасно... И это правдиво... Воздушное — это любовь, слизь — это прозябание, желчь — плотское наслаждение... Как просто, как умно...

Потоки воды текли вниз по горбатым улицам, образуя завихрения на бульжных мостовых, журча в желобах... Вдали слабо вспыхивали бесшумные молнии. Возле монастыря, куда Юрий Дмитриевич и Зина приехали на автобусе, дождь еще только начался. Туча шла от центра города, но над речкой и заречными полями небо еще было звездным. Подгоняемые сильным ветром, Юрий Дмитриевич и Зина протиснулись в тугую калитку и торопливо прошли монастырский двор, прислушиваясь к тревожно гудящим листвою дубам. В комнате у Зины горел свет.

— Это папа Исай, — обрадованно сказала Зина. — Вернулся. Как хорошо...

Папа Исай сидел за столом и ел хлеб с солью и горчицей. Он был босой, в расстегнутой рубахе, и портрет Толстого висел прямо на голой груди.

— Папа Исай, — сказала Зина, целуя его. — Я вас сейчас покормлю...

— Я по церквам ходил, — сердито сказал папа Исай. — Двести лет по всей Руси под видом ремонта церковей шло разрушение древнецерковного стиля. Вместо семиярусных иконостасов стали устраивать низкие ширмы на западный манер... И образа не русской, а французской школы...

— Вам с моим товарищем поговорить надо, — сказал Юрий Дмитриевич. — Он тоже славянофил.

— А духовенство, — выкрикнул папа Исай, не обращая внимания на замечание Юрия Дмитриевича, — выдыхается духовенство неудержимо, как жидкость в открытом сосуде... Если священнику вверены души,

то тем более могут быть вверены и церковные средства... Вот как они говорят... Запросы и нужды, с которыми стоит перед нами православная церковь, как перед своими духовными детьми, они по-своему истолковывают...

Зина поставила перед ним тарелку гречневой каши, разогретой на керогазе, бросила кусок масла, и папа Исай начал жадно есть, сердито посапывая.

— Давайте вернемся к нашему диспуту о христианских догматах, — сказал Юрий Дмитриевич, усаживаясь на диван, но тотчас же вскочив. — Тут проблема ежедневного добра либо добра-идеала... Давайте обратимся к личности Иисуса, то есть к истории его болезни... По моей гипотезе, анализируя его поступки, можно заключить, что он страдал желчнокаменной болезнью... Желчнокаменные больные обычно раздражительны и недобры... Особенно в сочетании с воздействием семенной жидкости... Однако, с другой стороны, утверждения последователей Иисуса о кротости его и доброте... Тут противоречие... Вернее, скорей путаница... Если проанализировать внимательно даже Евангелие, то можно обнаружить, что многие каждодневные поступки Иисуса не так уж добры... Впрочем, достаточно одного, главного, то есть распятия... В нем — всё. Об этом, кажется, какой-то крамольный богослов писал... Впрочем, не помню... Разве не блекнет жестокость палача перед жестокостью самого Иисуса, всемогущего Бога, который совершил распятие свое на глазах своей земной страдающей матери... Тут легенда, но в ней отголоски подлинного... Распятие было совершено во имя спасения людей, во имя добра, но как поступок именно того дня, когда оно совершилось, распятие был поступок Иисуса, жестокий и недобрый... И вот тут-то нам на помощь палеопатология приходит... Тут медицина

помогает истории и философии... Желчные больные редко бывают добры, но ощущение добра как чего-то недоступного, но манящего и прекрасного, стремление к добру у них бывает развито необычайно... Пусть подспудно, подчас несознательно... Добро как идеал они чувствуют часто гораздо сильнее, чем так называемые добрые люди, которым добро каждый день доступно и в быту утонуло... Я о чем хочу... — Юрий Дмитриевич замолк на несколько секунд, как бы смешавшись. — Ах, вот о чем... Конечно, в Евангелии много историй, и тут по-разному можно... Но всё ж главное-то — распятие... По нему и судить надо об основном постулате христианства... О непротivлении злу... Впрочем, я уже говорил об этом... Просто физиология подтверждает и уточняет философию... Непротivление злу как идеал — прекрасно... Как каждодневное правило — нелепо...

Папа Исая съел гречневую кашу и теперь доедал разогретые капустные котлеты, политые кислым молоком... Оконные стекла подрагивали от порывов ветра, шел уже сильный дождь. Вспышка молнии на мгновение осветила темноту за окном, блеснули мокрые стены, мокрые, растрепанные ветром ветви деревьев, и, прежде чем молния погасла, Юрий Дмитриевич увидал прижатое к стеклу чье-то мокрое лицо.

— Слепорожденный, — прошептал он, пожившись от внезапного озноба, — в окно заглядывает...

Папа Исая тоже испуганно попятился к ширме, крестясь, а Зина побледнела, затем кинулась и опустила штору.

— Он часто так, — сказала шепотом Зина, — стоит и смотрит, вернее, слушает...

В дверь застучали.

— Зина, — крикнул слепорожденный, — открывай, я говорить с тобой хочу.

— Аким Борисыч, — сказала Зина, — поздно уже, я уже сплю.

— Врешь, — крикнул Аким Борисыч, — у тебя свет горит, ты любовника принимаешь. — Он вновь сильно ударил в дверь.

— Не открывай, — крикнул папа Исай, — пьяный он... Фу, дьявол...

— Открой, — сказал Юрий Дмитриевич. Испуг прошел, он был вновь спокоен, и лицо у него было решительное.

Юрий Дмитриевич подошел к двери и откинул крючок. Слепорожденный ворвался в комнату. Он был страшен... Вода текла с него ручьями. Китель, брюки, волосы, даже черные очки были испачканы глиной, ботинки разбухли. В левой руке у него был помятый, истерзаный букет цветов. Дышал он тяжело, со всхлипом, и из теплого гнилого зева его прямо в лицо Юрию Дмитриевичу бил острый спиртной запах.

— Доктор, — сказал слепорожденный, — я узнал тебя, доктор... И этот проклятый церковник тоже здесь...

Папа Исай присел за ширмой, Зина забилась в дальний угол, один Юрий Дмитриевич стоял неподвижно; лишь когда он поправил очки, видно было, что рука его слегка дрожит.

— Как вы узнали, что свет горит, слепорожденный? — спросил Юрий Дмитриевич.

— Стекла теплые, — ответил слепорожденный, сбитый с толку спокойным вопросом Юрия Дмитриевича.

— Аким Борисыч, — крикнула Зина из своего угла, — вы не ходите ко мне... Я другого люблю... А вас я боюсь... Я в милицию пожалуюсь...

— В какую милицию, — сказал Аким Борисыч, — церковница... Ты советское учреждение позоришь, ты коллектив наш позоришь...

— Лазутчик, — крикнул Юрий Дмитриевич, — приспособился к нашим словам, к нашим лозунгам... Пойдем туда, где нет лозунгов, только дождь, только природа...

— Не ходи, — крикнула Зина, — он пьян... Это страшный человек... Он покалечит, он изувечит тебя...

— Это не человек, — сказал Юрий Дмитриевич, — это другое мыслящее существо... Если они захватят землю, то не станут уважать наши идеалы... Идеалы зрячих... они нам будут попросту выкалывать глаза... Человек должен бороться за свои глаза...

Юрий Дмитриевич обнял Зину и пошел к двери. Аким Борисыч постоял несколько мгновений, очевидно, озадаченный, затем метнул мокрый букет к ногам Зины и вышел следом. Дождь хлестал с такой силой, что Юрий Дмитриевич почувствовал себя словно погружившимся в воду; он мгновенно промок насквозь, в сандалетах чавкало. Слепорожденный молча шел впереди, ни разу не споткнувшись, в то время как Юрий Дмитриевич скользил по мокрой глине, попадал в лужи, ударялся о камни и даже упал, больно содрал колени.

В монастырской стене была ажурная дверка, они вошли в нее и пошли среди деревьев, росших между внешней и внутренней стеной. Они пошли по этому коридору шириной метра в три. Потом слепорожденный нырнул в какое-то отверстие. Юрий Дмитриевич полез следом, ощупывая сырые стены, но вскоре остановился.

— Здесь темно, — сказал он, — ты ползешь по ступеням вниз, а я вверх... Вот и встреча... Но ты выбрал это место хитро... Ты хочешь лишить меня моего имущества, сохранив свое...

— Не ходи к Зине, — сказал из темноты слепорожденный, — ты себе много найдешь, а я без нее жить не могу...

— Я тоже, — сказал Юрий Дмитриевич, — но я удивлен... Разве ты можешь тосковать и страдать по женщине... Впрочем, тоскуешь ты не по ней, а по своим прикосновениям к ней...

Слепорожденный был уже совсем близко, подошел он бесшумно, и Юрий Дмитриевич ощутил его лишь по спиртному запаху. Юрий Дмитриевич успел шагнуть назад, пальцы слепорожденного едва не сбили очки. Юрий Дмитриевич медленно отступал к свету, а слепорожденный упорно нащупывал его глаза — очевидно, глаза были самым ненавистным для слепорожденного в Юрии Дмитриевиче. Проход стал шире, в нем уже мелькал отблеск уличного фонаря, и в свете этого фонаря Юрий Дмитриевич увидел лицо слепорожденного, которое показалось Юрию Дмитриевичу похожим на физиономию из кошмара, словно с него снята была маска, придававшая ему хоть внешнее подобие человека. Потом Юрий Дмитриевич понял: исчезли темные очки, и видны были розовые мягкие глазницы, особенно страшные тем, что выглядели они не как увечье, а наоборот, внешний вид их достиг такого совершенства, что на мгновение Юрий Дмитриевич ощутил свои глаза как увечье. Это было так омерзительно, что Юрий Дмитриевич вскрикнул и побежал. Слепорожденный бежал следом, дыхание его было уже рядом, но, когда они выбежали из подземелья на дождь, слепорожденный начал отставать, затем раздался его крик, и топот оборвался. Юрий Дмитриевич оглянулся. Слепорожденного не было, он исчез, словно разом испарился. Молния ударила прямо в купол разрушенной церкви, осветила ящики горторга, гнущиеся от ветра и дождя деревья, а гром потряс Юрия Дмитриевича, отдался в груди и висках... Юрий Дмитриевич услышал какие-то идущие из-под земли звуки, подошел и увидел слепорожденного, барахтаю-

щегося в наполненной водой яме, очевидно, выкопанной строителями. Слепорожденный тщетно пытался выбраться, скользил по размокшему глинистому брустверу.

— Дайте руку, — сказал Юрий Дмитриевич, лег у края ямы, стараясь не смотреть на заросшие мясом глазницы, и опустил свои руки вниз. Слепорожденный поднял голову, лицо его исказилось, он подпрыгнул и вдруг вцепился зубами в левую ладонь Юрия Дмитриевича с таким остервенением, что Юрий Дмитриевич вначале испытал даже не боль, а удивление, услышав хруст собственной кожи. Он выдернул ладонь и, держа ее на весу, правой рукой схватил слепорожденного за шиворот, потянул его вверх, изнемогая от тяжести, и тянул до тех пор, пока голова слепорожденного не показалась у края ямы. После этого слепорожденный уж сам схватился за мокрую траву, выполз и встал, сделал несколько шагов, но тотчас же споткнулся. Движения его потеряли четкость и уверенность, и он стал похож не на слепорожденного, а на обыкновенного ослепшего человека, не привыкшего еще к своей слепоте и потому особенно беспомощного. Юрий Дмитриевич тяжело поднялся с земли, держа на весу окровавленную руку. Слепорожденный выглядел совсем обессиленным — видно, на рывок из ямы ушел последний остаток силы. Он тщетно пытался нащупать выход, ударяясь о стены, кружась на месте.

Юрий Дмитриевич подошел, взял его за локоть и повел к выходу. Слепорожденный покорно шел рядом. Ноги слепорожденного цеплялись за камни, попадали в лужи, хоть Юрий Дмитриевич и старался вести его аккуратно. Они вышли за ворота монастыря. Дождь утих, но ветер дул с еще большей силой, и луна бешено неслась по небу, появляясь в проемах изорванных туч. Вскоре Юрий Дмитриевич и Аким Борисыч

приноровились друг к другу и шли, как давно друг друга знавшие поводырь и слепец.

— Мутит меня, — сказал Аким Борисыч. — Я бутылку самогонки выпил... Тоска измучила... Ревность... А теперь я и сам понимаю, куда мне... Ей глазастого надо... Я на слепой девушке женюсь... У нас в Обществе слепых есть одна... Я ей нравлюсь...

— Про странное я сейчас думаю, — сказал Юрий Дмитриевич. — Вот было пусть опасное, но таинственное и непохожее на нас мыслящее существо, которое боролось с нами и заставляло нас бороться... Жестокость и сила наша оказались бесполезны и ненадежны против него... Тогда мы обратились к более мощному и более хитрому оружию, которое использует человек в своих завоеваниях... Мы обратились к нашему благородству и нашей доброте... Мы приручили его и превратили в беспомощного слепца...

Кто-то подошел к ним, посветил фонарем. Выскочили две маленькие злые собачки и залаяли. Это был ночной сторож в брезентовом плаще с капюшоном.

— Аким Борисыч, — узнал он слепого, — вам звонили из Общества слепых... Завтра в пять заседание правления...

— Коновалов, — сказал Аким Борисыч, — скажи жене, пусть меня домой отведет, я теперь не дойду сам...

— Заболели? — участливо спросил Коновалов.

— Я ослепил его, — сказал Юрий Дмитриевич, — я преступление совершил... Я человек... Человек, который с самого начала чувствовал себя завоевателем... Жестокостью и добром завоевал он планету... Убивал и приручал... Вот собаки... Жалкие шавки, ждущие, когда им бросят кость... Сейчас много пишут про дельфинов... Умные, таинственные существа... Пока человек охотился на них, они были в безопасности как

личности... Но сейчас человек собирается вынуть свое страшное, неотразимое оружие... Добро... И дельфинам грозит превратиться в глупых морских коров... В утепленных бассейнах... Мы не умеем сотрудничать на равных, мы умеем приручать... Кто знает, как далеко шагнула бы цивилизация, если б с самого начала человек не приручал, а сотрудничал бы с животными...

— Эге, — сказал Коновалов, поглядев на окровавленную ладонь Юрия Дмитриевича, — да тебя, братец, давно ищут... — Он цепко и больно схватил Юрия Дмитриевича за локоть и крикнул: — Надя, пойди скажи, псих, которого ищут, здесь...

Далее возникли какие-то обрывки. Аким Борисыч исчез. Появились Григорий, Нина, Бух и еще несколько лиц. Юрия Дмитриевича усадили в машину и прямо в машине начали переодевать во всё сухое. Затем Юрий Дмитриевич оказался в своей квартире, где не был уже почти месяц. Было очень душно, очевидно, весь месяц комнату не проветривали.

— Надо проветрить, — сказал Юрий Дмитриевич, — жарко.

— Здесь болит? — спрашивали Юрия Дмитриевича и больно жали ребра. — А здесь?..

— У меня копые болит, — сказал Юрий Дмитриевич, — которым зверей колют... Не знаю, может, благороднее убить, чем приручить... Пока человечество не поймет этого, оно не будет иметь нормального права выйти в космос и встретиться с иными мыслящими существами...

Юрий Дмитриевич сел, схватившись рукой за коврик и второй рукой отталкивая Нину, пытавшуюся его уложить.

— Один метафизик заявил: жизнь есть форма болезни материи... Материя активно противоположна жизни... Ну и что же, отвечаю я ему... Вас пугает слово

“болезнь”... Но разве брюшной тиф не есть жизнь брюшной палочки длиной в два микрона, для которой вселенной является кишечник человека?.. Давайте подумаем, что такое здоровье... Здоровье кишечника есть смерть палочки брюшного тифа... Здоровье — смерть... Болезнь и лечение есть разновидность дарвиновской борьбы за существование... Хочется только верить, что если человек и болезнь вселенной, то это ее длительная, неизлечимая болезнь... Ощущая боль, природа познает себя...

Далее начался бессвязный бред. Юрию Дмитриевичу ввели успокаивающее средство. Днем вместе с Бухом приехали профессор Пароцкий и врач-терапевт. Помимо тяжелого расстройства сознания, у Юрия Дмитриевича установили крупозную пневмонию, двустороннее воспаление легких.

V

В ноябре Юрий Дмитриевич вернулся с юга. Болезнь резко изменила его характер, он стал замкнут, молчалив, ему было стыдно того, что произошло с ним, и в каждом он подозревал насмешника. Однако Бух успокаивал Нину, говорил, что это обычные рецидивы, которые постепенно исчезнут. И действительно, в Крыму Юрий Дмитриевич рассеялся, повеселел. Если ранее, до болезни, он не обращал особого внимания на еду, на свою внешность, то теперь он полюбил вкусные, необычные кушанья, полюбил красивую одежду. На туалетном столике у него теперь стояли флаконы дорогого одеколона, мази, придававшие свежий оттенок коже, мази, предохранявшие от морщин, лежали щипчики, щетки, пилочки для ногтей.

Вначале Юрий Дмитриевич и Нина жили в Алуште, потом переехали в Евпаторию. В Евпатории они подружились с пожилой четой. Это были добрые, но скучные и неумные люди, однако Нине каждый вечер приходилось гулять с ними по набережной, так как Юрий Дмитриевич, надушенный, с подкрашенными бровями, в прекрасном костюме и в галстукке, со вкусом подобранном, уходил, как он говорил, “в одиночестве наслаждаться морем”. Нина знала, что

у Юрия Дмитриевича был роман с какой-то актрисой, а когда актриса уехала, он завел роман с официанткой чебуречной. Лежа на тахте в гостинице, Нина плакала и ругала себя за это, называла эгоисткой, так как уверила себя, что такая жизнь укрепляет здоровье Юрия Дмитриевича.

Однажды Юрий Дмитриевич пришел перед рассветом, сел рядом, обнял Нину, которая, не раздевшись, пролежала без сна на тахте, и сказал, улыбаясь:

— Ах, Нина... Как мы часто забываем... Вернее, не умеем ценить собственное тело... Это единственное, что нам принадлежит на этом свете... Наша духовная жизнь принадлежит не нам, а чему-то всеобщему... Чему-то, еще недостаточно ясному... Все душевные болезни — это месть нашего тела, которое в отместку за невнимание к себе лишает человека своей опоры, передав его целиком духу...

От Юрия Дмитриевича пахло вином, мясом, пряностями, и, когда он уверенными движениями начал расстегивать кофточку у Нины на груди, она испытала страх, точно Юрий Дмитриевич исчез, а к ней в номер ворвался пьяный насильник. К тому ж между ними давно не было близости, Нина отвыкла от него; она села и, прикрыв свою грудь локтями, сказала:

— Потом... Не сейчас... Ради бога...

Но Юрий Дмитриевич, распаленный вином и ее сопротивлением, сильными, умелыми движениями запрокинул ей голову и повалил. Спать он остался вместе с ней, а не ушел, как всегда, к себе на диван, и Нина лежала рядом без сна, чувствуя себя в сорок четыре года обесчещенной девушкой. Заснула она уже утром, когда с улицы слышались смех и шаги идущих к пляжу курортников, а проснувшись, увидела Юрия Дмитриевича, бодрого, веселого, который в тапочках и нейлоновых купальных трусах делал гимнастику с гантеля-

ми. Ей стало стыдно своих ночных чувств, а на душе — молодо и радостно, как после первой брачной ночи. Она встала, накинула халат, поцеловала Юрия Дмитриевича в затылок и ушла готовить завтрак. Питались они дома, так как ресторанная еда казалась Юрию Дмитриевичу недостаточно вкусной, и за плату одна из работниц гостиницы, жившая на первом этаже и имевшая свою кухню, разрешала Нине там готовить и даже закупала продукты.

К завтраку Нина приготовила бутерброды на поджаренном хлебе. На каждом кусочке белого жареного хлеба лежал ломтик сваренного вкрутую яйца, в центре ломтика высилась горка паюсной икры, а по краям ломтика был ободок из сливочного масла. Кроме бутербродов, был язык под белым соусом с изюмом и лимонным соком, омлет с яблоками и взбитые сливки с сахарной пудрой.

Посоветовавшись с Юрием Дмитриевичем, Нина пригласила к завтраку чету. Супруга звали Осип Леонидыч. У него с собой была трость, на которую он, однако, не опирался, а носил под мышкой, набалдашником вперед. Сев за стол, он начал массировать пальцами переносицу и спросил Нину:

— Вас не шокирует, что я массирую переносицу?

Из кармана его пиджака торчала пачка свежих центральных газет, а пуговицы на его белых полотняных брюках всегда были расстегнуты, так что виднелись кальсоны, и Нина боялась, что Осип Леонидыч либо его супруга обратят внимание на эту небрежность, смутятся, и приятная атмосфера завтрака испортится.

Супругу звали Клавдия Андреевна. Она была очень толстой, старой, старше Осипа Леонидыча. У нее росли усики и татарская жидкая бородка. От супруга своего она переняла многие привычки и повадки, даже

говорила, как и он, несколько нараспев. Об администраторе гостиницы она сказала:

— Я его предупредила, в следующий раз я ему устрою такой бенефис, что он после этого собственного маму примет за собственного папу.

Юрию Дмитриевичу старики нравились. Он жадно ел, смеялся, тоже пробовал говорить нараспев и спорил с Осипом Леонидычем о политике.

Вечером того же дня Юрий Дмитриевич и Нина уехали.

Ноябрь был на редкость теплый, настоящее бабье лето. Днем солнце грело так, что можно было ходить без пиджака. Первую неделю Юрий Дмитриевич занят был переоформлением на новое место работы, куда он устраивался в порядке перевода, чтоб не потерять стаж. Новое место был довольно солидный медико-биологический журнал. Платили там лучше, и оставалось много свободного времени для работы над диссертацией.

Диссертация была уже почти закончена еще зимой прошлого года, однако весной — это был период, когда ощущались первые симптомы душевного расстройства и Юрий Дмитриевич перестал спать по ночам, — весной диссертация показалась Юрию Дмитриевичу мелкой, неталантливой, обсасывающей частную проблему. Диссертацию Юрий Дмитриевич нашел в дальнем ящике письменного стола. Многие листы ее были скомканы, помяты, а некоторые разорваны. Роюсь в ящике, он нашел папку с бумагами, на которой аккуратным почерком было написано: “История болезни Иисуса Христа и анатомическое исследование тела Иисуса, выяснение точного положения тела на кресте и причина, по которой Иисус, умирая, склонил голову к правому плечу”.

Юрий Дмитриевич достал папку и, держа ее на отлете, точно змею, с колотящимся сердцем пошел на

кухню. Ему вдруг стало страшно, точно эта папка из серого картона может отнять у него, поглотить этот тихий, золотой от желтой листвы день, квартиру, запах вкусной еды, которую готовила Нина. Он достал в кладовой мешок, кинул туда папку, надел старую бархатную куртку и взял спички.

— Ты куда? — спросила Нина, поглядев тревожно. — Ты себя плохо чувствуешь?.. Ты бледен...

— Нет, ничего, — сказал Юрий Дмитриевич. — Я к истопнику. Кое-какую ветошь ему отдам, старье...

В подвале, куда Юрий Дмитриевич спустился, было сыро и дышалось трудно из-за запаха мазута и копоти. Юрий Дмитриевич остановился в узком коридорчике, вытряхнул папку из мешка и принялся рвать ее, ломая ногти о твердый, плотный картон. Лишь когда перед ним лежала куча изорванной бумаги, Юрий Дмитриевич несколько успокоился. Он поджег бумагу, испытывая наслаждение от того, как она корчится на цементном полу. Потом он растоптал, разворошил пепел, вышел во двор, где стучали в “козла”, где слышалась музыка из окон, где мальчишки гоняли в футбол. Юрий Дмитриевич посмотрел на всё это и, точно проснувшись после кошмара, радостно глубоко вздохнул.

Обедал он с аппетитом. Нина приготовила грибной пудинг из мелко изрубленных белых грибов, запеченных в кастрюле вместе с жареным луком, тертым белым хлебом и ореховым маслом. Кроме того, была уха из окуней, приправленная растертой в ступке паюсной икрой, и фаршированный кролик с соусом из чеснока.

Вечером к Юрию Дмитриевичу приехал новый сослуживец Алесковкин, которого все звали просто Кононович. Они должны были отправиться на какой-то товарищеский ужин, и Кононович заехал, поскольку Юрий Дмитриевич не знал адреса и вообще ехал

в эту компанию впервые. Вместе с Кононовичем была полная молодая женщина, крашеная блондинка в черном платье, которое распирал высокий бюст, и с большими, красными, видно, обмороженными руками. На крупной левой кисти ее были крошечные золотые часики. Крашеную блондинку звали Рита. Пока Нина переодевалась в спальне, а Рита разглядывала в столовой журналы мод, Кононович шепотом рассказывал о ней, подмигивая. Раньше Рита работала на стройке, где обморозила руки. Звали ее тогда Глафирой. Потом она поступила в домработницы к профессору, старому холостяку, сошлась с ним и вышла за него замуж.

— Страшная женщина, — говорил Кононович, — вампир... Глотает мужчин... Советую не пренебрегать...

В квартире, куда они приехали, было шумно и тесно. Первый, кого Юрий Дмитриевич увидел, был Николай Павлович. Юрий Дмитриевич смутился, но Николай Павлович спокойно подошел и пожал ему руку.

— Вы прекрасно выглядите, — сказал ему Николай Павлович, — рад, очень рад...

Николай Павлович работал теперь не замдиректора института, а завэпидемстанцией. Вид у него был по-прежнему руководящий. Юрий Дмитриевич услышал, как он говорил кому-то в пенсне:

— Прежде всего я принял меры к укреплению финансовой дисциплины, поскольку финансовый контроль есть мерило... Именно мерило, в отличие...

Юрий Дмитриевич рассеялся и, выпив после провозглашения тоста за здоровье какого-то Крощука Антон Антоныча, начал прислушиваться к другим разговорам. Разговор в той части стола, где сидел Юрий Дмитриевич, вертелся вокруг расового вопроса.

— Раса существует, — говорил мужчина с оттопыренными ушами, — и существует различие, на которое не следует закрывать глаза... Особенно медику... Наобо-

рот, как только мы закрываем глаза на трудности, на различия, которые необходимо преодолеть, как это сразу используют каннибалы, расисты всех мастей...

— Чушь, — выкрикивал его оппонент, совсем молодой, с румянцем на щеках и в дешевом ширпотребовском костюме, — раса есть внешние биологические признаки. Границы человеческого тела: кожа, нос, глаза и так далее... Раса — границы между биологией и психологией... Глубинная биология, которая, собственно, составляет суть человека, связана с нервной системой и мозгом и составляет фундамент человеческого индивида, по отношению к которому раса является внешним признаком, лишь способствующим формированию вследствие психологического воздействия... Иными словами, раса есть психология, облеченная во внешне биологическую форму...

— А генетика, — кричал мужчина с оттопыренными ушами, — наследственность — тоже внешняя форма?

— Наследственные признаки передают главным образом качество индивида, а не расы в целом, — отвечал молодой, — индивида... В колонии кораллов каждая особь — лишь часть целого; человек же представляет собой биологически независимое от других себе подобных существо... Вы путаете биологию с психологией... И не говорите, что это неразрывно связано, перепутано и так далее. Эти термины всегда употребляют, чтоб уйти от конкретного, от ясности к общим разговорчикам... Существует глубинная биология, связанная с внутренними органами человека, и существует внешняя биология, связанная с географией, с климатом...

— А напрасно, — сказал Кононович, сидящий рядом с Юрием Дмитриевичем. Щеки Кононовича побелели от выпитой водки, и косточки маслин он выплевывал на скатерть. — Напрасно... Именно разли-

чие существует... И графу в анкете, понимаешь, еще никто не отменил... Не было такого приказа... Я лично, встречая человека, всегда думаю: а какая у тебя, браток, национальность в кармане... Меня не интересует национальность только женщины, и то в тот момент, когда она особенно женщина... Когда ж этот момент проходит, женщина превращается в клейменную своей нацией выдру...

Кононович поднял голову, прислушался к звукам включенной радиолы и сказал:

— Юрий, разреши твою жену... на танец...

— Да, конечно, — сказал Юрий Дмитриевич.

Кононович был Нине отвратителен, от него воняло почему-то мочой, но Нина боялась рассердить Юрия Дмитриевича отказом. Едва они вышли и задвигались в ритме танца, как Кононович увлек ее подальше в угол и начал нащупывать сзади у нее между лопаток через платье застешки ее бюстгальтера. Нина плечом сбросила его руку и сказала, глядя с ненавистью на лисью блондинистую физиономию:

— От кого-то из нас воняет скипидаром...

— Разве? — сказал Кононович. — Только не от меня, если я никуда не вступил...

К Юрию Дмитриевичу подседа Рита. Сев, она так высоко подтянула подол платья, что стали видны ее серебристые английские подвязки на полных мясистых ногах.

— Мне надо, чтоб мужчина был, — сказала Рита, — а нация меня не интересует...

Руки у нее были влажные, и от прикосновения к ним оставались белые пятна, медленно заплывающие краснотой. Вскоре Рита с Юрием Дмитриевичем оказались в передней среди одежды, и Рита, глядя бешеными жадными глазами, начала молча хватать Юрия Дмитриевича.

— Правда, что ты психом был? — спросила она после нескольких минут молчаливого хватанья и дыхания. — Я еще психом не пробовала...

— Я был болен, — сказал Юрий Дмитриевич. — Человек состоит из воздуха, желчи и слизи... Меня наполнял воздух... Он носил меня над землей... Теперь я хочу жить желчью... Желчь образуется из крови, освободившейся от лимфатических частей... Она перегружена маслянистыми веществами... Если нет выхода семенной жидкости, она вступает с ней во взаимодействие и разъедает мозг... Но я дам выход семенной жидкости и направлю желчь в иное русло... Ты напиши мне телефон... Мы встретимся...

В комнате послышался шум. Что-то разбилось. Юрий Дмитриевич поспешил туда, поправляя на ходу одежду, истерзанную Ритой, и застегиваясь. Нина сидела на диване, и биолог в ширпотребовском костюме поил ее холодным морсом. Волосы ее были растрепаны, а платью на груди испачкано каким-то соусом.

— Нине Ивановне стало нехорошо, — сказал Кононович. — Здесь действительно душно и накурено.

— Юра, — тоскливо сказала Нина, подняв на Юрия Дмитриевича глаза, — что ты делаешь со мной и с собой...

— А что, — сказал Юрий Дмитриевич, у которого в голове шумело от водки и от сильных мужских объятий Риты, — в конце-то концов, наши отношения не вечны... Да... Я сожалею, что не довел до конца... Ибо ты была виной душевной травмы моей...

Николай Павлович, стоявший поблизости и услышавший в голосе Юрия Дмитриевича знакомые нотки, поспешно отошел. Но ссора окончилась благополучно. Кононович вызвал такси, и Юрий Дмитриевич с Ниной уехали.

Всё осталось прежним. Нина моталась по магазинам и базарам, закупая продукты, и рылась в повар-

ских книгах, готовя майонез из дичи, грибной борщ с черносливом, блинчатые пироги и другую, как говорил Юрий Дмитриевич, “вкуснятину”. Юрий Дмитриевич ходил на службу или в республиканскую библиотеку Академии наук работать над диссертацией. Вечерами он уходил под разными предлогами то на заседание, то на юбилей. Раз он даже сказал, что идет смотреть в морг интересный, привезенный туда экспонат. Возвращался Юрий Дмитриевич глубокой ночью. Нина притворялась спящей и видела, как он возбужденно ходит в темноте. А утром она замечала на его теле синеватые следы щипков и царапины. Однажды Нина слышала, как Юрий Дмитриевич, разговаривая по телефону с Кононовичем, сказал:

— В этой женщине есть что-то от самки паука, поедающей самца... Не знаю, стоит ли жалеть самца... Это скорее буддизм, чем христианство... В основе буддизма также лежит легенда приношения себя в жертву, но, пожалуй, более благородная, чем христианское распятие... Будда, встретив голодную большую тигрицу, предложил ей себя съесть... Именно тигрице, самке... Тут тонкость... Тут не добро в основе, а наслаждение... Конечно, не каждодневное наслаждение, а наслаждение-идеал... Тут взаимная любовь приводит к слиянию в один организм... Впрочем, в Евангелии от Иоанна Христос также предлагает есть его плоть и пить его кровь людям... Однако это не основа христианства, а одно из чудес Христа...

Нина слышала, как в трубке потрескивало от хохота Кононовича, и к женской обиде примешивалась досада на Юрия Дмитриевича, который доверяет какие-то свои размышления дураку.

Юрий Дмитриевич опять стал хуже спать, и ему казалось, проснувшись, что что-то давит на живот и, если он просто так закричит, станет легче. И, лежа в темноте с горячими ногами и холодным лбом, он за-

ранее пугался той секунды, когда раздастся его крик и вся налаженная, как ему казалось, жизнь после этого крика сразу сломается...

Однако это случалось не часто и только ночью, причем в одно и то же время — часа в два-три... Днем же Юрий Дмитриевич чувствовал себя хорошо, ел с аппетитом, следил за своей внешностью, даже пополнил, и лицо его приобрело здоровый оттенок. Нина ездила советоваться с Бухом.

— Рецидивы возможны, — сказал Бух, — но будем надеяться, что это попросту остаточные явления... Повышенная инстинктивная жизнь: аппетит, повышенное половое влечение — часто бывает выше нормы даже после полного выздоровления... Надо просто проявлять терпимость и понимание... Кстати, это выходит уже за рамки медицины... Тут больше зависит от вас, чем от меня... Вы ведь супруга, женщина... И в этой борьбе... Вернее, соперничестве с животным... Да, да, как это ужасно... Я вам глубоко сочувствую...

Но проходил день за днем, и ничего не менялось, пока не наступило второе декабря. Встав утром, Юрий Дмитриевич сразу почувствовал, что это не число, а дата, и сегодня что-то должно произойти. Впрочем, возможно, в этом он уверил себя уже позднее, когда события произошли. Прежде всего Юрий Дмитриевич увидел комнату необычно освещенной, она словно стала чище, но чистота была стерильной, тревожной, как в больничной палате. Он выглянул в окно и увидел белые крыши. Это был первый снег. Снег шел, очевидно, всю ночь, и дворники скребли его с тротуаров, сметая в сугробы. Позавтракав наскоро и без обычного удовольствия — впрочем, это, может, тоже казалось уже впоследствии, — Юрий Дмитриевич надел пахнущее нафталином зимнее пальто с каракулевым воротником, ушанку из пыжика, взял скрипящий

портфель с хромированными чемоданными замками и пошел в библиотеку. Шел он пешком, чтобы получить удовольствие от первого морозца и развеяться перед работой.

В библиотеке было три зала: для студентов, для специалистов с высшим образованием и для научных работников. В студенческом зале всегда было тесно и шумно, места там были не пронумерованы, и сидели вплотную по несколько человек за столом. Зал для научных работников был маленький и чаще всего полупустой. Массивные пальмы в кадках и мягкие кресла мешали сосредоточиться. Юрий Дмитриевич предпочитал работать в зале для специалистов. Зал был громадный, словно открытый стадион, высотой метров десять. Потолок в нем был из толстого матового стекла, скрепленного алюминиевыми рамами. Юрий Дмитриевич заполнил бланк заказа, получил книги, сел на свое место, согласно выданному жетончику, и углубился в работу. Однако минут через десять он почувствовал: что-то мешает ему сосредоточиться. Он отложил таблицу, из которой выписывал цифры, встал и подошел к окну, также очень высокому, размером с витрину. За окном медленно ползли троллейбусы с заснеженными крышами. Мороз упал, начало таять, мостовая была покрыта коричневой кашцей.

“Оттепель, — подумал Юрий Дмитриевич, — очевидно, это и мешает сосредоточиться... Вот оно, влияние погоды на поступки людей... В Лондоне ветер и туман в октябре увеличивают число самоубийств”.

Юрий Дмитриевич вновь уселся, раскрыл таблицу, взял остро отточенный красный карандаш и вдруг глянул на читателя, сидящего напротив. Собственно, он и раньше на него смотрел, но как бы безразлично; теперь же он посмотрел пристально и почему-то подумал, что именно этот читатель мешает ему сосредото-

читься. Это был мужчина лет сорока, рыжеватый, с рыжими ресницами, а в общем, ничем не примечательный, в черном пиджаке, в сером вязаном жилете, в сером галстуке. Пальцы у него были тонкие, с аккуратными, точно полированными ногтями. На одном из пальцев было обручальное кольцо. Юрий Дмитриевич подумал, что мужчина этот любит свое отражение в зеркале, несмотря на рыжеватость, к которой привык и не замечает. А может, даже любит и рыжеватость. В то же время в лице этом было что-то пугающее, что-то отличало его от других лиц вокруг — может, легкое подрагивание века, которое становилось заметным, если приглядеться, а может, припудренный небольшой шрам полумесяцем у правой брови. Мужчина между тем заметил, что его разглядывают. Вначале он досадливо морщился, не переставая что-то быстро писать в блокнот, перелистывая левой рукой страницы увесистого тома. Потом он начал ерзать, потом сердито посмотрел на Юрия Дмитриевича и наконец, не выдержав, захлопнул книгу, отложил блокнот, достал из-под груды листов пачку сигарет, вытряхнул одну, зажал ее между губ, встряхнул спичечный коробок, встал и пошел по коридору, очевидно, в курительную комнату. Как только мужчина ушел, Юрий Дмитриевич почувствовал себя спокойней, раскрыл таблицу и некоторое время работал сосредоточенно.

Вдруг раздался сильный удар, особенно громко прозвучавший в тиши библиотеки, послышался звон стекла, треск ломающегося дерева и крики, топот ног. Юрий Дмитриевич поднял глаза. Первое, что он увидел, был расколотый абажур настольной лампы. Кресло, на котором сидел рыжеватый мужчина, было разбито, в спинку глубоко врезался алюминиевый стержень. Острые куски стекла, рубчатого, сантиметро-

вой толщины, с запаянной внутри проволочной сеткой, глубоко пропороли сиденье кресла. Стол также был завален стеклом, бумаги и книги на нем порезаны и изорваны острыми осколками и кусками алюминия. Сидевшая слева женщина держалась за порезанную левую кисть; впрочем, порез был неглубоким, просто царапина. Юрий Дмитриевич глянул вверх и увидел в потолке зияющее отверстие, сквозь которое видны были стропила. Целая рама сорвалась и, пролетев десять метров, ударила по столу и креслу рыжеватого мужчины. Читатели повскакивали со своих мест, по ковровой дорожке через зал трусил дежурная.

— А где же товарищ? — спросила она, запыхавшись.

— Покурить вышел, — ответил Юрий Дмитриевич.

— Это б череп разнесло в два счета, — сказал кто-то. — Вот и пойди предугадай, где тебя ждет.

В зал вошел рыжеватый мужчина. Вид у него был отдохнувший, возможно, он не только покурил, но и выпил в буфете чашечку кофе. Он шел по проходу, вытирая платком с губ крошки печенья. Заметив толпящихся читателей, он удивленно поднял брови. Лицо его помимо благодушия приобрело оттенок любопытства. Он пошел быстрее, вытянув шею и стараясь заглянуть через спины.

— Товарищ, — увидев его, выкрикнула дежурная. — Это тот товарищ... С этого места... Видите, какой вы счастливый, товарищ...

Перед мужчиной расступились. Он увидел искаленное кресло, стол, заваленный острыми кусками стекла и алюминия. На мгновение тело его затряслось, словно в ознобе, лицо исказилось. Но лишь на мгновение. В следующее мгновение лицо его приобрело задумчивое, даже сонное выражение, которое бывает у людей, предавшихся философским размышлениям. Так стоял он минуту-две в полной тишине, склонив го-

лову несколько наборов. Потом он мягко, осторожно, словно не желая запачкать костюм и выбирая место почище, опустился на пол. Щеки его побелели.

— Обморок, — крикнула дежурная, — воды... Медсестру... Позвоните...

Юрий Дмитриевич принялся собирать свои книги и бумаги. Он видел, как мужчину усадили, медсестра давала ему понюхать флакончик, мужчина вскидывал головой, и расстегнутая рубашка его была мокрой от воды.

— Всё ясно, — бормотал Юрий Дмитриевич. — Всё ясно...

Юрий Дмитриевич сдал книги, спрятал бумаги в портфель, оделся и пошел, вдыхая сырой воздух. Утренние сугробы выглядели теперь маленькими грязными кучками. В зимнем пальто и ушанке было жарко.

Встретив Юрия Дмитриевича в передней, Нина спросила, глянув ему в лицо:

— Ты уже знаешь? Тебе звонили!.. Ах, боже мой... Но, в общем, волноваться не надо... Всё можно решить... Главное — здоровье... Любой суд будет на твоей стороне...

— Какой суд? — снимая пальто, спросил Юрий Дмитриевич. — Что я знаю?.. Вечно у тебя какие-то новости... Ты шпионишь за мной, как иезуит.

— Юрий, — сморщившись, словно собираясь заплакать, сказала Нина, — Юрий, сейчас не время для пререканий... Надо решать серьезные вещи... Ты ведь знаешь... я сразу поняла это по выражению, с которым ты вошел...

— Ах, оставь со своей телепатией... Какое выражение, в чем дело?

— У нас Григорий, — сказала Нина, — он хочет говорить с тобой... Но ты должен помнить о себе... И о своем здоровье... О своей семье...

— Григорий? — спросил Юрий Дмитриевич в некоторой растерянности.

В последнее время отношения с Григорием и вообще со старыми друзьями у Юрия Дмитриевича разладились. Они перестали бывать друг у друга. Григория Юрий Дмитриевич встретил случайно недели две назад на улице. Они поздоровались, перекинулись двумя-тремя словами и разошлись. Григорий Алексеевич сидел в кабинете у Юрия Дмитриевича и листал женский календарь за прошлый год.

— Однако сюрприз, — стараясь придать своему лицу бесшабашное выражение, сказал Юрий Дмитриевич. — Глазам не верю...

— Здравствуй, — сказал Григорий Алексеевич. — Я к тебе, собственно, по делу... Вернее, тебе письмо...

— Григорий, — сказала Нина, — Юрий перенес тяжелую болезнь. Я прошу тебя, я требую, наконец...

— Ах, оставь! — крикнул Юрий Дмитриевич, чувствуя усиливающееся сердцебиение. — В чем дело, от кого письмо? Что я знаю?.. Что вообще происходит?

— Сядь, — сказал Григорий Алексеевич. — Я состою в Обществе охраны памятников старины... которые подвергаются варварским разрушениям в результате невежества... Например, памятник русского зодчества... Двенадцатый век... В нем склады горторга... Строители... Унитазы валяются...

— Ах, ты хочешь, чтобы я тоже вступил в общество, — облегченно вздохнул Юрий Дмитриевич.

— Нет, — сказал Григорий Алексеевич, — то есть в общество ты можешь, конечно, вступить... Это долг каждого культурного человека. Защитить историю... Предков... Да... Но я сейчас, собственно, о другом... Я с комиссией был в монастыре... В общем, в том самом... Я встретил девушку... Женщину... Богомолку... Она меня узнала... Зина... Она беременна...

Высказавшись, Григорий Алексеевич глубоко вздохнул, перевел дыхание, точно поднявшись на гору. Юрий Дмитриевич слышал, как за спиной заплакала Нина.

— Да, конечно, — тихо сказал Юрий Дмитриевич. — Но что же делать... Вернее, я не совета у тебя прошу, а просто думаю вслух.

— Ты был болен! — крикнула Нина. — Ты не несешь ответственности за свои поступки... Я советовалась с Бухом... При болезни инстинктивная жизнь, половые влечения повышены... Да... Известны случаи, когда больные легкомысленно вступают в брак со случайными лицами... И кроме того, — со злобой крикнула Нина, — эти религиозные святоши развратны... В сектах они вступают в связь с проповедниками... С монахами... Она пытается воспользоваться... Это не твой ребенок...

— Она не сектантка, — тихо, думая о чем-то и оберегая эти мысли от окружающих, сказал Юрий Дмитриевич.

— Тебе письмо, — сказал Григорий Алексеевич и протянул замусоленный конверт.

В нем лежал листок блокнотной бумаги, на которой значилось сверху: “Делегату VI съезда Республиканского общества по распространению политических и научных знаний”.

— Это я вырвал ей лист из своего блокнота, — сказал Григорий Алексеевич.

Листок был исписан с корявой аккуратностью, как обычно пишут малограмотные.

“Милый мой муж Юрий, — писала Зина, — с приветом к тебе твоя жена Зина. Мы хоть и не венчанные, но я так пишу потому, что перед Богом мы муж и жена, и я за тебя молюсь, как за мужа своего в дальней дороге. А когда ты вернешься, мы повенчаемся и для людей тоже будем мужем и женой. В первых строках своего

письма спешу тебе, мой любимый муж, сообщить большую радость. У нас будет сын. Я взяла из артели отпуск и вместе с папой Исаем, который тоже тебя любит, еду сейчас в Почаев, в святую лавру, чтоб молиться за сына и за нашу любовь. Твоего адреса я не знаю, но когда вернусь, то напишу твоему другу, а он тебе передаст. Твоя верная любящая жена Зина”.

— Григорий, — сказала Нина, нервно похрустывая пальцами, — что нам делать? — Лицо у нее было молящее и даже заискивающее, точно она не просила, а вымаливала у Григория Алексеевича советы и точно его совет всё мог уладить.

— Не знаю, — сказал Григорий. — Попробуйте объяснить... Может, она согласится избавиться от ребенка... Я говорю бред, я говорю первое, что приходит в голову, но я не знаю... Это так сложно... Или, в конце концов, алименты... Впрочем, при отсутствии законного брака...

— Какое это имеет значение, — обрадованно вскричала Нина. — Ты умница, Григорий. Ты настоящий товарищ... Ты нашел блестящий выход... Конечно, если она не захочет сделать аборт, мы будем платить... Мы будем любить ребенка... Правда, Юрий... Это твой сын, и я буду любить его как собственного... Мы будем покупать ему подарки, мы будем ходить в гости...

Она припала к плечу Григория Алексеевича и рыдалась...

— Тише, — говорил Юрий Дмитриевич, поглаживая ее по волосам, по шее, — не надо... Ну, я прошу тебя...

Лицо его стало кротким и задумчивым.

Когда Григорий Алексеевич ушел, они пообедали. Двигались они и говорили так, точно оберегали друг друга от своих неосторожных слов и движений. Но к вечеру в настроении Юрия Дмитриевича произо-

Ступени

шло новое изменение. Он помрачнел, замкнулся и уселся в кресло, грызя карандаш и глядя в темное окно, в которое ветер швырял хлопья мокрого снега.

— Ложись, — сказал он Нине, — у меня бессонница... Я посижу, поработаю...

— Тебе вредно, — сказала Нина, — я советовалась с Бухом... Он категорически возражает против ночной работы... Прими таблетку...

— Прекрати меня опекать, — крикнул Юрий Дмитриевич так громко, что в горле запершило, — вместе с Бухом... Да, да, оставь...

Он вскочил, ушел к себе в кабинет, заперся, потушил свет и лег на диван, заложив руки за голову. Так пролежал он до утра, изредка меняя положение тела, вместо правой руки закладывая за голову левую. Утром он припудрил набрякшие под глазами синяки и пошел на работу.

VI

Минуло две недели. Были уже настоящие декабрьские морозы. Как всегда, в конце года накопилось много дел, и Юрий Дмитриевич не успевал теперь ездить домой обедать. Обедал он в ресторане неподалеку от места работы. Это было второразрядное заведение, в котором официантов было больше, чем посетителей, однако сидеть и ждать, пока обслужат, приходилось долго. Официанты были в основном мальчишки, похожие на провинциальных стилияг, в галстуках-ошейниках со стеклянными кнопками под горлом, в грязных рубашках, узких брючках и стоптанных узконосых туфлях. Они скапливались кучками в глубине зала и читали “Советский спорт”. Были и опытные пожилые официантки, которые, как носильщики на вокзалах, выходили в вестибюль встречать выгодных посетителей и провожать их к своим столикам. За выгодных посетителей они ссорились. Юрию Дмитриевичу это было неприятно, он перестал давать им на чай, и они перестали замечать его. Однако теперь приходилось долго ждать, пока подойдет какой-либо мальчишка.

Как-то, когда Юрий Дмитриевич сидел, нервничая, поглядывая на часы и вертя солонку, кто-то окликнул его. За соседним столиком сидел Кононович,

и возле него суетилась толстая официантка в крахмальной кружевной наколке.

– Садись, пообедаем вместе, – сказал Кононович.

Юрий Дмитриевич подумал и пересел.

– Вот ты меня избегать начал, – сказал Кононович, – кто-то, видно, шепнул... В наше время клеветников хватает... и Риту тоже забыл... А между тем мы твои друзья... И к Нине начал грубо относиться, она мне жаловалась... Совсем женщина на себя не стала похожа... Ее лихорадит, она заболевает, по-моему...

– Постой, постой, – сказал Юрий Дмитриевич. – Ты не торопись... Не пойму я... Ты где Нину видел?

– Видел, – сказал Кононович. – Не бойся, не ревнуй, не в этом сейчас дело. Допустим, она у Риты была... Ты не удивляйся, между нами, твоими друзьями, могут быть разногласия, но мы все тебя любим и озабочены твоей судьбой... Ты попал в плохую историю, на тебя донос написан...

– Донос! – торопливо сказал Юрий Дмитриевич. – Кем написан донос?..

– Каким-то слепым, – сказал Кононович, – членом правления артели. Ты соблазнил девушку и бросил ее беременную... Слепой в газету написал, а газета переслала старику, мужу Риты... Знаешь, история принимает крайне неприятный оборот... Ведь эта девушка умерла...

– То есть как умерла? – довольно спокойно спросил Юрий Дмитриевич. – Она ведь поехала в Почаев...

– Ну и что ж? – спросил Кононович. – Как будто если человек едет в Почаев, он становится бессмертным... Приехала и умерла от аборта... У какой-то бабки делала... Необразованность, даже грешить не умеют...

Юрий Дмитриевич встал и пошел, лавируя меж тесно стоящих столиков. Груды посуды высились на столиках, грозя упасть и расколоться на множество

осколков, так как пол был выложен керамической плиткой. Большое количество людей сидело и стояло в самых неудобных позах, вытянув ноги, подставив костлявые локти или просто преградив дорогу телами. В вестибюле у вешалки висел телефон, но по этому телефону разговаривал какой-то полковник. К счастью, рядом с рестораном тоже была телефонная будка. Юрий Дмитриевич вышел из ресторана, но и эта будка была занята. Тогда он пошел к будке в конце улицы. Прохожие смотрели на него, он был без пальто и шапки, и пиджак его покрылся снегом. Будка в конце улицы была свободна. Юрий Дмитриевич набрал номер.

– Григорий, – сказал он, – Зина умерла, это правда?

– Да, – сказал Григорий Алексеевич. – Я не знал, как это тебе сообщить... Я колебался... Нина ей написала письмо... Это было пять дней назад... Я читал это письмо. Нина писала всё, о чем мы говорили... Она предлагала помощь в воспитании ребенка... Я тоже пробовал уговаривать... Ты слышишь меня, Юрий?.. Ты не должен обвинять Нину.. Конечно, это печально, это ужасно... Но эти религиозные фанатички, изуверы... Ты слышишь меня?.. Ты откуда говоришь?..

– Слышу, – сказал Юрий Дмитриевич и повесил трубку.

Он вернулся в ресторан, оделся и поехал домой. Под пальто было мокро, талый снег пропитал пиджак и рубашку, влажное тело чесалось. На лестничной площадке перед своими дверьми он не выдержал, снял пальто, пиджак и принялся чесать зудящее тело меж лопаток, под мышками и даже под коленями. Потом он открыл дверь своим ключом. В столовой слышались голоса, звяканье посуды. Он вошел и увидел Нину и Риту, сидящих за столом. Стол был уставлен вазочками с вареньем, стояло блюдо с конфетами, печеньем, и горкой лежали апельсины.

Рита была в пушистой вязаной кофточке, туго обтягивающей ее широкие мужские плечи и высокий бюст. Когда Юрий Дмитриевич вошел, обе повернули к нему головы, желая что-то сказать.

— Молчать! — крикнул Юрий Дмитриевич. — Раз вы поняли друг друга... То есть подружились... Зина умерла... Да... Я потерял человеческий облик... Но ты, Нина, ты с этим животным... С этой самкой паука...

— Ну, знаете ли! — крикнула Рита и вскочила. — Я по доброте своей согласилась, а теперь мне плевать... Ну и семейка... Жена сама любовницу зовет, чтобы развлечь мужа... Знай, дурачок, она мне предлагала развлечь тебя... Чтобы ты не переживал из-за той крали... Той, которой ты ребенка заделал и которая от аборта померла... Это ведь анекдот... Жена предлагает... — Рита захохотала; кончив хохотать, она вновь крикнула: — Хватит... тебя еще к суду привлекут... Я на вас обоих покажу... Посмотрим, кто паук. На тебя письмо есть, ему будет дан ход...

Пока она кричала, Юрий Дмитриевич смотрел на ее десны, меж крепких белых зубов ее возникали маленькие пузырьки слюны. Ладонями она сильно схватилась за спинку стула, и красные, обмороженные руки ее побелели возле суставов, на сгибах пальцев. Рита ушла в переднюю. Слышно было, как она одевается, потом хлопнула дверь.

Юрий Дмитриевич подошел к Нине и сел рядом.

— Я обезумела, — сказала Нина. — Я потеряла рассудок... Я надеялась... Я хваталась за всё... Я не знаю... Жить теперь нельзя...

— Тихе, — сказал Юрий Дмитриевич, — давай помолчим... Если есть человек, перед которым я виноват более, чем перед покойной, так это ты... А теперь я поеду туда...

— Я боюсь за тебя, — сказала Нина, — я поеду с тобой...

— Нет, — сказал Юрий Дмитриевич, — ты умница, ты знаешь, что тебе туда нельзя, ты хорошая, ты милая... Ты выпей чаю, полежи, почитай журнальчик... Я скоро вернусь... — Так, уговаривая ее, как маленькую, он одевался.

Когда он был уже на улице, то увидел, как Нина, видно, опомнившись, выбежала следом. Но он стоял за газетным киоском, и она не заметила его, пошла торопливо вдоль улицы, оглядываясь по сторонам.

Юрий Дмитриевич взял такси и поехал к монастырю. За городом было очень тихо и чисто. Монастырские стены и двор были густо засыпаны снегом, и даже обгорелая церковь, где помещались склады горторга, выглядела теперь чисто и нарядно. Дверь в квартиру Зины была незаперта. За столом сидел какой-то небритый человек и составлял опись имущества. Икона лежала на диване, среди кастрюль, керогаза, мешочков с продуктами. Ящики комода были выдвинуты, и поверх комода лежало горкой чистое, пахнущее нафталином белье, стеклянные бусы, коробка с дешевыми, но не ношенными еще туфлями, юбка, два платья, несколько клубков шерсти и недовязанная кофточка. Лежало также толстое кольцо, в глубине которого когда-то Юрий Дмитриевич увидел домик на горке.

— Вам чего? — спросил человек Юрия Дмитриевича.

— Я насчет покойной, насчет похорон.

— Вы родственник?

— Нет... я знакомый...

— Понятно, — разочарованно сказал мужчина, — а то тут в ведомости расписаться надо...

— Ее в церковь понесли, — сказала пожилая женщина, очевидно, понятая.

Женщина сортировала посуду: поновой — в одну кучку, а старую, выщербленную кидала в ржавый таз, где было уже много черепков.

— Отпевать будут, — добавила женщина. — Это тут в деревне, мимо стройки идти надо.

— Спасибо, — сказал Юрий Дмитриевич и вышел.

Церковь была в глубине старого парка среди красиво заснеженных аллей. У церкви стояли автобус и грузовик. Ходили люди с траурными повязками. В автобусе видны были музыканты и свернутое знамя с траурными лентами. На пороге церкви стояла сухая высокая старуха в черном платке, а перед ней — приземистый мужчина в каракулевой ушанке, коротком полушубке, галифе и фетровых, обшитых кожей сапогах-валенках.

— Пойми, мать, — говорил мужчина. — Одумайся, пока не поздно... Ты ж идеологию, за которую твой сын всю жизнь воевал, подрываешь этим актом... У него ведь правительственная награда, он ведь партийный.

— Это на этом свете он был партийный, — сказала старуха, — а на том свете все одинаковые... Не дам хоронить без отпевания... Я его родила, а он всю жизнь ваш был... И не видала я его, как ушел из дому в семнадцать лет. — Старуха всхлипнула. — Всё некогда... Всё спешил... Всё на денек... Всё только переночевать... А теперь уж я на него посмотрюсь... Теперь уж он мой, а не ваш...

— Вот и неправильно, мать, — сказал мужчина, тоже украдкой вытирая глаза. — Мы все Петра помним и помнить будем... Весь коллектив... Как хорошего общественика, понимаешь... Как умелого руководителя и чуткого товарища... Но ведь нельзя, мать, нельзя... Мы ведь вашу идеологию не притесняем, у нас свобода вероисповедания... Зачем же вы притесняете анти-

религиозную идеологию всем нам дорогого покойника... — Мужчина помолчал, глядя на старуху, потом вздохнул и махнул рукой. — Снимет с меня райком стругу, — сказал мужчина и пошел к автобусу.

По старым, отполированным подошвами ступеням Юрий Дмитриевич поднялся и, сняв шапку, вошел в сени, довольно просторную комнату с батареей парового отопления и скамейками. У стены стояли крышки двух гробов, одного богатого, обтянутого красной материей с черной полосой, а второго простого, свежеструганого. На скамейке в передней какая-то молодая женщина пеленала плачущего грудного ребенка. Рядом сидели девушка в черных рубчатых чулках с крашеным рыжим начесом и мальчишка лет семнадцати. Пробор у мальчишки был прямо среди головы, и волосы поблескивали от бриолина. Мальчишка и девушка прислушивались к церковному пению, подмигивали и улыбались.

— Подпекает, Богу молится, — сказал мальчишка и кивнул на плачущего ребенка.

Церковь была разделена на две половины. Левая, более близкая к двери половина была пуста, лишь горели лампадки перед иконами да поблескивала позолота. В правой половине, отделенной частично стеной, частично колоннами, шла служба. Народу было немного, в основном старухи в платках. Хор, находящийся где-то впереди за колоннами, пел негромко и нестройно. Время от времени молящиеся опускались на колени и крестились. Позади молящихся, поближе к дверям, стояли на специальных подставках два гроба, приготовленных к отправке. Один из гробов был обтянут красным кумачом, и мужчина, лежащий в нем, утопал в цветах. Он был в черном костюме и рубашке с галстуком, лоб его был чем-то заклеен. Рядом, в свежеструганом гробу, лежала Зина. Голова ее

была повязана белым платочком, тело под самое горло укрыто белой простыней. На груди ее лежал какой-то предмет, назначение которого Юрий Дмитриевич не знал, похожий на квадратный кусочек кожи или плотного картона, покрытого блестками. Лица у мужчины и Зины были удивительно одинаковыми, словно они были в родстве: восково-белые, заостренные. Возле мужчины толпилось много народу, и какая-то женщина, очевидно, жена, стояла вся в черном, с землистым, вспухшим от слез лицом, всё время вздрагивая, точно просыпаясь. Возле Зины стояли только папа Исай и слепорожденный. Юрия Дмитриевича папа Исай, вероятно, не узнал, а слепорожденный не почувствовал, как бывало ранее. Слепорожденный был теперь сгорбившийся, ходил он, постукивая палочкой; к нему подошел церковный служка, что-то говоря, и он прошел рядом со служкой несколько шагов, спотыкаясь и едва не опрокинув лампадку. По щекам его из-под темных очков текли слезы. Папа Исай же стоял с лицом отрешенным и спокойным, бормоча невнятно, потряхивая головой и крестясь. Юрий Дмитриевич протиснулся ближе.

— Воля же пославшего меня Отца, — бормотал папа Исай, — есть та, чтоб из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но всё то воскресить в последний день...

Вокруг гробов стояли медные подставки со свечами. В каждой подставке было несколько тонких восковых свечей. Стояло также вокруг несколько кафедр, устланных черной материей с белой каймой. На кафедре, расположенной в изголовье гроба, лежала кучка не обожженных еще восковых свечей и листок с отпечатанной типографским способом молитвой.

— Возроптали на него иудеи, — бормотал папа Исай, — за то, что он сказал: я есмь хлеб, сошедший с небес. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифа, ко-

торого отца и мать мы знаем? Как же он говорит: я сошел с небес?

Юрий Дмитриевич прошел в левую, пустую половину церкви. На одной стене была картина “Христос в храме”. На противоположной — “Христос исцеляет младенца”. Стена, прямо расположенная, была вся в позолоченных рамах, сверху донизу увешанная ликами святых. В верхнем ряду, в центре, в более крупной по размеру раме, изображен был бородатый Бог. На коленях у него сидело его собственное бородатое изображение, только маленькое. По левую и правую сторону от Бога располагались праотцы, по четыре праотца с каждой стороны. Слева висел праотец Иаков, справа — праотец Авраам. В следующем ряду, пониже, висели пророки: пророк Моисей, пророк царь Давид и так далее. Всего восемь пророков. Еще ниже висели архангелы. К Юрию Дмитриевичу подошел и стал рядом, запрокинув голову, семнадцатилетний мальчишка.

— Это чей портрет? — спросил он. — Не разберу надпись...

— Праотец Исай, — ответил Юрий Дмитриевич.

— А тут разных наций, — сказал мальчишка. — И евреи, и грузины...

От мальчишки веяло чистотой, непорочной глупостью, как от веселого щенка.

— Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй, — несло из другой половины церкви. А из передней слышался плач ребенка.

Юрий Дмитриевич вышел из церкви. У заснеженной скамейки стоял мужчина в фетровых сапогах-валенках и говорил кому-то в меховом картузе и очках:

— Я договорился... Двести рублей... Прощальный ужин в заводской столовой... Завком тоже доплатит...

Юрий Дмитриевич пошел вниз по крутой сельской улице. Одна сторона ее была в старых бревенча-

тых избах, а на второй высились выстроенные недавно многоэтажные дома. В конце улицы был дощатый ларек.

— Давай на троих, — предложил кто-то в бушлате.

— Нет, — сказал Юрий Дмитриевич. Он подошел к ларьку, купил бутылку водки и, обогнув забор, выпил ее сам до половины, прямо из горлышка. Потом он шел неизвестно куда и был неизвестно с кем, но к вечеру, когда небо очистилось от туч и звезды густо повисли над головой, он оказался именно там, где хотел: у подножия асфальтовых ступеней, ведущих прямо к небу. Юрий Дмитриевич плохо видел, потому что очки исчезли, а правый глаз заплыл, вообще вся половина лица была разбита, и Юрий Дмитриевич чувствовал скулу свою и углы губ, точно в них защиты были твердые посторонние предметы.

Юрий Дмитриевич пошел по оледеневшим, заснеженным ступеням к небу, падая, больно ударяясь локтями, коленями и ребрами. Иногда, когда Юрий Дмитриевич уставал идти, он полз, и снег у лица его слегка притаивал от тяжелого дыхания. На середине лестницы Юрий Дмитриевич остановился передохнуть, вытащил из кармана бутылку, допил и закусил оледеневшими веточками кустов, росших по сторонам ступеней. Преодоленные ступени исчезли в темноте, словно позади был обрыв, и до покинутой земли было так же далеко, как и до звездного неба. Юрий Дмитриевич полежал молча, обессиленный, затем пополз дальше. Он выполз на тихую заснеженную площадь. Дома уже были темными, ночными, лишь кое-где светились окна. Юрий Дмитриевич стоял на четвереньках, не имея сил подняться в полный рост, и, запрокинув голову, разглядывал громадный ночной собор, купола которого упирались в звезды. Чугунные литые ворота собора были покрыты серебристой из-

морозью, и сверху, с карнизов, доносилось покряхтывание сонных голубей.

— Мне с четверенек встать надо, — бормотал Юрий Дмитриевич, — а чтоб с четверенек встать, надо взять в лапы камень... Я слаб, но не самый сильный, а самый слабый пращур первым взял в лапы камень, дабы с сильным сравняться... Не сила, а слабость родила человека... Слабость порождает силу, а сила — слабость.

Юрий Дмитриевич уткнулся в сугроб, прижался распухшей щекой к свету. Площадь была по-прежнему тихой и пустой, лишь один человек шел к нему, поскрипывая сапогами.

— Человек, — с надеждой и радостью сказал Юрий Дмитриевич. — Человек, научи... Я твой меньший брат... Я на четвереньках... Просвети, человек... Похити огонь... Освети дорогу... Поведи меня, человек...

Человек наклонился, просунул руку за спину Юрию Дмитриевичу, захватил умелым приемом и, твердо, больно упираясь своим предплечьем в лопатку Юрия Дмитриевича, повел...

* * *

Очнувшись, Юрий Дмитриевич увидел Буха. Бух сидел и вновь дышал мятными лепешками, щупал маленькими пальцами тело.

— Бенедикт Соломонович, — сказал Юрий Дмитриевич, — Бенедикт Соломонович, какое беспокойство... Вы приехали ночью... Сейчас ведь ночь, я чувствую это по тишине.

— Лежите спокойней, — сказал Бух.

— Бенедикт Соломонович, — сказал Юрий Дмитриевич, — вы слушали курс нервных болезней у профессора Пароцкого Ивана Ивановича... Помните, он

всегда приводил один и тот же пример. Больной Н. пошел на охоту... Как в арифметике. Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода... — Юрий Дмитриевич сел, натянув одеяло на плечи. — Итак, больной Н. пошел на охоту, и там у него возникло опасение, что своим выстрелом он убил мальчика, собиравшего грибы. Это опасение возникло у него, несмотря на уверенность, что никакого мальчика в лесу не было, что сезон не подходит для сбора грибов... Тем не менее он обследовал тщательно весь лес в пределах максимальной возможности поражения выстрелом из ружья... А может, он прав, этот больной Н. Он прав, потому что обеспокоен. Он обеспокоен мыслью, достаточно ли бережно он живет в мире, где человека убить проще и доступнее, чем убить воробья...

Юрий Дмитриевич говорил торопливо, потому что знал: сейчас появится медсестра со шприцем. И она действительно появилась, но с опозданием, так что Юрий Дмитриевич успел высказаться. Он сам протянул ей руку и услышал, как игла с легким скрежетом проколола кожу...

Юрий Дмитриевич десять дней провел в крайне тяжелом состоянии. Иногда он поднимался, цепляясь за настенный коврик, и начинал говорить, захлебываясь, с блестящими глазами, о разном, обрывками, — наблюдалась так называемая “скачка идей”.

— Знаешь, что лежит в основе нашего сознания? — говорил он. — Наш рост, наши размеры... Рост Эйнштейна — примерно... метр семьдесят... Рост Евклида — также в этих пределах... Дело не в сантиметрах, а в порядке величины... Сантиметры, а не микроны... В микромире, который, безусловно, существует, наша секунда равна вечности... В макромире наша вечность — это их секунда... И может, вся наша история, и все наши страдания, и все наши пророки, и все наши тира-

ны, и вся сложнейшая философия наша существуют для того, чтоб удержать человека в его секунде... Человек может дышать только в пределах своей секунды, которую сам же и создал, как в пределах атмосферы... Своя секунда – вот самое великое творение человека, созданное им по своему образу и подобию, то есть по своим размерам. Животные и даже растения тоже чувствуют время, но не способны создать его конкретный образ... Идея времени – это идея Бога... Но если Альберт Эйнштейн разрушил идею вечной секунды, если представление о едином мгновении по всей вселенной бессодержательно, то не бессодержательна ли идея единого Бога... Не с радостью я это говорю, а с болью, ибо он мне сейчас так нужен, что за секунду веры я жизнь, может быть, отдать готов... Я мальчика убил, грибы собиравшего... Молиться времени нелепо, ибо оно бесстрастно... Даже свое, созданное человеком время безразлично к человеческой судьбе... Из всех созданных людьми богов самым близким ко времени был иудейский бог Иегова, и теперь мне понятно, почему так торопливо, почему так лихорадочно именно древние иудеи создали Христа... Они, как никто, ощутили потребность в доброте и, ощутив, осознали добро как силу, помогающую утвердить себя в мире, точно так же, как древние греки ощутили потребность в красоте и, ощутив, осознали красоту как силу... Поскольку Христос был создан торопливо, он был создан с серьезными ошибками... Дело не в хронологической и тавтологической путанице, которыми полно Евангелие... Прочтите Евангелие... Суть христианства можно изложить на половине странички. Всё же остальное – это притчи и чудеса, ставящие своей задачей дискуссии с фарисеями, с неверующими, с сомневающимися в истинности происхождения Иисуса как посланца Бога... Но не фарисеи и книжники являются

главным противником Христа. Главным противником Христа является Иисус, сын Марии, пасынок плотника Иосифа. С момента возникновения христианства между ними ведется жестокая незримая война. Это противоречия между плотью и бесплотьем... Каждая притча и каждое чудо Евангелия есть странное сочетание догматического устава с поэмой... Иисус — реальность, Христос — мечта... Иисус требует действия, Христос требует идеи... Иисус пожертвовал собой, дав себя распять. То есть дал совершить над собой то, что совершалось до него над тысячами людей и совершалось после него над тысячами, и для этих тысяч было не подвигом, а просто мучительной казнью... Жертва Христа — не в телесном страдании, не в распятии, а, наоборот, в воскресении... Именно светлое Христово воскресение и есть в христианстве высшая жертва, и в этом суть Христа как спасителя... Однако об этом после... Я устал, и об этом после...

Подобные взрывы происходили чаще всего ночью, внезапно, причем с вечера больной был спокоен, ужинал с аппетитом и быстро засыпал. Первоначально Нина пыталась его успокоить, однако впоследствии поняла, что вмешательство ее еще более травмирует Юрия Дмитриевича; она даже привыкла не плакать при нем, не выражать отчаяния, а просто держала его за плечи и голову, чтоб он, жестикулируя, не поранил себя, ударившись о край кровати или стену. Случалось, после приступа наступало состояние, напоминающее коматозное: изменение глубины ритма дыхания, слабый пульс, охлаждение конечностей. Нина звонила медсестре, вызывала Буха. Однако постепенно здоровье больного начало улучшаться. Приступы прекратились, сон стал более спокоен. Юрий Дмитриевич начал вставать, ходить по комнате. Первоначально он был так слаб, что, пройдя от кровати

до кресла, ощущал сердцебиение, словно пробежал несколько километров. Он как-то сразу сильно постарел, сгорбился; говорил он теперь мало — должно быть, от слабости, и, когда Нина обращалась к нему, он смотрел на нее и виновато улыбался. Всё ж к весне он несколько оправился, пополнил, ожил. Когда наступили первые теплые дни и Нина, сорвав полосы пожелтевшей бумаги, раскрыла оконные рамы, Юрий Дмитриевич подвинул кресло к окну и подолгу сидел молча, смотрел, поставив локти на подоконник и подперев по-детски подбородок ладонями.

— Впечатления, — сказал Бух. — Перемена впечатлений — вот что ему теперь надо... Лучше всего — маленький городок...

В апреле Нина и Юрий Дмитриевич выехали жить в маленький городок на юго-западе. Квартиру свою они обменяли, и теперь у них были две небольшие комнатки и кухонька, до половины занятая русской печью. Дом был старый, двухэтажный, в нем жили в основном работники местного горкомхоза. Потолок в квартире был лепной, довольно аляповатый — птички и фрукты, ранее, очевидно, позолоченные; позолота еще и теперь проглядывала сквозь слой белил. В углу стояла очень красивая, с изразцами, кафельная печь. Однако служила она лишь для украшения, так как топили не ее, а другую печь, выстроенную уже позднее, к которой были подведены газовые трубы.

В общем с ними коридоре, за стеной, жила в крошечной комнатке Лиза, тридцатилетняя женщина с трехлетней девочкой Дашуткой. Лиза работала уборщицей в бане.

— В бане работаю и в бане живу, — говорила она. — Тут при старом хозяине ванная была...

Дашутка была рыженькой, маленькой, как клопик. В три года она выглядела полуторагодовалой. Нина

сразу привязалась к ней, и Лиза часто оставляла Дашутку на целый день, так как работала через сутки с утра до вечера и раньше ей приходилось тащить Дашутку к своей матери, жившей на окраине. В ясли же она отдавать Дашутку отказывалась, так как несколько лет назад в местных яслях был несчастный случай — какой-то мальчик проглотил иголку.

Юрий Дмитриевич Дашутке почему-то очень понравился, и она за ним ходила как тень. Когда Юрий Дмитриевич садился пить молоко, Дашутка забиралась на стол, смотрела на него и спрашивала:

— Ты питеньки хочешь?

Когда он шел в туалет, она стояла тут же, запрокинув голову, и серьезно спрашивала:

— Ты писаньки хочешь?

Юрию Дмитриевичу Дашутка тоже нравилась. Он гладил ее по голове и спрашивал:

— Кого ты больше любишь — петушка или курочку?

Однако часто Юрий Дмитриевич хотел посидеть в одиночестве, подумать, а Дашутка мешала. Юрий Дмитриевич прятался от нее в спальне, но всё равно не мог сосредоточиться, так как с тревогой прислушивался к топоту ее ножек. Дашутка искала его. Потом она находила, заглядывала в дверь. Юрий Дмитриевич не знал, как поступить, он пробовал грозить Дашутке пальцем, строить страшные гримасы, надеясь, что она испугается, однако Дашутка только весело смеялась, входила, залезала на постель, на стул, на колени к Юрию Дмитриевичу; часто в руке у нее был кусок черного хлеба и соленый огурец. Она очень любила черный хлеб и огурцы.

— А почему ты не идешь на работу? — спрашивала Дашутка у Юрия Дмитриевича.

— В сентябре, — раздраженно говорил Юрий Дмитриевич и злился на Лизу, на Нину, — в сентябре я начну

преподавать анатомию в местном акушерско-фельдшерском училище... Понимаешь?

– А чего это? – спрашивала Дашутка.

– Это наука, – говорил Юрий Дмитриевич, – про человечков. Какие они внутри, под кожей.

– Нарисуй, – говорила Дашутка. – Нарисуй человека.

Сама Дашутка тоже любила рисовать. У нее были краски, кисточки, она водила ими по бумаге и говорила: это морковка, это редиска, это луна...

Постепенно Юрий Дмитриевич переставал злиться и радовался Дашутке, щекотал ей тонкую шейку. Однако стоило Дашутке выйти, и он вновь плотно запирали двери, с тревогой прислушивался к ее шагам и грозил пальцем, когда она заглядывала. Нравилось также Дашутке мыть раковину и посуду. Она ставила табурет, забиралась наверх, сама закатывала рукавички и, открыв кран, деловито, очевидно, подражая матери, возила тряпкой по раковине, по крышкам кастрюль, которые давала ей Нина. В эти минуты Юрий Дмитриевич по-настоящему любил ее за то, что она так смешно возится, работает и не мешает ему думать.

Однажды на дне чемодана Юрий Дмитриевич нашел свои старые черновики, чудом сохранившиеся, так как после уничтожения в котельной папки с историей болезни Иисуса он тщательно искал всё, что записывал, будучи больным, и уничтожил. Черновики были испещрены иероглифами, черточками; он с трудом узнавал свой почерк. Здесь были выписки из биологических журналов, из Энгельса, из Вейсмана, из Достоевского, из Эйнштейна, из Евангелия.

“С точки зрения физиолога, – читал он, – эмоции представляют специальный нервный аппарат, сформировавшийся на протяжении миллионов лет эволюции органического мира... Назначение этого аппара-

та — срочная компенсация недостатка сведений, необходимых для целенаправленного поведения. Благодаря эмоциям живая система продолжает действовать, когда вероятность достижения цели кажется очень небольшой. Эмоции активизируют все отделы мозга и органы чувств, извлекая дополнительные сведения из непровольной памяти, обеспечивают те особые виды поиска, решения которых мы связываем с понятием интуиции и озарения. Живая природа умудрилась использовать не только знания, но и незнание, сделав их пусковым механизмом эмоциональной реакции”.

“Да, это верно, — думал Юрий Дмитриевич. — Это верно не только для человека, но и для человечества. Эмоции — это религия ранее, это искусство, которое нынче занимает место исчерпавшей себя религии... Христианство слишком рано превратилось из названия в знание, в форму правления, а Христос — в государственное лицо, и фундамент этого превращения был заложен первыми христианами, страдавшими за веру, жившими в подземелье, в катакомбах, ибо гонения не воспитывают благородство ни у гонителей, ни у гонимых. Умеренность, постепенность и своевременность — вот три временных кита, без соблюдения которых любое, даже самое полезное, самое справедливое дело может стать страшным бичом человечества, пострашнее эпидемии чумы. Ведь даже свет — источник жизни — может превратиться в смертельный яд для растений, помещенных на длительное время во тьму... Человек не раб Божий, но и не царь природы; обе формулировки одинаково нелепы...”

Юрий Дмитриевич полистал несколько страниц и прочел выписку из Энгельса:

“Не будем обольщаться своими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет первоначально те последствия,

на которые мы рассчитываем, но во вторую и третью очередь — совсем другие, непредвиденные по следствия, которые часто уничтожают значения первых”.

Далее он прочел выписку из Евангелия:

“Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом, откуда я вышел. И придет, находит его незанятым, вымытым и убранным. Тогда идет он и берет с собой семь других духов злейше себя, и, влезши, живет там, и бывает для человека, когда последнее хуже первого”.

“Что есть злое и доброе, — думал Юрий Дмитриевич, — диавол и Бог? Может, нет ни злого, ни доброго, ни диавола, ни Бога, все одно... Свет для листьев — злое или доброе?.. Злое есть доброе, не вовремя случившееся и меру не соблюдавшее... Человек не может освободиться от злого, когда вокруг безводная пустыня...”

Юрий Дмитриевич полистал еще несколько страниц, но в это время позвонили, послышались голоса Нины, Лизы, затопали ножки Дашутки. Дверь снова захлопнулась — видно, Лиза ушла, оставив дочурку. Приведи Лиза Дашутку на час позже, Юрий Дмитриевич обрадовался бы, ибо он начал уставать и ему приятно бы было поиграть с Дашуткой, расслабиться, отдохнуть. Но сейчас перед Юрием Дмитриевичем лежала еще пачка неразобранной бумаги, и мысль его была пущена, работала четко, обостренно. Юрий Дмитриевич знал, как редко это бывает, и, стоит ему прерваться, это состояние будет утрачено надолго, а мысль, возможно, навсегда. Поэтому он со злобой прислушивался к веселым голосам Нины и Дашутки.

— Гляди-ко, какой у меня атаминчик, — говорила Дашутка. — Мама говорит, лимончик — это атаминчик... — Потом послышался плеск воды.

“Слава Богу, — подумал Юрий Дмитриевич, — она там моет раковину, значит, не придет...”

Но сосредоточиться Юрий Дмитриевич уже не мог, прислушивался всё время, не идет ли Дашутка. Плеск воды прекратился, ножки Дашутки затопали у двери спальни, и она заглянула. На ней были позвякивающие кораллы Нины, в одной руке — соленый огурец, в другой — кусок черного хлеба. Юрий Дмитриевич начал грозить ей пальцем и строить злые гримасы, но Дашутка засмеялась и залезла к Юрию Дмитриевичу на колени.

— Я волка встретил, — с безнадежным отчаянием сказал Юрий Дмитриевич.

— Где? — оживленно спросила Дашутка.

— В овощном магазине, — сказал Юрий Дмитриевич, пытаясь читать бумаги, заглядывая через голову Дашутки.

Дашутка засмеялась. Потом она затеяла странную игру. Она откусывала кусочек хлеба, а остаток клала на край бумаги Юрия Дмитриевича; пережевав, она вновь откусывала и остаток клала опять, но дальше, и когда доедала кусок, то на противоположном конце бумаги лежал крошечный кусочек, который она подхватила ротиком, едва дотянувшись и выдавив на бумагу из огурца изрядную порцию огуречного рассола.

— Пойди к тете Нине, — сказал Юрий Дмитриевич, — пойди раковину помой... Я занят... Ты потом приходи...

Юрий Дмитриевич поднял Дашутку, поставил ее в коридор и закрыл дверь. Дашутка ушла, но вскоре вернулась. Он слышал, как она хихикает под дверью, пробовал читать, зажав уши руками, и вдруг ощутил прилив дикой, совсем инстинктивной злобы, какая случается во сне, когда человек утрачивает контроль над разумом своим и живет лишь прямыми потреб-

ностями данной секунды: например, хочет пить, а ему не дают пить, хочет чесаться и не может по каким-либо причинам чесаться. Дашутка приоткрыла дверь, и Юрий Дмитриевич с ненавистью посмотрел на измазанную вареньем хитрую мордашку.

— Атаминчик, — сказала Дашутка, всё шире раскрывая дверь, — атаминчик...

Но вдруг она неловко шагнула, оступилась, дверь дернулась, захлопнулась и прищемила ей ручку. Дашутка закричала. Юрий Дмитриевич, словно пробудившись, тоже кричал, но как-то беззвучно, раскрывая лишь рот, судорожно зевая, рванул дверь и упал перед Дашуткой на колени, подхватил ее.

— Это я, — наконец закричал он, — я захлопнул дверь... Я ей ручку сломал...

Нина в переднике, вымазанном мукой, металась между Юрием Дмитриевичем и Дашуткой, пытаясь их успокоить. К счастью, дверь лишь содрала кожицу на двух пальчиках Дашутки. Нина достала пузырек зеленки, залила и перебинтовала.

— Больнечко, — всхлипывая, говорила Дашутка.

— Это я, — повторил Юрий Дмитриевич, — меня надо изолировать... Нина, я опасен... Я врач и прекрасно понимаю это...

— Ты ошибаешься, Юрий, — сказала Нина, одной рукой обнимая Дашутку, а второй глядя Юрия Дмитриевича по голове. — Это не ты... Я видала... Просто случайно ребенок неудачно толкнул дверь.

— Нет, это я, — весь в испарине повторял Юрий Дмитриевич. — Я пожелал этого от всей души... Как Иисус, испепеливший желанием смоковницу...

— Это не ты, — повторяла Нина, — ты просто устал, зачем ты всё думаешь, пишешь, тебе надо отдохнуть... Дашутка, пожалей Юрия Дмитриевича, ему тоже больно...

Дашутка протянула вторую, здоровую ручку и погладила Юрия Дмитриевича по щеке. И тут Юрий Дмитриевич вскочил и начал целовать Дашутку в шею, в обе ручки, в спинку, в попку... Нина гладила обоих, и по щекам ее текли слезы. Затем Нина умыла Дашутку. От трения смоченная, намыленная кожа ручки издавала скрипящие звуки.

— Ручка плачет, — сказала Дашутка и улыбнулась.

Вечером Юрий Дмитриевич и Нина пошли гулять. По главной улице от самого вокзала к центру тянулись бульвары. Скамейки на этих бульварах, изготовленные местной артелью, были длинные, человек на десять, не располагавшие к интимности, и потому сидели на них в основном не влюбленные, а пенсионеры. Городок был чистенький, зеленый, весь центр асфальтирован. Было очень тепло, и хоть солнце давно зашло, раскаленные за день стены домов оставались по-прежнему горячими. Одна сторона улицы была густо запружена толпой, в основном молодежью. Гуляющие шли мимо кинотеатра, прокуратуры, Дома спорта, гастронома, местной церкви, горсовета к городскому саду. В городском саду по центральной аллее толпа двигалась двумя потоками: к танцплощадке и навстречу, от танцплощадки к кинотеатру. Это называлось "отметиться". Так и отмечались в течение вечера: то у кинотеатра, то у танцплощадки. Все лица в этом потоке были друг другу знакомы, друг другу надоели и в то же время нужны были друг другу, потому что делали жизнь хоть и скучной, зато твердой и уверенной: увидав знакомые лица, спокойно прогуливающиеся, каждый, пусть подсознательно, понимал, что жизни его ничего не угрожает и завтра, как и сегодня, будут так же спокойно гореть фонари, будут сеансы в кино, дома будет ужин. Всё будет налажено, всё будет хорошо.

Юрий Дмитриевич подошел к стене и начал читать объявления.

— Вот, — сказал он, — меняют квартиру... Давай запишем адрес и пойдем к этому дому... Просто так, чтоб прогулка наша имела какой-нибудь смысл. Иначе станет скучно.

Дом этот помещался где-то у реки. Они вышли к городскому пляжу. Здесь было немного прохладнее, но вода была теплой, и слышно было, как фыркают и плещутся купающиеся. Было темно, лишь вдали, у пешеходного моста, горела цепочка фонарей да одинокий фонарь покачивало ветерком у лодочной станции. Фонарь этот освещал скульптуру однорукого атлета с веслом. Юрий Дмитриевич подошел к фонарю и прочитал адрес.

— Где-то здесь, — сказал он.

— Станный ты, — улыбнулась Нина. — Зачем тебе этот дом... Давай просто подышим воздухом... Как хорошо... Слышишь, на том берегу, в камышах, утки крикают...

Они прошли вдоль берега. В прибрежных садах мелькали огоньки. Хозяева окуривали деревья от расплодившегося в горячие дни гнуса. Стоя на камнях и причаленных лодках, женщины полоскали белье. Коровы и козы бродили, позвякивая цепью, щипали траву, пили воду. Если центр городка был асфальтирован и освещен лампами дневного света, то прибрежные улицы имели совсем сельский вид: небольшие домики взбирались по косоугору, некоторые даже были крыты соломой, с выбеленными стенами и низкими плетнями.

— Вот он, — сказал вдруг Юрий Дмитриевич сдавленным, прерывающимся от волнения шепотом и сильно схватил Нину за руку. — Вот этот домик.

— Тебе нездоровится? — тревожно спросила Нина. — Вернемся домой... Ты устал сегодня, ляжем пораньше...

— Вот этот домик, — сказал Юрий Дмитриевич. — Я узнал его... Два окна... И в переднем окошке горит свет...

Домик, на который указывал Юрий Дмитриевич, стоял несколько в стороне, на бугре. Крыт он был оцинкованной жстью и окружен крепким высоким забором. Подойдя ближе, Нина действительно прочла адрес, указанный в бумажке.

— Давай поменяемся, — сказал Юрий Дмитриевич, — переедем сюда.

— Что ты, — сказала Нина, — здесь нет ни газа, ни водопровода...

— Зачем тебе газ, — сказал Юрий Дмитриевич. — Домик в кольце... В глубине стакана, стоящего на плече... Домик на бугре... Как нагадала покойница... Завтра же придем посмотреть.

— Хорошо, — сказала Нина, — а сейчас пойдем домой, становится прохладно, я продрогла в сарафане.

Отойдя несколько, Юрий Дмитриевич оглянулся, но домик уже был не в два окна, а в три, все окна были освещены, и впереди была пристроена какая-то стеклянная терраса, так что вид его изменился совершенно. Впрочем, возможно, это был и не тот домик, так как, отходя, они свернули на другую тропинку, левее, и тот домик теперь мог быть заслонен бугром либо соседними домами.

— Я хочу рассказать тебе две притчи, — сказал Юрий Дмитриевич, — странные и не к месту... Вернее, не притчи, а истории, но я их почему-то воспринимаю как притчи, хоть и не улавливаю смысла. Одна притча веселая, а другая грустная... Итак, веселая. Когда мне было три года или самое большее четыре года, покойная мать взяла меня с собой в баню. Это было в таком месте и в такие годы, что отдельных номеров, конечно, не было, и приходилось идти в общую... Удиви-

тельно, как отлично я всё это помню... Баня бревенчатая, прокопченная. Деревянные крышки закрывают люки на полу... И вот какая-то женщина, пожилая уже, толстая туша с громадным, распаренным телом, начала ругаться с матерью. Она кричала: какое право вы имеете брать с собой мальчика в женское отделение... Или что-то в этом роде... Мать говорит: ему только четыре года. А туша кричит: нет, это уже большой мальчик... Она ушла и привела администраторшу... Они долго ругались, а потом туша ушла, прикрывшись от меня, четырехлетнего ребенка, тазиком... И вот тогда я впервые с интересом посмотрел на этот тазик... Вернее, не на тазик... В общем, ты меня понимаешь...

Нина засмеялась и взяла Юрия Дмитриевича под руку. Они шли по дороге, усыпанной жужелицами. Справа, в заречной деревеньке Бродок, лаяли собаки, а слева, от центра, долетали звуки джаз-оркестра местного дома культуры, игравшего по четвергам и воскресеньям в городском саду.

— Вторая притча — грустная, — сказал Юрий Дмитриевич. — Это уже случилось спустя много лет, в армии на ученье... Была зима, очень глубокий снег. Мы наблюдали за выброской парашютного десанта, и у одного из парашютистов в воздухе отказал парашют. Мы видели, как этот человек летел камнем, и слышали, как он кричал... Потом он упал, вскочил мгновенно, начал отряхивать снег с комбинезона и свалился окончательно... Когда его вскрыли, то обнаружили, что у него сразу при падении были оторваны легкие и сердце... С оборванным сердцем он отряхивал комбинезон от снега... Понимаешь, тут действительно притча, но смысла ее я не могу уловить... Последние запасы крови в сосудах, последние доли мгновений жизни мозга тратятся на то, чтоб отряхнуть снег с комбинезона...

Нина чувствовала плечом своим дрожащее, словно в ознобе, плечо Юрия Дмитриевича.

— Опять начинается, — сказал Юрий Дмитриевич. — Нина, я неизлечим и опасен для окружающих... Странная ты женщина... Тебе давно советовали и Бух, и Пароцкий... И я советую поместить меня в клинику... Впрочем, я-то, конечно, нет, мне-то, конечно, от одной мысли делается тоскливо... Но что же делать... Может, это действительно выход... Даже путь к выздоровлению... К тому ж вследствие общего возбуждения больные такого рода делаются неустойчивыми ко всякого рода инфекциям...

Они поднялись по деревянным скрипучим ступеням. В общем коридорчике горел свет, и Лиза чистила картошку. Увидав Нину и Юрия Дмитриевича, она сердито поджала губы и отвернулась. Дашутка сидела тут же, на кухонном столе, и баюкала куклу.

— Я куклу покачаю, — сказала она Нине, — а то кукла проголодается.

— Ну-ка молчи, — прикрикнула на Дашутку Лиза. — Что я тебе сказала, ты ведь обещала мне... Если ты будешь говорить, я посажу тебя в темную комнату...

Юрий Дмитриевич и Нина вошли к себе и зажгли свет. Рядом с балконом горел на столбе фонарь, опутанный паутиной. Вокруг фонаря тучей носилась мошкара, движения ее были так быстры и хаотичны, что мошкара сливалась в блестящие пересекающиеся линии. Паутина была густо покрыта погибшей мошкарой.

— Чепуха какая, — сказал Юрий Дмитриевич, — надо разбить этот фонарь, он меня раздражает... Знаешь, как это легко сделать... брызнуть из детской клизмы на раскаленную лампочку холодной водой...

— Что ты, Юрий, — сказала Нина, — Лиза и так обещала пожаловаться на нас в домоуправление.

Она подошла и обняла Юрия Дмитриевича.

— Напрасно мы переехали, — сказала она. — Это Бух посоветовал...

— Бух не виноват, — сказал Юрий Дмитриевич. — Смена впечатлений действительно помогает в определенных случаях... И я чувствовал себя лучше... А теперь мне опять хуже... Немного...

Он сел на стул и хотел расстегнуть ворот рубашки, но рука его скользнула мимо ворота и прижалась к левому боку, к ребрам. Нина выбежала в коридорчик и начала стучать к Лизе.

— Лиза! — крикнула она. — Юрий Дмитриевич нездоров... Я хочу вызвать "скорую помощь"... Я пойду звонить, а вы поглядите за ним...

— У меня ребенок... Вы мне покалечили ребенка, — сердито ответила из-за двери Лиза. — Я буду жаловаться на вас в домоуправление...

— Ничего, Нина, — позвал ее из комнаты Юрий Дмитриевич, — мне уже лучше... Иди сюда, посидим, поговорим...

Юрий Дмитриевич действительно несколько оправился.

— Иди сюда, — сказал он. — Сядь рядом со мной, жена моя... Я хочу почитать тебе Евангелие... Всё Евангелие... это только одна страничка, верней, главная суть Евангелия... Это первая страничка от Матфея... Лишь она принадлежит полностью Христу. Всё же остальное в значительной части принадлежит Иисусу, сыну плотника Иосифа. Всё остальное сильно перемешано с историей душевной болезни древнего иудея. К тому ж эта страничка — лучшая из поэм, которые я когда-либо читал.

Юрий Дмитриевич раскрыл Евангелие и прочел: Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от

Фамари; Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею. Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иосафама; Иосафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафниля, Салафниль родил Заровавеля. Заровавель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елеазара. Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христом...

Юрий Дмитриевич отложил Евангелие, встал, подошел к балконной двери, глядя на мечущуюся вокруг фонаря мошкару...

— В этом длинном монотонном перечислении, — сказал он, — и страх перед концом, и жажда увидеть конец... У человека со своей смертью сложные взаимоотношения, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд... Не менее сложны и взаимоотношения со своей смертью у человечества... Солнце прожило уже половину своей жизни, это определили астрономы, рано или поздно и оно умрет, превратится в “белого карлика”. У Энгельса хорошо написано: “Смерть как существенный момент жизни. Жить — значит умирать...” Смерть — это биологическая необходимость... Возрастные сдвиги человечества так же фатальны

и неустранимы, как возрастные сдвиги человека. Практическая медицина призвана смягчать болезненные явления, даже когда она далека от понимания их сущности... Бог и был для человечества этой практической медициной продолжительное время... Был, потому что теперь его нет... Это факт, не зависящий от радости одних по этому поводу и печалей других... Человечество пережило идею Бога, но идея Христа не исчезла, этот осиротевший после смерти отца своего сын приобретает теперь особый, главный и, может быть, единственный смысл... Если легенда о первом грешном, а значит, живом человеке, то легенда об Адаме — это легенда о Христе, это легенда о последнем идеальном человеке... И жертва Христа не в распятии вовсе, а в том, что он воскрес, чтобы быть последним... Христос — спаситель потому, что воплощает в себе всю гармонию человека со вселенной, к которой человек стремится, и, служа недоступным идеалам, он в то же время берет на себя весь “плач и зубной скрежет”, как написано в Евангелии о последнем дне, ибо гармония означает конец идеи существа, именуемого человеком... Но если гибель древнегреческих богов, языческих богов не уничтожила Аполлона, Венеру, Геркулеса, то есть не уничтожила идеал телесной красоты и силы, ими порожденной, то почему же гибель современного Бога должна уничтожить идеал красоты духовной, каковым является лишенный плоти, отделенный от желчного душевнобольного Иисуса поэтический образ Христа-спасителя, может быть, самый великий и живой образ, созданный литературой?.. Нам никогда не приходилось слышать атеистическую лекцию “существовала ли Венера”, а вот “существовал ли Христос” читают так же часто, как “есть ли жизнь на Марсе”, и так же туманно... Страшась смерти, человечество стремится к ней всей жизнью своей

с момента рождения, но умрет лишь один Христос, сын человеческий, ибо каждый возникает вновь в детях своих. Христос же умрет бездетным, ибо сам он зачат бесплодно, не телом, а сердцем... И еще об одном важном моменте сказать хочу... Это уже несколько об ином... Вернее, нет, всё о том же... О противоречии между человеком и человечеством... Может, Бог-то и возник, чтобы это противоречие сгладить... Помнишь, у Достоевского Иван мир Божий не принимает и гармонию всемирную в конце, если они куплены ценой страдания одного лишь ребенка... Достоевский, конечно, мощный разум, но сто лет, которые после него прошли, многое прояснили... То есть прояснили, чтоб еще больше затуманить, ибо чем более человек познает, тем менее у него права диктовать природе свое о ней представление, то есть он утрачивает те привилегии, которые предоставило ему на этот счет невежество, дававшее воображению его неограниченные возможности... То, что имел право не знать и путать Аристотель тысячелетия назад, то, что имел право путать Достоевский сто лет назад, навсегда утрачено современным человеком, познавшим теорию относительности и стоящим на пороге космических открытий. Достоевский путает человека с человечеством и стремление человека со стремлением человечества. Конечная цель отдельного человека, наверно, счастье. Конечная цель человечества — познание... Вернее, нет, я уточнить хочу... Конечная цель каждого человека — тоже познание, для того он и создан природой, но человек самовольно, вопреки матери своей природе, проявил строптивость и изменил свою конечную цель... Счастье и было то райское яблоко... За него и мучения терпит человек... Но мир не нелепость вовсе, как говорит Иван, и гармония, конечно, не нелепость, ибо Достоевский прямо от человека к миру

переходит, а между миром и человеком человечество существует. Человечество же конечную цель свою изменить не может, как бы ни старалось; тут уж природа хитро придумала, ибо человечество бесплотно, и лишь понятие есть философское, как и Христос, а человеческое счастье нелепо без человеческой плоти... Тут еще яблоко такое не придумано, чтоб человечество в целом соблазнить... Или Толстой... Толстой кончает “Воскресение” заповедями из Евангелия, также требуя их практического применения и считая, что они изменят мир немедленно, стоит лишь применить их каждому в качестве каждодневного правила. — Юрий Дмитриевич порывлся в шкаф, достал томик Толстого, открыл на одной из закладок и прочитал: — “Не только само собой уничтожилось всё то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее доступное человечеству благо — царство Божие на земле”. — Юрий Дмитриевич отложил томик. — Это еще один яркий пример подчинения факта идее. Мир земной принадлежит не человеку, а человечеству. Жизнь человека измеряется десятилетиями, жизнь человечества измеряется миллионами лет... Нельзя отождествлять два столь разных организма, созерцание которых происходит по столь разным временным амплитудам... Толстой не знал еще теории относительности, не знал, что у человека и человечества секунды несоизмеримо разной величины... Человечество — подросток, для которого истины Евангелия еще недоступны... Доступность этих истин приходит где-то к концу жизни, а до естественной смерти человечеству миллионы лет... Моисеево “око за око” не так уж нелепо... Оно спасает подростка от насильственной смерти... Это не призыв к жестокости — это воздействие инстинкта при не созревшем еще разуме... Да... очень печальное зрелище — подросток в гробу...

Когда умирают мальчики и девочки, только-только пробуждающиеся к жизни... Чехов понимал это несоответствие времен человека и человечества, оно ощущается в его творчестве, может, потому что он жил несколько позже Толстого... То есть умер он раньше, но творчество его связано с более поздними представлениями о мире... В евангельской притче о виноградарях, которые были посланы в сад работать хозяином, но вообразили себя хозяевами и наслаждались в саду, убивая всех, кто напоминал им о хозяине и об их обязанностях к нему, Толстой на последней странице "Воскресения" слишком односторонне и безоговорочно осудил виноградарей... Однако не следует думать, что я требую национализации виноградника... Виноградарь есть человек, хозяин есть Бог или природа, это уж как назвать — не важно... Хозяин получит свое, когда виноградник созреет, но жизнь человека так ничтожно коротка, что он не может дожидаться зрелого винограда. И, осудив гордыню виноградаря, Толстой вместе с тем не заметил то духовное напряжение, с помощью которого виноградарь получает наслаждение от незрелого винограда, наслаждение, требующее человеческого таланта, недоступного всемогущему хозяину... И главные силы душевные тратятся вовсе не на то, чтобы вообразить себя хозяином виноградника, а чтоб почувствовать наслаждение от кислых ягод, такое же, какое хозяин ощутит лишь в конце, через миллионы лет, от ягод зрелых...

Ночь Юрий Дмитриевич проспал беспокойно, он часто вскакивал, садился на постели, у Юрия Дмитриевича разболелся живот, и Нина готовила грелки, кипятила чай, чистила лимоны. Заснули они лишь под утро, но ненадолго, так как часов в десять раздался стук в дверь. Вошли участковый с целлулоидной планшеткой, управдом в парусиновой куртке, врач и два

санитара. Участковый и врач отозвали Нину в сторону и начали ее в чем-то убеждать. Нина сердито потряхивала головой и говорила:

– Вы не имеете права... Я буду жаловаться...

В дверь заглянула Лиза с Дашуткой на руках.

– Если их не уберут, – крикнула Лиза, – я буду писать в Верховный Совет... Я уборщица, я трудящийся человек... Он мне ребенка покалечил... И всю ночь бегают, шумят...

– Вас не спрашивают, – крикнула Нина, – вы вре-те всё, никто не калечил вашего ребенка... Вы мерзавка...

– Нина, – сказал Юрий Дмитриевич, морщась, – зачем... Всё идет как надо... Когда Иисуса пришли забирать, Петр отсек ухо у раба... А раба звали Малх... Это ведь так нелепо... То есть не то нелепо, что раба звали Малх... Я путаюсь...

– Зачем мы переехали в эту берлогу, – вскрипнув, сказала Нина. – Мы уедем... Я созвонюсь... Это всё Бух...

– Бенедикт Соломонович ошибся, – сказал Юрий Дмитриевич, – и я ошибся... И эта бедная женщина с ребенком... Мы ей действительно мешаем... Впрочем, видишь, как ты меня сбила... Я сказать что-то хотел... Продолжить... Сейчас меня заберут в клинику... Мы будем редко видеться... И ты хочешь, чтобы я уподобился тому парашютисту... Чтоб последними моими живыми движениями было отряхивание снега с комбинезона... Жена... Я о том продолжить хотел... О современном звучании Христа. Живое не может быть символом, это нелепо... Помнишь, в послании к евреям сказано: “Бойся Бога живого...” Для того чтоб сменяющиеся поколения не были разорваны, должны быть какие-то сквозные символы... Живое – это сочетание многого, символ – это хранитель чего-то одно-

го, доведенного до крайности... Так же как Венера, хранительница вечной красоты, также как Моисей, хранитель вечной мудрости, Христос — хранитель вечной доброты... Когда наступит последний день человечества, красота исчезнет вместе с телом, мудрость сольется со всемирной мудростью — как, не знаю, может, с помощью кибернетики... Но вечное добро останется на земле, ибо кибернетика тут не властвует... Вечное добро будет последним деянием человека на земле, его последним вздохом, его последней мыслью, которая переживет тело... Что же это такое — добро, и что есть вечное добро... Тут противоречие... Вечное, идеальное добро — это то, что давно уже известно людям, но понадобится лишь в конце... Каждодневное же добро — это то, что требуется сегодня, ежечасно, ежесекундно, но оно неизвестно, и в поисках его люди и мечтают, страдают... Идеальное большое добро — это общий ответ: “Возлюби врага своего”. Как в арифметике... Достаточно заглянуть на последнюю страницу, но в задачке ответ этот раздроблен по десяткам вопросов, по миллионам вопросов... — Юрий Дмитриевич смешался и замолчал.

Участковый, сидя на стуле, незаметно переложил планшетку из правой руки в левую, на случай, если псих кинется на него. Управдом, опасливо озираясь, отошел к дверям. Лиза с Дашуткой исчезли.

— Ну вот, — сказал Нине врач; врач был молод, во рту у него поблескивал золотой зуб, — вот видите... Состояние крайне опасно... Тут требуются специальный надзор и уход, который может осуществить лишь подготовленный персонал... У больных такого рода попытки к убийству окружающих, к самоубийству обычно тщательно подготовлены...

— Молодой человек, — сказал Юрий Дмитриевич, — не слушали ли вы лекций по нервным болезням

у профессора Пароцкого? Там приводится любопытная притча о больном Н., охотящемся в лесу, и мальчике, собирающем грибы... Впрочем, судя по вашим глазам, вы эту лекцию пропустили...

— Юрий, — сдерживая слезы, говорила Нина, — здесь носки... Видишь, я кладу их тебе в чемодан отдельно... А здесь — носовые платки...

— Иди сюда, — сказал Юрий Дмитриевич, — оставь платки... Посиди со мной, жена моя...

— Ваша жена во многом виновата, — сказал врач Юрию Дмитриевичу, — из эгоистических побуждений она мешала применить клинические методы лечения...

— Ничего, — сказал Юрий Дмитриевич, — прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит...

Юрий Дмитриевич оделся, взял чемодан. Два санитара стали по обеим сторонам его. Впереди шел участковый, а сзади — врач. Соседи на улице выглядывали из окон и дверей, показывали пальцами, перешептывались.

Было очень жарко, изредка возникавший ветерок вместо прохлады приносил вихри колючей сухой пыли. По улице бродили куры, ища прохладного местечка. Разомлевший пес лениво лаял на санитаров. Перед тем как сесть в машину, Юрий Дмитриевич обнял Нину. Она плакала, прижавшись щекой к его груди.

— Я созвонюсь с Бухом, — говорила она, всхлипывая, — тебя переведут в столичную клинику... Я тоже перееду... Пока остановлюсь у Григория...

Когда машина уехала, Нина вернулась в опустевшую квартиру, чтоб собрать и упаковать вещи. На пороге стояла Лиза с Дашуткой. Нина и Лиза посмотрели друг на друга со злобой, а Дашутка улыбнулась и протянула Нине кусочек изжеванного соленого огурца.

Нина долго бродила по комнате, начиная то складывать книги, то застегивать ремни чемодана. Устав ходить, она садилась на стул передохнуть, а затем вновь ходила, собирала чашки, ложки и вдруг подумала: хорошо бы всё это бросить, уйти на станцию и уехать побыстрее. На столе она нашла четвертушку бумаги. Юрий Дмитриевич исписал ее неровно, торопливо, очевидно, перед тем как уйти с санитарями.

“Может ли слепой водить слепого? — прочла Нина. — Не оба ли упадут в яму? Евангелие от Луки”. Далее строчки напозлали друг на друга, а буквы были такими мелкими, что приходилось до боли напрягать глаза.

Вскоре, однако, Нина успокоилась и начала вновь хлопотать, собирать разбросанные вещи, готовясь к отъезду. Устав, она уселась передохнуть на подоконник. Улица потускнела, со стороны заречных сел ползла низкая дождевая туча, парило, как в предбаннике, было трудно дышать.

Среди булыжной мостовой стояла Дашутка, босая, в одной рубашонке; в руке у нее был кусок черного хлеба, помазанного творогом, и она ела его, запрокинув голову, глядя на тучу. Вид одинокого незащищенного ребенка заставил Нину вскочить, она выбежала на улицу, взяла Дашутку на руки и отнесла в дом. Лиза стояла над лоханью с бельем. Рядом с ней высилась уже куча выстиранных чужих рубашек и простыней. Увидав Нину с Дашуткой, она стряхнула пену с рук, взяла Дашутку, усадила ее в угол и дала ей очищенную молодую редиску, которую Дашутка с удовольствием начала грызть, заедая хлебом с творогом. На улице стало вовсе темно, пошел обильный дождь, всё усиливающийся, с градом, и минут через пять уже не дождь, а лавина воды неслась с темных небес, заливая землю, словно во время потопа. Мутный глинистый поток на-

полнил весь двор, обтекая сараи, наполняя выгребные ямы, волоча ветви, сбитую листву, газеты, бутылочные осколки, сливаясь с другими потоками и устремляясь вниз по бульжной мостовой.

— Боже мой, — крикнула вдруг Нина, задохнувшись от рыданий, — зачем мне знать вечное большое добро, которое мне никогда не понадобится, если я не знаю каждодневного добра, без которого не могу жить... Мой муж оставил мне в наследство записку... Я хочу ее вам прочесть, Лиза... Хоть это и нелепо... Особенно при наших взаимоотношениях... — Она вынула записку и прочла: — “Вечное добро сольется с каждодневным лишь тогда, и миллионы вопросов сольются в один ответ «Возлюби врага своего» лишь тогда, когда человек перестанет быть блудным сыном своей матери-природы и вернется к ее первоначальному замыслу... Когда конечной целью своей человек признает не счастье, а познание... Тогда лишь исчезнет страдание... Но человек никогда на это не согласится, и природа никогда не простит ему этой его строптивости и этого бунта... И так будет до последнего дня... Лишь с человеческим телом исчезнут человеческое счастье и человеческие мучения... И наступит вечное добро, которое уж никому не понадобится...”

Лиза подняла на Нину глаза, разогнула уставшую спину, стоя так некоторое время, отдыхая, а затем снова молча склонилась над лоханью, погрузила руки в грязную пенистую воду.

Фридрих
Горенштейн
Улица
Красных
Зорь

Повести



Содержит нецензурную брань

Главный редактор ЕЛЕНА ШУБИНА

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Редактор АЛЕКСЕЙ ПОРТНОВ

Выпускающий редактор ВЕРОНИКА ДМИТРИЕВА

Корректоры НАДЕЖДА ВЛАСЕНКО, АННА БУЛГАКОВА

Компьютерная верстка ЕЛЕНА ИЛЮШИНОЙ



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Подписано в печать 31.01.2022. Формат 84x108/32.

Усл. печ. л. 23,52. Тираж 2000 экз. Заказ № 7525

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат».
170024, Россия, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 —
книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2022 г.

ООО "Издательство АСТ"
129085, г. Москва, Звёздный бульвар,
дом 21, строение 1, комната 705, пом. 1, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: ask@ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.ru

"Баспа Аста" деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары,
21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, 1 жай, 7-қабат

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astrub@aha.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО "РДЦ-Алматы".
Қазақстан Республикасындағы
импорттаушы "РДЦ-Алматы" ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему
претензий на продукцию в Республике Казахстан:
ТОО "РДЦ-Алматы"

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім
бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
"РДЦ-Алматы" ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш.,
3 "а", литер Б, офис 1.
Тел.: +8(727) 2515989, 90, 91, 92, факс: +8(727) 2515812, доб. 107
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей

Фридрих Горенштейн (1932–2002) — прозаик, драматург, киносценарист (“Солярис”, “Раба любви”).

Прозу Горенштейна не печатали в Советской России совсем, рукописи он давал читать только “ближнему кругу”, в конце семидесятых появились зарубежные публикации.

Ю. Трифонов, А. Кончаловский, А. Тарковский, Б. Сарнов называли его романы “Место”, “Псалом”,

“Искушение” гениальными.

Он не примыкал ни к одному движению и направлению, не находил себе места ни в одном стане, а статус классика обрел еще при жизни. В 1980 году писатель эмигрировал, умер в 2002-м в Берлине.

В этот сборник вошли повесть “Ступени”, впервые изданная в альманахе “МетрОполь”, и три произведения эмигрантского периода: “Чок-Чок”, “Муха у капли чая” и “Улица Красных Зорь”, давшая название всей книге. Дмитрий Быков назвал “Улицу...” “духовной автобиографией автора и самым слезным и мучительным текстом, написанным с истинно платоновской мощью”.

Издание выпущено к 90-летию Фридриха Горенштейна.



9 785171 477240



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ